

1984

تذکرہ

HAFOY
٥٣٧٧

НАРОД И ЗЕМЛЯ

ЖУРНАЛ
ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
№ 3, 1985

В НОМЕРЕ:

Поэма И. Бродского "Исаак и Авраам"
Роман Э. Ажара "Вся жизнь перед тобой"
Роман Б. Маламуда "Милость Господа Бога" (окончание)
Рассказ И. Орена "Комиссия по расследованию"
Дневники проф. В. Рубина
Очерки, статьи, эссе:
Илана Гомель — "Кость в горле"
Вл. Лазарис — "Сонет для статуи Свободы"
Зезв Бар-Села — "Страх и трепет"

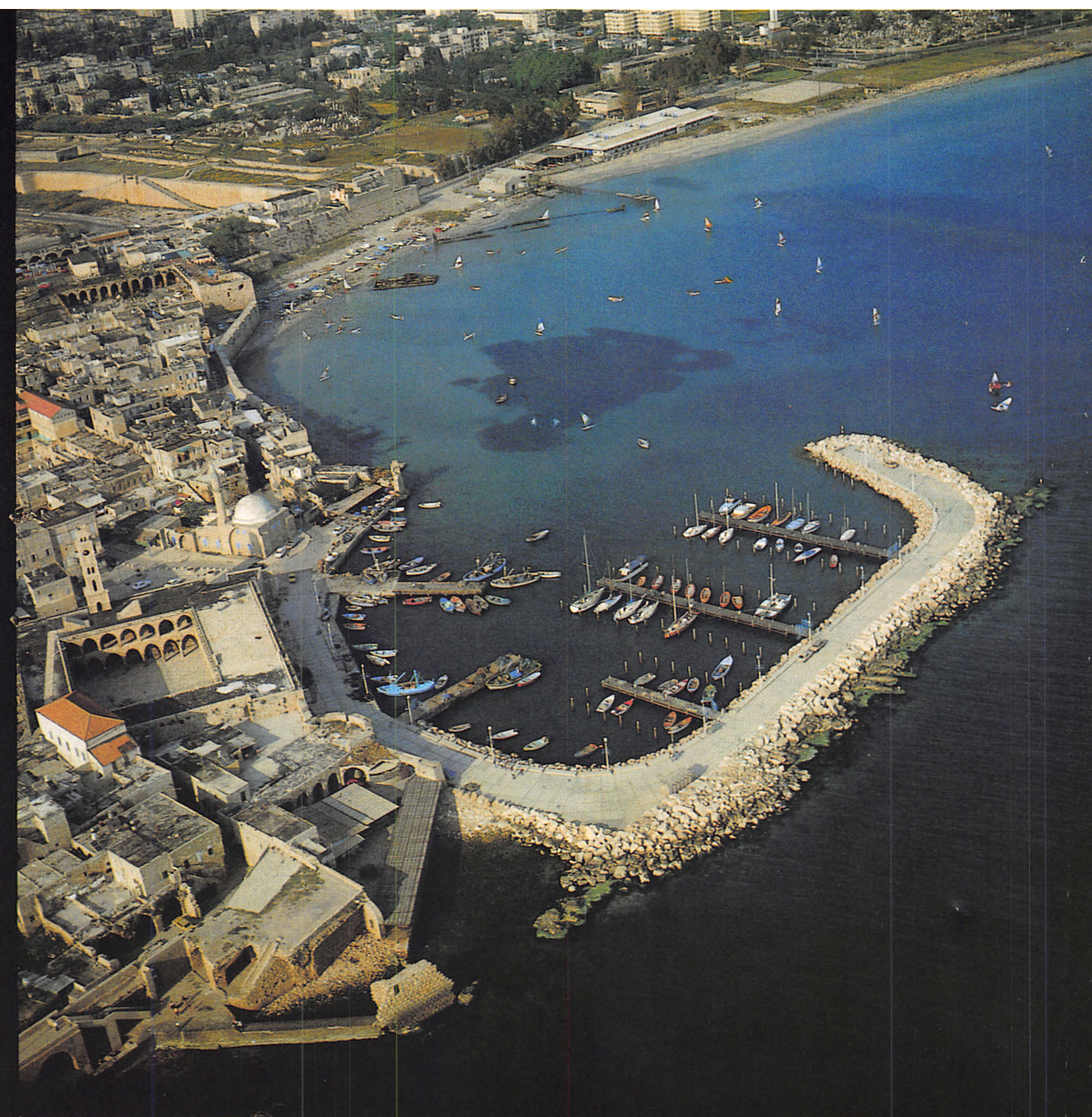
Цена номера в розничной продаже: в Израиле — \$6, за границей — \$10 USA.

Стоимость годовой подписки (4 номера): в Израиле — \$16, за границей — \$20 USA.

Наш представитель в Северной Америке — Юз АЛЕШКОВСКИЙ: 394 High str. Middleton, Ct 06457.

Можно подписаться также по адресу: Tarbut, P.O.B.535, Giv'at Ze'ev 90917, Israel.





НАРОД ЭЗРА

ЖУРНАЛ
ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Иерусалим / № 2 / 1984

Председатель редакционного совета *Ицхак Мерас*
Главный редактор *Феликс Дектор*
Литературный редактор *Наталья Рубинштейн*
Художник *Ирена Бат-Цви*

Литературный фонд им. И. Бабеля
Издательство "Тарбут"

Цветные вкладки печатаются с любезного разрешения журнала "Ариэль".

На первой странице: *Вади в Негеве. Фото Ричарда НОВИЦА;*
на второй странице: *Старый город в Иерусалиме. Вид с воздуха. Фото Ричарда НОВИЦА.*

Printed in Israel
"Express", Jerusalem, P.O.B. 8383

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Семен ЛИПКИН – Стихи	7
Бернард МАЛАМУД – Милость Господа Бога. Роман. <i>С английского, Перевод И. Мошковича</i>	15
Михаил ГЕНДЕЛЕВ – Месяц Ав. Стихи	65
Шуламид АРЭВЕН – В поисках личности. Рассказ, <i>С иврита, Перевод В. Фланчика</i>	73
Ицхак МЕРАС – Сара. Роман (окончание). <i>С литовского, Авторизованный перевод Ф. Дектора</i>	99

ТЕАТР

Эдуард КАПИТАЙКИН – “Король умер! Да здравствует король!..”	157
---	-----

ВОСПОМИНАНИЯ

Голда МЕИР – Автобиография (Иерусалим – Нью-Йорк – Москва). Главы из книги. <i>С английского, Перевод Р. Зерновой</i>	163
--	-----

ЗВЕНЬЯ

Шимон МАРКИШ – Пример Василия Гроссмана	170
Майя КАГАНСКАЯ – Необыкновенный фашизм	196
Михаил ХЕЙФЕЦ – Мост длиной в 120 книг	215
Борис МОЙШЕЗОН – Загадки древних цивилизаций, ч. II	227

У НАС В ГОСТЯХ

Рита ВАЙСМАН – Интервью с редактором “Джуиш кроникл”	250
Клайв СИНКЛЕР – Минута счастья. Рассказ. <i>С английского, Перевод Р. Вайсман</i>	253
С. ПРАВЕР – Роман Поланский о Романе Поланском. Рецензия	259

КНИГИ И МНЕНИЯ

Яков АШКЕНАЗИ – О том, как погибал мир ● Юлия ВИНЕР – Ни вспомнить, ни забыть ● Руфь ЗЕРНОВА – Американское золото	260
--	-----

ЮМОР

Сергей ТИКТИН, Дора ШТУРМАН – В зеркале анекдота	268
Иосиф ЛИЩИНСКИЙ – К нашим вкладкам: Формула природы Эрец-Исраэль	39
Выставочный зал – улица	151
Рисунки Леопольда Кракауэра	204

THE PEOPLE AND THE LAND

CONTENTS

PROSE AND POETRY

Semyon LIPKIN – Poems	7
Bernard MALAMUD – <i>God's Grace</i> . A Novel	
<i>Translated from English by I. Moshkovich</i>	15
Michael GENDELEV – <i>The Month of Av</i> . Poems	65
Shulamit HAREVEN – <i>In the Search of Identity</i> . A Story	
<i>Translated from Hebrew by V. Flanchik</i>	73
Yitzhak MERAS – <i>Sarah</i> . A Novel (conclusion)	
<i>Translated from Lithuanian by F. Dektor</i>	99

THE STAGE

Eduard KAPITAİKIN – "The King is Dead! Long Live the King!.."	157
---	-----

MEMOIRS

Golda MEIR – <i>Jerusalem – New York – Moscow</i>	
<i>Translated from English by R. Zernova</i>	163

LINKS

Shimon MARKISH – <i>The Example of Vasily Grossman</i>	170
Maya KAGANSKAYA – <i>An Unusual Fascism</i>	196
Michael HEIFETZ – <i>The Bridge 120 Books Long</i>	215
Boris MOISHEZON – <i>Riddles of Ancient Civilizations. Part II</i>	227

OUR GUESTS

Rita WEISSMAN – <i>An Interview with Editor of "Jewish Chronicle"</i>	250
Clive SINCLAIR – <i>The Moment of Happiness</i> . A Story	
<i>Translated from English by R. Weissman</i>	253
S. PRAVER – <i>Roman Polansky on Roman Polansky</i> . A Review	259

BOOKS AND OPINIONS

Yaakov ASHKENAZI – <i>How the World Perished</i> ● Yuliya VINER – <i>Hard to Remember, Hard to Forget</i> ● Ruth ZERNOVA – <i>The American Gold</i>	260
---	-----

HUMOUR

Sergey TIKTIN, Dora SHTURMAN – <i>In the Mirror of Anecdote</i>	268
Iosif LESHCHINSKY – <i>Colour Plates:</i>	
<i>The Formula of Eretz-Israel's Nature</i>	39
<i>Exhibition Hall: Streets</i>	151
<i>The Drawings of Leopold Krakauer</i>	204

Семен ЛИПКИН

Стихи

СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно, — и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,
В этом И — наш союз и подспорье...
Я узнал, в азиатском заморье
Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятие
Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, —
Все сплотилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю, —

Это я, тем сильнее и всемирней,
Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемееет.
И я знаю: сойдет с колен,
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.

СТРАННИКИ

Горе нам, так жили мы в неволе!

С рыбой мы сравнились по здоровью,
С дохлой рыбой в обмелевшем Ниле.
Кровью мы рыдали, черной кровью,
Черной кровью воду отравили.

Горе нам, так жили мы в Египте!

Из воды, отравленной слезами,
Появился, названный Мойсеем,
Человек с железными глазами.
Был он львом, и голубем, и змеем.

Вот в пустыне мы блуждаем сорок
Лет. И вот небесный свод задымлен
Сорок лет. Но даже тот, кто зорек,
Не глядит на землю филистимлян.

Ибо идучи путем пустынным,
Научились мы другим желаньям,
Львиным рыкам, шепотам змеиным,
Голубиным жарким воркованьям.

Научились вольности беспечной,
Дикому теплу верблюжьей шеи...
Но уже встанут во тьме конечной
Будущие башни Иудеи.

Горе нам, не будет больше странствий!

август 1942

МЕСТЕЧКО

Ручеек мелкий-меленький
Льется в горькое лето.

Это снится мне в Жмеринке
Или западней где-то?

Как штандарт гайдаматчины,
Всюду высь голубая.
Облака озадачены,
В суть событий вникая.

Ветер сыплет на бороды
Тихий пух тополиный,
Будто саблями вспороты
Все подушки-перины.

Местечковая мистика
Тополей или вязов
До последнего листика —
Из подобных рассказов.

1967

КОМИССАР

Торжествовала власть, отбросив
И опрокинув Колчака,
И в Забайкалье стал Иосиф
Работать в органах Чека.

Он вызывал к себе семейских,
Допрашивал, и подлый страх
Внушал им холодок в еврейских,
Печально-бархатных глазах.

Входил он в души староверок
Предвестием господних кар,
Молодцеватый недомерок,
Длинноресничный комиссар.

Мольбы выслушивал устало,
Сжимая кулачок у рта.
Порой губкомовцев смущала
Его святая простота.

Каким-то попущеньем странным
Он выжил. И на склоне дней
В Сибирь поехал ветераном
На полстолетний юбилей.

В глазах — все той же грусти бархат,
И так же, обхватив сучок,
Туда, где свет в тайге распахнут,
Трясаясь, глядит бурундучок.

Улан-Удэ. 1973

ОДЕССКАЯ СИНАГОГА

Обшарпанные стены,
Угрюмый, грязный вход.
На верхотуре где-то
Над скинией завета
Мяучит кот.

Раввин каштаноглазый —
Как хитрое дитя.
Он в сюртуке потертом,
И может спорить с чертом
Полушутя.

Сегодня праздник Торы,
Но мало прихожан.
Их лица — как скрижали
Корысти и печали...
И здесь обман?

И здесь бояться надо
Унылых стукачей?
Шум, разговор банальный,
Трепещет поминальный
Огонь свечей.

Но вот несут святыню —
И дрогнули сердца.
В том бархате линиялом —
Все, ставшее началом,
И нет конца!

Целуют отрешенно,
И плача, и смеясь,
Не золотые слитки,
А заповедей свитки,
Суть, смысл и связь.

Ты видишь их, о Боже,
Свершающих круги?
Я только лишь прохожий,
Но помоги мне, Боже,
О, помоги!

Одесса. 1969

МОИСЕЙ

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям, —

Я шел. И грозен и духовен,
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.

1967

БОГОРОДИЦА

1

Еще их, бесправных, не предали,
От счастья балдея с утра,
Еще даже имени не дали
Ребенку того столяра,
Душа еще реяла где-то
Умершего сына земли,
Когда за слободкою в гетто
И мать, и дитя увели.

2

Глазами недвижными нелюди
Смотрели на тысячи лиц.
Недвижны глаза и у челяди —

Единое племя убийц.
Свежа еще мужа могила
И гибель стоит за углом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

3

Земное осело, отсеялось,
Но были земные дела.
Уже ни на что не надеялась,
А все же чего-то ждала.
Ждала, чтобы вырос он, милый,
Пошел бы, сначала ползком,
И мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

4

И яму их вырыть заставили
И лечь в этом глиняном рву,
И нелюди дула направили
В дитя, в молодую вдову.
Мертвящая, черная сила
Уже ликовала кругом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

5

Иконой не сделалась явленной,
На глиняный падая прах,
И мальчик упал окровавленный
С ее молоком на губах.
Еще не нуждаясь в спасенье,
Солдаты в казарму пошли.
Вот так началось воскресенье
Людей, и любви, и земли.

1956

ВИЛЬНЮССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Ни вывесок не надо, ни фамилий.
Я все без всяких надписей пойму.
Мне камни говорят: "Они здесь жили,

И плач о них не нужен никому”.
А жили, оказалось, по соседству
С епископским готическим двором,
И даже с ключарем — святым Петром,
И были близки нищему шляхетству,
И пан Исус, в потертом кунтуше,
Порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто
Курчавых нет и длинноносых нет.
И лишь в подворье университета,
Под аркой, где распластан скудный свет,
Где склад конторской мебели, — нежданно
Я вижу соплеменников моих,
Недвижных, но оставшихся в живых,
Изваянных Марию, Иоанна,
Иосифа... И слышит древний двор
Наш будничный, житейский разговор.

1963

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдивших бараков.

Неспешно в сумерках текли
”Фольксвагены” и ”мерседесы”,
А я шептал: ”Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?”

1967

ПАМЯТНОЕ МЕСТО

Маляр, баварец белокурый,
В окне открытом красит рамы,
И веет от его фигуры
Отсутствием душевной драмы.

В просторном помещенье печи
Остыли прочно и сурово.
Грядущих зол они предтечи
Иль знаки мертвого былого?

Слежу я за спокойной кистью
И воздух осени вдыхаю,
И кружатся в смятенье листья
Над бывшим лагерем Дахау.

1967

СОВРЕМЕННОСТЬ

Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;

Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: вера.

В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И все же купиной
Неопалимой светим и пылаем.

И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.

1967

Бернард МАЛАМУД

Милость Господа Бога

Роман

1. ПОТОП

ДЖАНКИ И ДРУЖКИ в конце концов учинили-таки ядерное побоище и так разбушевались, что начисто истребили все живое на планете. Пламя рвануло надвое небесную твердь, из расщелины выплыло кучевое облако, которое было Богом, и Он говорил с ученым палеонтологом Келвином Коуном, единственным из людей, чудом оставшимся в живых и сидевшим на разбитой палубе парусного океанографического судна.

И вот что было сказано:

— Мистер Коун, то что вы видите, отнюдь не Мое лицо, но, если вы постараетесь, возможно, вам удастся Меня вообразить. Мне не хочется вас огорчать, мистер Коун, но Я вынужден вам сообщить, что вы остались в живых в результате маленькой неувязки. К счастью, ошибка, хоть и Моя, но пустячная. Допусти Я более серьезный просчет, могло бы застопорить весь механизм вселенной. Конструкция космоса так сложна, что Я подчас и сам не в курсе некоторых деталей. Она отнюдь не совершенна, хотя сам Я, разумеется, совершенен. Я пожелал, чтобы было так и чтобы так Я это понимал.

Должен вам сказать, мистер Коун, что продолжение вашего существования на фоне всеобщей гибели ставит Меня в несколько затруднительное положение, но не подумайте, что это имеет какое-нибудь отношение к тому, что вы в свое время учились в *ешиве*, или к тому, что вы эти занятия оставили.

Дело ваше, но Мне не хотелось бы поддерживать в вас несбыточные надежды. Я допустил ошибку и намерен ее исправить.

У Меня нет ни малейшего желания причинять вам ненужные страдания. Так вышло, и таковы, если угодно, причины и следствия. Речь идет о наличии

системы внутри системы, что ставит Меня в определенную зависимость, если под нею понимать необходимость поддержания порядка. В своих попытках эффективного использования предоставленных возможностей и Моей доброй воли человечество потерпело фиаско и, следовательно, вы — вместе с ним.

Мистер Коун мелко дрожал в резиновом комбинезоне, с которого струями стекала вода. Он посмотрел на облако и жалобно проговорил:

— После первой катастрофы Ты обещал больше потопов не устраивать... Сказано: "Больше никогда не будет потопа". Таков главный пункт Твоего договора с Ноем и всеми живущими на земле. А ты опять отверз хляби небесные. Все, кто не сгорели в огне, утонули в пучинах Второго Потопа.

Бог ответил так:

— То, о чем ты говоришь, произошло в добиблейский период. Никакой катастрофы тогда не происходило, а имели место исключительно причина и следствие. Сотворив человека, Я понятия не имел, какие номера он станет выкидывать, до какой степени погрязнет в насилии, продажности, богохульстве, скотстве и прочих грехах. Человек сам себя погубил. Я не мог предвидеть размеров бедствия.

Нынешнее Всеобщее Опустошение и превращение всего сущего в дым и прах явилось следствием самоубийственных действий самих людей. С самого начала, едва Я даровал человеку жизнь, он тут же обзавелся порочным стремлением к смерти. Поскольку Я заметил, что он имеет склонность ко злу, Я подумал, что будет уместно даровать ему также и смерть.

Условием выживания людей было сохранение в целости Моего Творения, а они его разорили. Сладчайший воздух дал Я им для дыхания. Свежайшей водой благословил Я их: пейте и совершайте омовения! А плодороднейшая земля вся в зелени! Они же бессовестно распотрошили весь Мой озон, сожгли кислород, отравили кислотами живительный дождь. Затем они докатились до того, что стали совершать набеги на Мой космос. До каких же пор, по твоему, простирается милость Господа Бога?

Я сотворил их свободными, но дурно употребленная свобода уничтожила их самих. Зло возобладало над добром. Они сами вызвали на свои головы Второй Потоп, потому что не захотели жить по Договору.

Я дал им действовать по их усмотрению. Они нашли собственный способ самоуничтожения, а мне осталось только не вмешиваться.

Келвину Коуну было за тридцать. Рост пять футов, шесть дюймов.

Он преклонил мокрые колени и взмолился:

— Господи, учти: у меня тоже не было выбора. Я находился на дне океана. Во время Опустошения я занимался своим делом. Но раз уж я нечаянно остался в живых, то не позволишь ли Ты мне пожить еще немного и дальше? Новая реальность означает новое условие, не правда ли? Я решительно осуждаю недостойное поведение человечества в виду предоставленных ему возможностей и буду чрезвычайно признательным, если Ты не станешь без надобности убивать меня в этот трагический час.

— Мистер Коун, это никоим образом не входило в мои намерения. Мой

гнев уже не тот, что прежде, но, согласитесь, всякому терпению бывает предел. Сколько Я им прощал! Но на этот раз прощенья не будет. Хватит! Никаких Ноев, никаких исключений, праведников и тому подобного. Мне очень неприятно, но справедливости ради Я должен вас уничтожить. Но поскольку ошибка — Моя, Я дам вам время успокоиться и смириться с мыслью о смерти. Однако живите поскорей, не тратьте время зря. Пару раз вздохнете поглубже и — в дорогу. Это все, что Я могу для вас сделать. Я сказал.

Коун сделал еще одну попытку.

— Сказано: "Спасающий одну жизнь спасает целый мир".

— Мир уже был спасен, но не сумел найти собственного спасения. Больше Я не стану его спасать. Я не какой-нибудь племенной божок — Я Властелин вселенной. Вы даже вообразить себе не можете, с каким числом сложнейших взаимодействий это связано.

Коун попросил совершить чудо.

— Человеку требуется нечто большее, чем чудо, — сказал Бог, задернул расщелину в небе — и облако исчезло.

Самого Бога Коун так и не увидел. Пучок света и голос. Ни золотой короны, ни серебристой бороды, ничего, что напоминало бы образ, по которому, как считалось, был сотворен человек. Кучевое облако величественно удалилось и исчезло.

Коуна окружили мрак и холод. То ли сгустилась пыль, то ли наступила ночь. Он поднял голову, и на него обрушилась тишина.

Он изо всех сил старался подняться на ноги, но сумел поднять только кулак и прокричал, обращаясь к небу: "Бог создал нас такими, какие мы есть!".

Он заметался под градом падающих камней, но, возможно, это ему только показалось. Один камень все-таки угодил ему в голову. Было больно.

В страхе перед гневом Божьим Коун опять повалился на колени. Зубы мелко стучали. Он вздрогнул, словно от прикосновения холодных пальцев к затылку, пожалел о том, что только что сказал, и заметил вслух:

— Я не секулярист, но у меня есть кое-какие сомнения. Эйнштейн утверждал, что Бог вселенной не занимается. Если он мог в это верить, то почему мне нельзя? Я принимаю Твои условия, но, пожалуйста, сделай так, чтобы моего времени было не слишком мало.

Одна из мачт судна была сломана и корпус накренился. Из всего человечества в живых остался только Келвин Коун, и ему ужасно не хотелось умирать.

Едва рассвело, в перепачканном пылевыми облаками небе появилась радуга. Правда, конец радуги был как будто надкушен чьей-то ужасной

треугольной пастью, но все равно Коун прослезился от радости. Ему нужен был хороший знак, и он его получил.

Модернизированное океанографическое судно "Ребекка Кью" было снабжено дизельным двигателем и двумя мачтами, одна из которых была сломана. Шхуну плавно покачивало на постепенно спадающих волнах рукотворного Потопа.

Вода поднялась настолько, чтобы от рода человеческого ничего не осталось, и начала отступать. Коун подумал, что под килем его корабля могут оказаться Калькутта, Токио или Лондон, но, с другой стороны, он не удивился бы, если б узнал, что все еще находится в районе Тихого океана, где они занимались своими исследованиями и где он в момент всеобщей катастрофы случайно уцелел, потому что в глубоководном батискафе опустился на дно. Там, на дне он ощутил ужасный толчок, но не видел гигантских волн обрушившихся на судно.

Потом он поднял батискаф на поверхность.

Его ученые коллеги (в том числе Уолтер Бюндер — тщательно уложенный чемодан в левой руке и гаванская сигара в зубах) и вся команда корабля бесследно исчезли. В момент бедствия они, видимо, покинули корабль. Коуну было обидно, что в минуту опасности они совершенно забыли о его существовании, но утешало то, что, благодаря их поспешности, он уцелел.

Он опустился на дно минут за двадцать до того, как смертоносные ракеты рванулись навстречу друг другу, а когда поднялся на поверхность — всеобщая мировая война уже закончилась и человечество завершило свое полное самоуничтожение. На корабле не осталось ни одной шлюпки, только валялась на палубе пара спасательных жилетов, свидетельствовавших о паническом бегстве, но потом Коун наткнулся на желтый надувной плот, который, возможно, оставили для него, и подумал, что напрасно он обижался на коллег.

С момента, когда гибельный смерч пронесся над планетой, до выхода Коуна на поверхность прошло, вероятно, несколько часов. Батискаф поднимался медленно, раскачиваясь как маятник и замирая каждые несколько минут. У Коуна от страха останавливалось сердце.

Подъем был ужасным. Перепуганные рыбы в панике бились об иллюминатор. Коун выключил свет. Подъем продолжался в абсолютной темноте. Когда он приблизился к борту корабля, никто не пришел ему на помощь. Батискаф швыряло и мотало в волнах как пробку. Наконец Коуну удалось высунуть голову, но его тут же вырвало.

Он подтянул батискаф к борту и ухватился рукой за металлическую лестницу. Над головой белыми макаронинами болтались веревки, на которых прежде висели спасательные шлюпки. Небо все было в огромных облаках пепла и по временам озарялось всплесками далекого пожара или извержения. Поверхность океана покрывали мертвые тела рыб и животных. Коун почувствовал запах падали — и понял, что произошло. Его охватил ужас, смешанный с тошнотворным отвращением ко всему человеческому роду.

Там, где стальные ракеты, не достигнув цели, шлепнулись на дно, над волнами поднимались омерзительные дымные смерчи.

Непонятно, почему он остался в живых. И как долго все это может продолжаться. Замерить уровень радиации? Бессмысленно. После Хиросимы некоторые выжили, некоторые — нет. Что будет, то будет.

В радиорубке он нашел последнюю запись радиста и узнал то, что и так было ясно: человечество свело счеты с самим собой.

* * *

Он помнил: радуга была добрым знаком Нюю, что другого потопа не произойдет. Кроме того, она была знаком заключенного Договора.

На утихнувшей поверхности моря покачивались трупы. "Ребекка Кью" медленно плыла, накренившись на бок, раздвигая носом перевернутых вверх брюшками рыб и черные озера зловонной тины и грязи.

Коун заснул на парусах у поваленной мачты, и пока он спал, судно продрейфовало вдоль какой-то вулканической гряды и вновь ушло в открытый океан. Он проснулся, полный печальных мыслей о тщете человеческого существования, о миллиардах загубленных жизней. Стал припоминать имена тех, кого знал лично, потом тех, кого лично не знал, но о ком слышал. Он справлял траур по цивилизации, по добру, мужеству, радости — по всему тому, что было в людях хорошего.

Коун разозлился на Бога, сокрушившего его мечты. Война была делом рук человека, Потоп — делом рук Бога. Когда он произнес Имя Бога, послышался далекий раскат грома.

Небо было прежним. Сколько раз земля переменила облик, а сверху на нее смотрело все то же небо! Никогда еще не было такой пустоты в пустом пространстве. Никогда прежде он не испытывал такого отчаяния, такой безнадежности.

Коун прилежно наклеил на листы альбома почтовые марки исчезнувших государств. В игровой комнате он подобрал дротик и по привычке метнул его в красно-белую мишень на стене. Он читал, пока глаза не полезли на лоб и буквы не стали сливаться в сплошное серое пятно. Он вытащил патефон, подаренный ему когда-то отцом-раввином, и прослушал все свои пластинки. Он, что называется, продолжал существовать.

Дизельный двигатель перестал работать. Электричество погасло. Бортовой генератор покрылся ржавчиной — не стоило и пытаться снова заставить его работать, но на камбузе была газовая плита и можно было приготовить себе поесть.

В доброе старое время Коун порой убеждал себя, что если говорить праведные слова и совершать правильные поступки, то Господь продлит его дни. Но как это сделать сейчас, когда вокруг нет уже никакой жизни. И он в одиночку борется с Богом, пытаясь совладать с Его нелегким характером.

(Громыхнул гром, и Коун втянул голову в плечи.)

Никаким способом не проведешь Того, Кто таким создал Себя Самого! Бог всех начал, Он пожелал начать и поэтому начал. Как в двигателе — произвольное зажигание? Но если начала были раньше первопричин, то с чего же Он начал?

Кем был Он Сам? Чтобы утверждать, что человек создан по Его образу и подобию, нужно бы видеть Его лицо, но это еще никому не удалось. Моисей подошел к Нему вплотную, но Тот спрятал свой лик за огнем и туманом. Бог повелел ему при этом стоять в расщелине огромной скалы. Приблизившись, Бог закрыл расщелину рукой, чтобы Моисей Его не видел. Пройдя же, убрал руку — и Моисей видел Его необъятную спину.

Увижу ли я когда-нибудь Его лицо? Похоже на то, что у Бога была потребность разговаривать с людьми. Он нуждался в поклонении, и даже неверующие склонны были поклоняться Ему.

Коун покрывал бумагу столбцами каких-то чисел, делал записи в блокноте, потом рвал и выбрасывал бесполезные листы. Он делал пробежку от носа палубы к корме (152 фута), чтобы сохранить спортивную форму. Перепрыгивал через поваленную мачту и различные предметы, инструменты, бухты каната... На палубе валялись обрывки водорослей и морские звезды. Несмотря на небольшой рост и не очень стройные ноги, Коун когда-то в школе считался приличным спортсменом.

Радио молчало. Коуну не доставало звуков человеческого голоса. Приходилось вслух разговаривать с самим собой.

”Чего еще ждать от жизни в беспросветном одиночестве?”

— Продолжения жизни?

”Чтобы вечно жить одному?”

— Он вынул из него ребро и сотворил Еву.

”Ты считаешь себя Адамом?”

— Поскольку имеется вакансия, то почему бы и нет?

Изредка шел дождь. Могучие ливни уже сделали свое дело и теперь прекратились. Большую часть времени небо было ясным и воды отступали, но не проходил гнев Коуна на Бога, произведшего все это жуткое разрушение. Человеческая жизнь для Него ничего не значила. Возможно потому, что сам Он никогда не жил человеческой жизнью? Вот Иисус, тот жил и мог бы Ему порассказать. ”Хорошо бы обоих привести к мировому судье”, — подумал Коун.

(Оглушительные раскаты грома. Коун спрятался и несколько дней не смел показаться на палубе.)

Кончался запас питьевой воды, потому что часть ее во время Всеобщего Опустошения пролилась в океан, присоединившись к Потопу. Еды хватало, но Коун ел безо всякого аппетита.

Профессиональная квалификация позволяла Коуну с большой точностью определять возраст органических отложений, которые он доставал со дна, но в небесных светилах он ничего не смыслил. Тем более в навигации. Он мог только догадываться, в какой точке залитого водой земного шара они могли

находиться. Он нашел на корабле различные инструкции по ремонту и содержанию двигателей и электросистем, но починить ничего не смог. Да и к чему, если все равно не было никакой надежды отыскать хотя бы клочок суши? Корабль несло неизвестно куда, и он размышлял о том, будет ли смысл в том, чтобы удержаться еще немного на поверхности, если "Ребекка Кью" начнет тонуть.

Однажды, когда день показался ему особенно знойным и тоскливым, он решил, что корабль уже вышел за пределы акватории Тихого океана. "Где я и что буду делать на опустевшей планете?" — подумал Коун.

Он поклялся себе, что будет жить, несмотря на то, что Господь в Своем великом гневе сперва как будто вынул его из петли, а теперь снова сует в петлю.

Один раз он услышал оглушительное хлопанье крыльев и, ожидая увидеть сияющего ангела, поднял глаза к небу, но там был только разорванный клоч неба, принявший форму старческой руки.

Он упал на колени и вознес молитву. Слышен был только его голос. Ни ветерка.

Однажды лунной ночью Коуна во сне пробрала дрожь — ему почудилось чье-то присутствие на корабле. Он сел и подумал о своей рано умершей молодой жене. Он постоянно оплакивал ее и вспоминал тех, кто погиб во время Бедствия.

Мысль, что Бог, возможно, стоит за дверью, ужаснула его. Стоит в фартуке мясника. Сейчас постучит и скажет: "Эй, парень, пора, собирайся!". Или это только намек, чтобы подготовить Коуна? Бог сказал, что он должен расстаться с жизнью, но не было речи о казни. Тогда зачем было его будить? Можно же лишить жизни во сне. Лечь спать живым, а проснуться уже мертвым. Что такое совершил Коун, чтобы заслужить этот сжимающий горло страх?

А может, ощущение чьего-то присутствия было ничем иным, как близостью суши посреди отступающих вод? Может, это прокаркал ворон: "Вижу землю. Собирайся. Надевай штаны".

Коун посмотрел в иллюминатор. Луна стояла над безмятежным морем. Ничего больше. Прежде чем снова улечься, Коун натянул спортивные туфли и прошелся по коридору, заглядывая во все каюты и освещая углы карманным фонариком. Слышались какие-то поскрипывания и похрустывания, но ничего живого не было видно.

* * *

Его разбудил чей-то негромкий плач. Он зажег фонарик и прислушался.

Сначала Коун подумал, что это на ветру покачивался и поскрипывал какой-то предмет. Но нет: скорее похоже на хныканье ребенка. Однако на борту не было ни ребенка, ни матери.

Коун зажег свечу и снова прошел по коридору, останавливаясь у каждой двери и прислушиваясь. Кошка? Он не помнил, чтобы на корабле была кошка. Показалось во сне?

За одной из дверей он явственно услышал визг. Возможно, "Ребекка Кью" все-таки приблизилась к берегу и какая-то птица влетела в открытый иллюминатор одной из кают? В Книге Бытия рассказывается о том, как Бог утопил, сжег и уморил голодом все живое на Земле, кроме тех, что спаслись в ковчеге. Но если на этот раз Коун остался в живых, то могла уцелеть и птица. Или мышь.

Утром на видном месте в игровой комнате он оставил записку: "Кто бы ты ни был, будь любезен, зайди ко мне в каюту № А-11. Я не причиню тебе никакого вреда".

Потом он вскипятил себе воду на газовой плите и побрился.

Запасов воды начинало не хватать. Коун попытался заделать дыру в баке, где хранилась пресная вода, но у него ничего не вышло, и он перелил остаток в деревянный бочонок. К вечеру в бочонке осталось не больше четверти. На птицу никак не похоже!

Кто мог выпить воду? Страшно было даже задать себе этот вопрос. Он закрыл бочонок крышкой и прибил крышку гвоздями.

Вечером, когда он в камбузе взбивал себе пару яиц для омлета, он почувствовал, что кто-то за ним наблюдает. "Неужели человек?" — подумал Коун, и по его спине побежали мурашки. Но из абсолютно Авторитетного Источника ему было известно, что он — единственный на Земле человек, избежавший гибели. Он заставил себя успокоиться.

Коун съел яичницу с куском черствой булки, запивая еду скуными глотками воды. И вдруг, когда он предвкушал удовольствие от предстоящей сигареты, из туалета, расположенного под камбузом послышался какой-то шум.

Кто бы это мог быть?

Он испугался собственного вопроса, поискал глазами кухонный секач, но обнаружил на крючке только большую трезубую вилку. С вилкой наготове он навалился на железную дверь.

Испуганный крик животного снова заставил его вздрогнуть. В шкафчике под умывальником сидел маленький шимпанзе. Спрятавшись за бутылками моющей жидкости, обезьяна испуганно смотрела на Коуна. Горло шимпанзе было перевязано.

— Ты кто? — крикнул Коун и сам удивился, что обращается к животному, как будто перед ним человек.

Еще одна Божественная ошибка? В какую-то долю космосекунды Машина Вселенной застопорилась, и еще одно живое существо выскользнуло из лап смерти. Выходит, имеется большая вероятность выживания, чем он думал вначале. Коун приободрился.

Оттолкнув в сторону вилку, которую Коун держал как кинжал, шимпанзе выскочил наружу и, подпрыгивая на всех четырех, быстро

взобрался на металлическую крышку кухонного стола, а с него — на полку, где стояли кастрюли. Казалось, он собирался произнести речь в защиту своих священных прав.

На всякий случай Коун держался подальше от полки. Коун вспомнил, что у доктора Бюндера была в каюте обезьяна, над которой он производил эксперименты. Но он никогда ее не видел и совершенно забыл о ее существовании. Говорили, что доктор Бюндер по ночам выводил обезьяну на палубу подышать морским воздухом.

Шимпанзе похлопал себя ладонью по рту. Коун понял и протянул ему стакан воды. Шимпанзе выпил с жадностью. Собрав капли со стенок стакана, он старательно облизал пальцы и вернул посудину Коуну. Он снова похлопал себя по рту, но Коун сказал, что даст ему воды позже, перед сном.

Они общались!

Сидя на табурете, Келвин Коун внимательно разглядывал обезьянку. Шимпанзе с опаской смотрел на него с полки. В его взгляде сквозил ум, человеческий, не звериный. Он слез с полки, на четырех, боком приковываясь к Коуну и что-то по-своему залепетал.

Потом, взобравшись к Коуну на колени, он попытался через рубашку губами схватить его сосок. Коун растерялся и согнал обезьяну на пол.

— Веди себя как следует!

Шимпанзе почесал себе живот и недовольно заворчал, словно давно уже арендовал колени Коуна, аккуратно вносил квартирную плату и ничем не заслужил такого обращения.

Шимпанзе был еще совсем мальчишкой. Он перестал бояться человека, и его физиономия стала доброй и выразительной. У него были большие уши, плоский нос, глубоко посаженные черные глазки, и весил он фунтов семьдесят. Он опять прыгнул Коуну на колени, как к старому знакомому. Он пошарил у себя в густой коричневой шерсти, нашел что-то вкусное, съел, еще пошарил, нашел и предложил Коуну, который вежливо отказался.

Ему вдруг захотелось поделиться невеселыми мыслями, и Коун сказал мальчишке, что произошло нечто ужасное, что теперь они оба прикованы к искалеченному судну и неизвестно, что их ожидает впереди.

В ответ шимпанзе стал бить себя в грудь красной ладонью. Что он хотел этим выразить? Протест? Отчаяние? То и другое? Что бы этот жест ни означал, он означал нечто, он имел значение, он был осмысленным. Человеку нравилась перспектива постепенного развития у животного этого качества.

”Ну, что бы ты мне сказал, если бы мог?”

У шимпанзе громко заурчало в животе. Он спрыгнул с колен, взял Коуна за руку и, переваливаясь как матрос, боком-боком повел его по коридору к носовой части корабля. Так они подошли к двери футак в тридцати от каюты Коуна.

У Коуна было чисто и убрано, а здесь царил полнейший беспорядок. Пол был усеян предметами мужской одежды. Там и сям валялись шелковые рубашки, полосатые жокейские шорты, длинные черные носки вперемешку с

перепачканными листами каких-то рукописей, — скорее всего, наброски книги о растительности морского дна. Здесь же были размокшие записные книжки, поломанный микроскоп и множество ржавых инструментов. Книги разбухли от воды и тоже валялись на полу. Коун принялся машинально собирать их и складывать на полку. Шимпанзе не без удовольствия помогал человеку. Несколько книг было посвящено обезьянам, современным и доисторическим. Одна, принадлежавшая перу самого доктора Бюндера, представляла собой описание крупных обезьян. В остальных речь шла о палеоихтиологии.

Белые стены каюты были увешаны фотографиями в рамках. Одна из них изображала самого Бюндера. Круглое открытое лицо. На голове соломенная шляпа, а на коленях сидел в пеленках детеныш обезьяны, скорее всего тот самый паренек, который теперь стоял рядом с Коуном. На шее обезьянки висела серебряная цепочка с распятием. Интересно, что, по мнению доктора Бюндера, могло означать это сочетание обезьянки с распятым Христом? Он попытался пошарить у шимпанзе под повязкой, но тот оттолкнул его руку. Когда в детстве Коун заболел ангиной, мать повязывала ему согревающий компресс.

Доктор Бюндер был не слишком общителен, и они редко разговаривали. Но однажды доктор несколько оттаял и заметил Коуну, что, в сущности, люди мало могут сказать друг другу. Сам он был учеником Конрада Лоренца и, прежде чем занялся доисторическими рыбами, увлекался изучением крупных обезьян. Он развелся с женой, потому что она родила ему трех дочерей и ни одного сына. "Она недостаточно заботилась обо мне". Он доказывал, что она тоже была ответственна за пол их детей. Второй раз он не женился, потому что потерял всякое доверие к женщинам. Себя он считал натурфилософом.

Хоть и предупрежденный, что "людям нечего сказать другу другу", Коун все-таки рассказал, что был сыном раввина и сам учился на раввина, но, убедившись, что это не его призвание, предпочел заняться палеонтологией. Бюндер угостил его гаванской сигарой. Он выписывал сигары из Цюриха.

Почему во время бегства хозяин не взял обезьяну с собой? Скорее всего, когда заревела сирена, шимпанзе забился в дальний угол и его невозможно было отыскать. А может, доктор до смерти перепугался сам и забыл о своем воспитанике.

"Одни теряют — другие находят", — заметил про себя Коун.

Возле койки доктора Бюндера стояла деревянная клетка сантиметров тридцать пять высотой. Внутри на маленьком восточной расцветки коврике — ржавые жестяные миски. Шимпанзе, видимо, желая показать, как ему хорошо там жить, живо забрался в клетку, и замок на дверце автоматически защелкнулся. Тогда он растерянно посмотрел на Коуна, как будто устыдившись неловкости своего поступка, попытался открыть дверцу, не смог и стал яростно трясти деревянные стойки.

— Выпусти меня!

— Прежде чем что-то делать, хорошенько подумай, — посоветовал ему Коун.

Коун обшарил карманы брюк и курток Бюндера, но ключа не нашел. Тогда он жестами дал понять, что ничего не поделаешь — придется вышибить дверь силой.

Шимпанзе выпрямился и стал что-то изображать, переваливаясь с ноги на ногу. Коун покачал головой, показывая, что не понимает. Тот продолжал энергично жестикулировать: это мой дом, и я его люблю.

— Ну, как хочешь. Или я взломаю дверь, или ты останешься в клетке до конца своих дней.

Шимпанзе стукнул ногой по дверце, застонал и, подняв ногу, показал, где больно.

Впервые со Дня Великого Опустошения Коун от всего сердца расхохотался.

Шимпанзе быстро залепетал, как будто просил о чем-то, но Коун ударил по замку ботинком — и дверь распахнулась.

Шимпанзе выскочил, как угорелый, в бешенстве схватил Коуна за палец и больно укусил.

Коун вскрикнул, свободной рукой отвесил мальчишке пощечину, но тут же пожалел. Палец кровоточил, но он все-таки извинился.

Зверек обиженно отвернулся, а Коун добродушно похлопал его по задку, в ответ обезьяна показала, что хочет проделать с Коуном то же самое. Коун подставил ему правую ягодицу и получил мягкий дружеский шлепок. "Ишь ты, какой деликатный", — подумал Коун.

* * *

Разобрать записи, сделанные замысловатыми готическими каракулями Бюндера, было непросто, но Коуну удалось все-таки понять, что доктор обучал обезьяну азбуке глухих по системе Амеслана и что ученик уже немало преуспел. "Его успехи потрясающи. Он знает важнейшие знаки".

Келвин Коун попытался найти альбом знаков Амеслана, но его нигде не оказалось. В другом блокноте он нашел дополнительные записи, касающиеся экспериментов доктора Бюндера по обучению обезьяны общению с человеком. Доктор записал, что "Готлиб" уже "взрослый парень", ему надоели знаки-картинки, он начинает кое-что лепетать и можно сказать, что он уже вполне готов к тому, чтобы...

Готлиб!

Запись была сделана накануне Дня Опустошения.

Коун не был в восторге от имени, которое доктор зачем-то дал шимпанзе. Оно никак ему не подходило. Готлиб — любящий Бога. Он что, всерьез собирался воспитать обезьяну в христианских правилах? Коун взял шимпанзе за лохматую руку, повел к себе в каюту, достал Пятикнижие и открыл наугад на первой попавшейся странице. Затем он объявил, что отныне он решил называть его другим именем, более подходящим характеру зверя, чем то, которое он получил от доктора. Словом, отныне шимпанзе получает имя Буз.

При этом Коун объяснил, что Буз был одним из потомков брата патриарха Авраама Нахора, следовательно, это звучит гораздо солиднее.

К его удивлению шимпанзе всем своим видом показал, что он с таким решением не согласен. Он рассердился, тяжело задышал и стал бить себя кулаками в грудь. Однако у него недюжинный темперамент!

Но он не был упрям и, увидев, что его доводы не достигают цели, зевнул, влез на верхнюю койку, пересчитал пальцы на руках и ногах, лег на спину и заснул.

По дрожанию губ и век можно было догадаться, что он видел сон. Может быть, ему снилось, что он запустил камнем кому-то в голову? В остальном он выглядел вполне безобидно.

Коун подумал, что они могут подружиться и даже стать близкими, как братья.

Разве у него был выбор?

* * *

Он запер Буза в каюте доктора Бюндера, а утром выпустил и повел на камбуз завтракать.

При этом Коун заметил, что Буз сделал свои дела не на пол, а в жестяную мисочку, стоявшую в клетке. Умный парень! Применяется к обстоятельствам.

После завтрака они поиграли в прятки на захламленной палубе. Потом Коун взял шимпанзе за руки и стал раскручивать его вокруг себя, причем тот от удовольствия закрыл глаза и открыл рот.

Играть с Бузом было приятно. Но что они станут делать, когда кончатся продукты? Рыбные и овощные консервы на исходе, но оставались еще рис и мука. Хуже всего, что почти не было питьевой воды, если не считать нескольких галонов в бочке. Коун доставал воду из бочонка по столовой ложке.

Они могли так без конца дрейфовать в океане и не наткнуться на землю. То есть худшее ожидало их впереди. А что будет, когда Бог обнаружит свою вторую ошибку и узнает, что Буз тоже выжил? А что, если Он уже знает, но еще не решил, как ему поступить? Бог загадочен и непостижим. Его речь — молчание, его присутствие — тайна. И жизнь Он тоже сделал таинственной и проблематичной для каждого, кто пытается выжить.

Воды осталось еще на неделю. Коун попытался было опреснить морскую воду, но не нашел подходящего оборудования. Да и газа в баллоне оставалось так мало, что на выпаривание морской воды все равно не хватило бы.

Хоть бы дождь пошел! Не ливень, как при Потопе, а небольшой дождик, чтобы собрать немного питьевой воды. Может, напрасно он сохранил Буза, который ест и пьет втрое больше Коуна? Может, лучше было выбросить его за борт? Удалось бы продержаться подольше. Но как он мог такое сделать?

В ответ на мрачные мысли Коуна небо стало затягиваться тучами, и они с

Бузом притащили бочонок и большую медную кастрюлю, чтобы на палубе их наполнило водой. Буз нес кастрюлю и отчаянно колотил в нее, как в барабан, словно требовал у Бога воды.

И как будто самолично явился бог дождя. Поднялся сильный ветер, небо потемнело, на палубу обрушились потоки воды. Шхуну закачало и затрясло на волнах, а ураганный ветер понес их на юг.

Коун крепко привязал перепуганного шимпанзе к сломанной мачте. "Ребекку Кью" швыряло вверх и вниз. Буз вскрикивал при каждом стремительном спуске в пучину. Оба они закрыли глаза от страха и ждали прекращения шторма.

С ужасом думал Коун, что их обоих может вышвырнуть с корабля вниз, в бушующие волны и они перевернут последнюю мокрую страницу своей последней на Земле жизни. Не исключено, что это был их последний день. Но почему Он все так усложняет? Зачем Ему это? Разве нельзя было умертвить их сразу, одним ударом молнии? Жизнь выполнила на Земле свою задачу, эксперимент закончен и нечего здесь больше делать живым существам. После гибели Коуна и Буза обнаружится, что где-то в Бруклине, под умывальной раковиной задержался, возможно, еще один удачливый таракан. Вот показалась его головка, и он пошевелил усами-антеннами. Сейчас Господь своим мощным спреем отправит его куда следует. Что у Него за пристрастие к представлениям, подумал Коун. Лучшее развлечение для Него — ставить людей в опасное положение и наблюдать, как они корчатся от боли и страха. Он обожает рассказы с трагическим концом, морем крови и горами трупов. Коун, однако, постарался подавить в себе гнев против Него и подальше спрятал невеселые мысли.

К ночи ветер утих и море успокоилось. Над ними, как жемчужина, засияла яркая звезда. Шимпанзе пришел в себя и стал прислушиваться. Они двигались все время на юг, потом повернули на юго-восток, а теперь их несло на северо-северо-восток. В какой точке Земли они были, вышли они за пределы Тихого океана или нет — Коун понятия не имел.

Утром солнце засверкало, как ярко начищенное бронзовое зеркало. Коун отвязался от мачты и отвязал Буза, который сразу же обнял его своими лохматыми руками. Они расцеловались. Затем Буз порылся у себя под тряпичной повязкой на шее, достал оттуда порванную серебряную цепочку с крестиком и протянул Коуну. Что это? Подарок?

"Довольно с меня и одного Бога", — подумал Коун, но не стал выбрасывать крестик в воду, а сунул его в карман.

Шимпанзе старался что-то ему объяснить, делая какие-то непонятные знаки, но ни одного из них Коун не понял. В бочонке было полно чуть подсоленной воды, "Ребекка Кью", качаясь, делала все возможное, чтобы благополучно закончить плавание, хотя никак не могла найти для этого подходящего способа.

* * *

Ржавый корпус "Ребекки" все больше пропускает воду, и она день ото дня погружается глубже. Вряд ли судно протянет еще день. А земли все не видно. Едва он об этом подумал, как разглядел на поверхности воды два сине-фиолетовых цветка жакаранды, какие встречаются в тропиках. Немного поодаль покачивалась на волнах целая пальмовая ветвь и несколько зеленых побегов бамбука. Показались четыре рыбки и, надеясь, что они еще живые, Коун бросил им горсть хлебных крошек, но они даже не пошевелились. Глядя в корабельный бинокль, он принялся изучать горизонт. Вдали стояло голубое облачко тумана. Но не было видно ни одной птицы. Ну, хоть бы альбатрос. Или пеликан. Или там чайка.

Если облачко тумана указывало на близость суши, то стоило попытаться туда добраться, и Коун принялся осматривать резиновый плот, который оставили ему коллеги во время бегства. Коун прошелся по каютам, складывая вместе все, что могло пригодиться: одежду, инструменты, банки консервов, термосы для воды, книги... Он положил на плот отцовский патефон и дюжину довоенных пластинок (на 78 оборотов). Когда-то отец был кантором, и пластинки хранили его голос. Кроме того он взял урну с прахом свой жены. Эту урну он постоянно возил с собой. Она сама пожелала, чтобы после смерти ее кремировали. Сам Коун этого не сделал бы. Можно подумать, что, умирая, она догадывалась о близкой всеобщей кремации человечества и только немного опередила Катастрофу.

А ночью, когда Коун и Буз крепко спали, он на нижней, а шимпанзе на верхней полке, шхуна внезапно вздрогнула, закрипела всеми своими непрочными сочленениями и застыла, зацепившись за что-то твердое. Шимпанзе вывалился из койки, вскочил и запрыгал по каюте. Коун зажег свечу и успокоил парня: заключение на тонущем корабле, кажется, пришло к концу.

Утром Коун осторожно спустился с борта по железной лестнице, а Буз соскользнул по канату. Под ними был коралловый риф, на который, расколовшись надвое, напоролась "Ребекка Кью". Весь риф был покрыт толстым слоем водорослей. По ту сторону неширокого пролива лежала земля, возможно, остров.

Буз, к удивлению Коуна, сразу же прыгнул в воду и поплыл к зеленеющему в отдалении берегу. Он плыл на спине. "Гениальная обезьяна!" — подумал Коун.

Они были как два брата, скорее, как отец и сын.

Достигнув берега, Буз отряхнулся, посмотрел на Коуна и исчез в листве.

Коуну понадобилось несколько часов на то, чтобы спустить на воду плот и перевезти на берег все, что он считал стоящим. Закончив эту работу, он тоже пошел в лес. Видимо, Богу все-таки было угодно оставить его в живых, иначе Он не устроил бы так, чтобы они благополучно добрались до густо заросшей зеленью земли.

Барух а-Шем, Господь, кажется, пересел со своего судейского кресла в кресло милосердия. По этому случаю Коун решил провести однодневный пост. Тем более что, возможно, был Йом-а-кипурим.

2. ОСТРОВ КОУНА

ХОТЬ НА ОСТРОВЕ и не было грозных хищников, Коун провел ночь в ветвях развесистого дерева с яркокрасными цветами. Царила непривычная для тропического леса тишина: ни пения птиц, ни стрекота насекомых. Ни змей, шуршащих в траве, ни комаров, ни муравьев — все погибли, не оставив следа. Буз тоже куда-то запропастился. Даже голоса не подавал. Как пуст был теперь мир! Как бесцветны и пресны ощущения, когда ощущаешь один!

В лесу Коун натыкался на целые поляны, усеянные скелетами животных. Среди них были останки леопарда и молодой самки шимпанзе. Но никаких признаков, что здесь прежде были люди. Ему стало еще более одиноко, но он продолжал исследовать остров. Позади леса обнаружился участок, покрытый холмами, сложенными из желтого песчаника. На их склонах он нашел несколько небольших пещер и одну из них, состоявшую из двух помещений, решил сделать своим убежищем. Дальше, за его холмом, были другие холмы, покрытые сиренево-зеленой растительностью, отвесными выступами скал, деревцами, заросшими мхом и кустарником, а с них дождем ниспадали длинные виноградные лозы.

Выше входа в пещеру находилась небольшая площадка и, взобравшись на нее, Коун огляделся по сторонам. К северу простирался густой тропический лес. К востоку лес был реже и между цветущими рошицами виднелись свободные от зарослей пространства, а дальше, до самого берега, посреди степного пространства — отдельные группы диких пальм.

Со стороны берега "дом" Коуна выглядел как крепость. Слева — ручей, вытекавший из-под скалы, образовал небольшой водопад, а под ним, в каменной чаше, — озеро. Другой ручей, вытекая из озера, струился вдоль холма, пересекал просторный участок саванны и впадал в море недалеко от места, где они с Бузом высадились на берег.

Произведя поверхностный осмотр своих владений, Коун немного успокоился и воспрял духом.

Он с усердием принялся за работу по очистке жилья от грязи и камней. Вывернув из земли два больших камня, он освободил вход в пещеру и во второе помещение в глубине холма. Один из камней был почти совершенно плоским и со временем из него получится подобие кухонного стола. Рядом с ним удобно будет устроить очаг.

Высота пещеры была футов восемнадцать, в ширину — футов десять, а в глубину — не меньше двадцати. Не видно было никаких признаков, чтобы во время Потопа вода достигла этого места. Внутри, однако, было сыро и Коун разжег костер, чтобы осушить влажные стены. Пришлось много раз пересечь

пролив, чтобы перетащить на берег, а затем в пещеру то, что могло понадобиться для устройства минимального комфорта, в том числе различные доски, а неделю спустя он принялся за сооружение полок, на которых он разложил все свои вещи. На них же впоследствии можно будет устроить продуктовый склад. Что бы ни было, нужно думать о будущем.

Он принес с корабля разнообразные инструменты, в том числе большую подозрную трубу, сколотил стол, койку и даже кресло-качалку, для которогогодились обручи бочонка из-под пресной воды. Недалеко от входа в пещеру под ветвями акации он построил деревянную хижину. Три стены хижины были сложены из стволов молодых деревьев, которые Коун срубил в лесу, а четвертая сторона осталась открытой, чтобы, находясь в хижине, он мог любоваться живописным лесным пейзажем, простиравшимся до самой береговой линии.

Крышу хижины он укрыл от палящего солнца пальмовыми ветками, связав их обрывками корабельного каната. Когда ему надоедало сидеть в пещере, служившей одновременно кухней, спальней и гостиной, он перебирался в хижину — своеобразный балкон — укладывался в гамак, изготовленный из куска парусины, и размышлял о себе и своем беспроблемном одиночестве.

Можно ли было назвать эту жизнь жизнью?

Все же лучше, чем смерть.

Стоит ли такая жизнь усилий?

”Однако же я дышу!”

Когда бывало особенно душно, он, напротив, предпочитал оставаться в прохладной пещере и зажигал керосиновую лампу. Он подумывал уже о том, чтобы у входа в пещеру смастерить себе железные решетчатые ворота, хотя это и было абсолютно ни к чему: не от кого запираяться. Тем более не запрещая от Господа Бога, который, безусловно, знал, где он поселился и, если ему вздумается заглянуть перемолвиться словечком со своей ”маленькой ошибочкой”, то Он знает, где его найти и Его не остановит железная решетка у входа.

Недели через две Коун тяжело заболел. У него начались сильнейшие головные боли, рвота, и поднялась температура. Противно рябило в глазах. Он ничего не ел, но его непрерывно рвало. Тело покрылось липким зловонным потом. Пучками выпадали волосы. Не стало бороды и волос на груди и под животом.

Скорее всего начиналась лучевая болезнь. Что это, следствие облучения или Божья воля? Может быть, Он знает, что я не перестал сердиться на Него за то, что Он сделал? Пожалуй, мысли тоже надо контролировать. Для Того, Кто знает голос каждой птицы, не составляет никакого труда прочесть мысли какого-то там К. Коуна. Надо бы научиться держаться подальше от Зоны

Слежения и (или) Его Всевидящего Ока. Но даже если мне известно, где Его дверь, я слишком болен, чтобы постучаться в нее. Пусть Он Сам смотрит на меня и, если у Него подходящее для этого настроение, пусть благословит.

Коун лечился, как умел, аспирином. Чтобы хоть как-то утолить голод, он жевал сырые рисовые зерна, хотя вряд ли это приносило пользу, так как он все извергал обратно. Рвало непрерывно, и все усиливалось чувство заброшенности и безнадежности. Не к кому прийти вместе поплакать над его несчастной судьбой. Бог сказал: "Живи побыстрей". А потом: "Пару раз вздохнешь — и собирайся в дорогу". Хотя Коун и согласился, но его сознание не принимало никаких условий.

Ночью он непрерывно бредил, а приходя в себя, проклинал Того, Кто дал ему жизнь, и тех, кто способствовал его рождению. Раз в полузабытии он почувствовал (ой, мама!), будто бы чья-то рука приподнимает его голову, а потом словно кто-то вливает в его пылающий рот освежающую струю кокосового сока.

Бред ли это или в самом деле возле него стоял маленький черный божок и поил его соком из расколотого ореха?

— Буз? — пробормотал он, но никто не ответил.

Кто бы это ни был, божок или зверь, Коун протянул руку, чтобы прикоснуться к нему. Рука, державшая его голову, отдернулась, он больно стукнулся затылком и опять перестал видеть и соображать.

Утром возле своей постели он нашел два спелых банана и несколько апельсинов. Коун с огромным трудом очистил апельсин — и крепкий аромат ударил ему в голову. Он жадно высосал содержимое. Судя по тому, что он чувствовал, он, скорее всего, был жив. Он был один, но все еще в этом мире. Или уже там?

Снова начало тошнить. Существо (или некто) не возвращалось. Коуна снова вырвало, и он потерял сознание. Он не знал, как долго это продолжалось. Он не знал, навещал ли его кто-нибудь опять. Придя в сознание, он не мог отделить реальность от бреда. Он лежал на теплой земле, и его согревало солнце. Некто вынес (или выволок) его из пещеры и положил возле хижины у ствола акации.

Прошло еще несколько дней. Коун лежал под акацией, смотрел в небо и мечтал о том, чтобы выздороветь и снова жить. Кто-то появлялся, когда он забывался сном, и приносил фрукты, которые он постоянно находил возле себя красиво разложенными на цветущих ветках акации. Он заставлял себя грызть зубами какой-то горьковатый вязкий корень, чувствуя, что от этого ему становится легче. Он так похудел, что страшно было на себя смотреть. Легкий бриз оглаживал кожу, возвращая ощущение реальности, а когда он потрогал голову, то обнаружил, что на ней начинают отрастать волосы. Дождь, к счастью, в это время не было, только пару раз слегка моросило.

Каждый день появлялись свежие фрукты и корни маниоки. Если он просыпался до рассвета и лежал с открытыми глазами, чтобы увидеть своего благодетеля, то никто не приходил, и он оставался без своей порции, а если

снова засыпал, то фрукты и кусок сахарного тростника оказывались на месте. Потом он целый день вспоминал и думал о том, кто приходил, мысленно благодарил его и мечтал с ним познакомиться.

Однажды утром, позавтракав фруктами, он почувствовал, что может подняться. Он с трудом встал и пошел к бассейну у водопада. Там он впервые после прибытия отпраздновал омовением начало жизни на острове, а теперь погрузился в воду, чтобы смыть с себя болезнь.

Потом, сидя на камне, он обсушился и надел шелковую рубашку доктора Бюндера, свои грубошерстные брюки и бело-голубые спортивные туфли. Возможно, Адам вполне удовлетворялся фиговым листком, но Коун любил изящную одежду.

Одевшись, он удобно уселся в кресло-качалку, но читать еще не мог: не было сил. Он закрыл глаза, надеясь заснуть, когда из кустов акации послышался шорох. На ветке сидел Буз и не обращал никакого внимания на своего бывшего друга и учителя. Буз сосредоточенно ел что-то похожее на сливу. У него на шее все еще болталась сделанная Бюндером повязка. Гибкими пальцами ноги он крепко обхватил ветку. Весьма внушительно для такого мальчишки выглядел свисающий ниже ветки пенис.

Заметив, что Коун смотрит на него, Буз взвизгнул и что-то быстро-быстро сердито затараторил кому-то пушистому, сидевшему под деревом. В нескольких словах Коун выразил радость по поводу возвращения шимпанзе и даже не упомянул о его странном внезапном исчезновении в первый день их прибытия на остров.

Он заметил, что лохматая шубка Буза была вся в клочьях и пятнах, а голова почти облысела. Он не был таким худым, как Коун, но видно было, что он тоже переболел.

В ответ на приветствие человека шимпанзе бросил ему один из плодов, которые он ел. Плод ударил Коуна по голове, от чего он едва не свалился с качалки. Буз еще пожевал, внимательно разглядывая Коуна, и наконец слез и направился к качалке.

* * *

В пещере Коуна была телефонная книга, которую он нашел на корабле. Он хранил ее в качестве "Книги Мертвых" и каждый день читал *кадиш*, называя очередной десяток имен. Он считал, что тот, кто действительно ценит жизнь, должен поминать мертвых. Для чтения кадиша требуется *миньян* из десяти живых евреев, но, поскольку таковых не было, он решил, что не будет грехом, если это правило в столь нестандартном случае будет нарушено. Бог не обидится.

Бог ничего не сказал.

Коун читал кадиш.

В Мидраше есть легенда о том, что, будучи в весьма преклонном возрасте,

Моисей не хотел умирать и заявил об этом, хоть и вежливо, но довольно твердо.

— О! Творец Вселенной! Позволь мне уподобиться птице, несомой ветрами и собирающей хлеб свой насущный, чтобы к вечеру принести его в гнездо свое. Позволь мне быть как одна из Твоих птиц.

— Даже с учетом величайшей важности совершенного тобой, — отвечивал ему Господь, — вынужден заметить, что ты просишь невозможного. Если Я выполню твою просьбу, это перепутает Мне все на свете. Существует порядок. Одно за другим.

Коун читал кадиш.

Если мы от сотворения были обречены на такой ужасный конец, то зачем, спрашивается, Господь нас создал? Он, знавший все наперед!

— Чтобы служить отражением Его света, — говорили мудрецы. — Это давало Ему возможность ощущать собственное присутствие.

А один мудрец сказал так: "Чтобы вершить справедливость на земле. Или хотя бы попытаться ее совершить".

А Коун подумал: "Он был Творцом вселенной. При этом, каждый человек был для Него отдельной повестью жизни. Он любил, чтобы у каждой истории было свое начало и свой конец. Ему нравилось, чтобы конец каждой истории был основан на начале, а каждое начало — на каком-то окончании. Он с интересом наблюдал за тем, как развивалась каждая человеческая повесть, как она вкривь и вкось шла к своему завершению и пытался догадаться, что будет в конце. Было время, когда Он увлекался колоритными пассажами, в которых человечество разрывалось между добром и злом, но затем это Ему порядком приелось, потому что зачастую зло, не прилагая никаких видимых усилий, побеждало, торжествовало над добром. Не в результате борьбы, а из-за затруднительных ситуаций, из-за условий, возникших в результате несовершенства Его Творения. Человек был тонко задуман, но топорно сработан: в нем непрочно держалась душа.

Может быть, при следующей попытке?..."

Коун читал кадиш.

Он оправился от лучевой болезни, окреп, отрастил светло-каштановую бородку. Правда, коротковатые ноги еще больше искривились, чем это было с детства. Возможно, сказывается недостаток кальция в пище. Не было коров, а следовательно, и молока. Однажды они с Бузом съездили на плоту к коралловому рифу, чтобы еще раз пошарить среди обломков "Ребекки". Некоторые вещи, хоть и могли бы пригодиться, были чересчур тяжелы, но многое они все же перетащили на берег. До пещеры было не больше полумили и дорога вела в гору, так что проще было перевозить на плоту, огибая берег, а не тащить по труднопроходимому лесу. До болезни Коун уже

Римский амфитеатр в Кейсариин. Вид с воздуха. Фото Ричарда НОВИЦА. На обороте: Старый город в Иерусалиме. Вид с воздуха. Фото Ричарда НОВИЦА. На следующей странице: Гавриэль КОЭН. Визит Киссинджера в Иерусалим 22 марта 1974 г. Холст, акриловые краски. 1974.

пять раз побывал на корабле, а сейчас, понимая шаткость своего положения, предпочитал запастись, по возможности, всем необходимым.

Он греб, стоя на носу, а шимпанзе подражал его движениям, пристроившись на корме и орудуя алюминиевым веслом. Иногда Буз начинал дремать, и тогда ему приходилось трудиться самому.

Коун уже перевез собрание сочинений Шекспира, свое старенькое Пятикнижие, однотомную энциклопедию, школьный словарь и один экземпляр сочинения доктора Бюндера "Крупные обезьяны", содержавшего, в частности, несколько прекрасных глав о жизненном цикле шимпанзе. Далее он отобрал для себя "Медицинские советы" Филшбейна, "Радости необременительной кухни", "Советы начинающему плотнику", несколько книг по палеонтологии и пару романов, принадлежавших его покойной жене. Он повертел в руках и забавы ради прихватил также "Учебное пособие по развитию сексуальных способностей у холостяков", которое нашлось на дне ящика в шкафу доктора Бюндера.

Буз, хорошенько попрыгав, открыл банку португальских сардин в масле, решил, что это вкусно и поэтому взял с собой на берег ключ для открывания консервов. Содержимое банки он съел сам, не предложив ни кусочка Коуну.

Буз во что бы то ни стало хотел, чтобы его деревянную клетку тоже перетаскили на берег. Он испытывал к ней нежную привязанность. Затем они тщательно увязали на плоту весь багаж и отправились, оставив на палубе приготовленные для следующего рейса канистры льняного масла, большой баллон с таблетками витамина "С" и пишущую машинку Коуна, которая не являлась предметом первой необходимости, так как следующее свое письмо он отправит не скоро. Если ему вздумается вести дневник, то, пожалуй, можно будет писать от руки.

Он было попытался убедить Буза, чтобы он не настаивал на перевозке клетки, но шимпанзе сердито запрыгал — и пришлось ему уступить. Потом на берегу он сам оттащил клетку в пещеру. Там он нашел для нее место под каменным выступом, на котором был разложен всевозможный хлам, включая корзинку для грязного белья, швабру и щетки.

Всю последующую неделю лил дождь, а когда небо очистилось и они снова отправились на риф, корабля там уже не было. Коун даже удивился и начал было сомневаться, тот ли это риф. Льняное масло, витамины и пишущую машинку смыло вместе с остатками шхуны. К одиночеству Коуна прибавилась еще одна печальная потеря. Он простил Бузу странное желание сохранить клетку — свой бывший дом.

* * *

Коун приступил к исследованию острова. Они с Бузом совершали длительные прогулки вдоль берега на плоту и пешком в глубь леса. Обычно Буз, переваливаясь и подпрыгивая, шел рядом, но иногда предпочитал прыгать









Авигдор СТЕЙМАЦКИЙ. Иерусалимский пейзаж.
Акварель, карандаш. 1981.

Формула природы Эрец-Исраэль

Авигдор Стеймацкий относится к тем ветеранам израильского искусства, которые начинали еще в 20-е годы и должны были выбирать между академическим ориентализмом Школы искусств и ремесел "Бецапел" и непреодолимыми соблазнами европейской живописи; уезжали в Париж, жили и работали там иной раз по несколько лет кряду, чтобы потом все-таки вернуться в родной Зихрон-Яков на Кармеле или в Абу-Гош под Иерусалимом; создавали свои течения, сочиняли программы и манифесты, имели десятки учеников и тысячи поклонников и, наконец, дожив до глубокой старости, сохранили и твердость руки, и зоркость взгляда, и юношескую бескомпромиссность в искусстве. Дай им Бог оставаться такими до 120 лет — вот и все, что можно тут сказать.

Авигдор Стеймацкий родился в Одессе и мальчиком вместе с родителями приехал в Палестину. Он доучивался в тель-авивской гимназии "Герцлия", затем провел несколько лет в "Бецапеле", а завершил свое художественное образование во Франции. Уже в 30-е годы Авигдор Стеймацкий — один из виднейших живописцев и преподавателей живописи этого маленького, но такого деятельного еврейского ишува в Эрец-Исраэль. Он пишет человеческие фигуры и пейзажи.

В начале 50-х годов он — деятельный участник группы "Новые горизонты". Идеи этого течения были перенесением в сферу искусства великого (действительно великого!) спора о том, в чем должен проявиться еврейский характер государства Израиль. Что это? Государство как любое другое? Еврейское государство или государство евреев? И, соответственно, еврейское искусство или искусство, создаваемое в Эрец-Исраэль?

"Занимайтесь искусством и не думайте ни о чем другом, ваш еврейский характер проявится независимо ни от чего", — примерно этому учил духовный вождь группы Йосеф Зарицкий. Живопись Авигдора Стеймацкого, одного из самых известных израильских живописцев, обладает теми чертами, которые получили название лирического абстракционизма. Свободное и органичное сочетание цветовых пятен, почти полное равенство того, что создает художник, и того, что возникает как результат "поведения" материала. Стеймацкий любит спокойные сочетания красок, систему линий, не зависящую от системы цветовых пятен.

Итогом творчества Авигдора Стеймацкого на сегодняшний день можно считать выставленную два года назад в Музее Израиля серию больших акварелей "Абу-Тор". Абу-Тор — слившееся с Иерусалимом предместье, наполовину еврейское, наполовину арабское. По другую сторону долины — холм Сион и Старый город, древние стены, золотой купол мечети Омара, Масличная гора. Здесь стоило бы написать серию пейзажей, подобную серии Клода Моне "Руанский собор". Но не пытайтесь найти на огромных листах бумаги именно эти горы и здания. Про серию "Абу-Тор" Стеймацкого можно сказать то же, что сказал кто-то о пейзажах Йосефа Зарицкого: "Он пишет не ландшафт, а природу".

Коричнево-бурые летние тона, серый камень и прозелень травы зимой, голубизна неба и желтые дали Иудейской пустыни — вот истинный сюжет этих акварелей. Это — формула природы Эрец-Исраэль, рожденная не умом, а непосредственным чувством.

Иосиф ЛИЩИНСКИЙ

с ветки на ветку, как заправский гиббон. Он взбирался на самую верхушку дерева и, ухватившись за лиану, стремительно летел вниз и перемахивал на другое дерево. Коун восхищался его ловкостью и тем, как он, едва ухватившись за ветку одного дерева, тут же, не останавливаясь ни на секунду, прыгал на следующее.

Пока Коун, выверяя дорогу по компасу и цепляясь за колючий кустарник, медленно пробирался сквозь чашу тропического леса, Буз убежал, вернее сказать, улетал далеко вперед. При этом Коун размахивал старинной саблей времен франко-прусской войны, которую шимпанзе нашел в сундуке доктора Бюндера.

Лес был таким густым, что солнце едва пробивалось сквозь листву и переплетения лиан и дикого винограда. Местами вся земля была усеяна цветами. Погибли люди и животные, а растения, цветы остались нетронутыми. Господь любил цветы, их цветовую гамму и аромат. Но кто, интересно, будет теперь переносить пыльцу? А может быть, Он для этой цели оставил небольшую пчелку? Иначе просто невозможно себе представить, что вся эта роскошь погибнет, не в силах себя воспроизвести. Оставалось надеяться, что Бог не упустит из виду этого механизма и принял надлежащие меры. "Плодитесь и размножайтесь", — сказал Коун, глядя на то, как цвели и плодоносили деревья и кусты.

Бог любил всевозможные дебюты, а чтобы было, где начать, уничтожал ненужное. Сотворенное воспроизводилось сторицей. Что будет теперь? Может быть, жизнь без смерти? Скажем, бактерии и микробы тоже продолжали существовать. А что, если остров был новосотворенным раем и все живое на нем было бессмертным? Но вокруг — ни одного живого существа. Кроме одинокого еврея и незащитного сироты-шимпанзе, которого он подобрал на тонущем корабле. На морское путешествие вдоль береговой линии острова ушло недели две. На ночь они высаживались на берег, собирали дикие фрукты и съедобные корни, а питьевую воду находили в дуплах деревьев. По форме остров напоминал огромную бутылку, дно которой откололось во время Великого Опустошения и потонуло в океане.

Северный берег был испещрен неглубокими бухточками и заливчиками, омывавшими просторные пляжи, усыпанные крупным песком и галькой, а в том месте, где остров принимал форму горлышка бутылки, полдюжины рифов прикрывали доступ к береговой линии.

По возвращении они вытащили плот на берег, и Коун сразу же принялся за раскопки в надежде отыскать останки исчезнувших животных. Вскоре он отыскал несколько интересных экземпляров и подумал, что не стоит отступать от принятого обыкновения и неплохо бы написать пару научных статей на основании сделанных открытий. Жаль, что пишущая машинка пропала. Буз развлекался тем, что тоже копал ямки и разбивал камни молотком. Иногда он находил какую-нибудь кость и показывал ее Коуну. Необыкновенно ценной была находка коренного зуба ископаемой лошади. Затем они откопали бедренную кость шимпанзе, челюсть гориллы и многое

другое, что свидетельствовало о порядочной древности приютившего их острова.

Коун догадывался, что остров находился где-то там, где прежде был Индийский океан, возможно даже, недалеко от африканского континента и представлял собою когда-то действовавший, а затем потухший вулкан. Об этом можно было судить по характеру растительности. Как жаль, что он не сохранил оборудование для погружения на морское дно!

В длину остров имел миль двадцать, в ширину — миль шесть, а в том месте, где "горлышко" — не больше трех.

Коун стал подыскивать для своего острова подходящее название. Назвать ли его Уцелевшим Обломком или, в честь своего юного друга, дать ему имя Шим-Пан-Зе? Он все-таки остановился на простом и общепонятном: Остров Коуна. На узком перешейке он врыл столб с соответствующей надписью. Однако, поразмыслив, убрал табличку: чтобы Господь не обвинил его в ложном тщеславии.

Во время Великого Опустошения от острова отломило кусок, вслед за тем приливная волна прокатилась по нему, убив всех животных. Если здесь были люди, то они, должно быть, в панике бросились на возвышенные места, но волной смыло и тех, что были наверху, и тех, которые остались в долине. Не исключено, что остатки деревни еще найдутся под водой у отломанной оконечности.

А Бог ее видел?

* * *

Начались холодные осенние дожди. Живительные дождевые потоки оросили землю, апельсиновые деревья украсились крупными розовыми и фиолетовыми цветами. Сперва Коун на них и внимания не обращал. Календаря не было, но он догадывался, что период дождей длится с небольшими перерывами с октября по декабрь и с марта по май. Часы тоже давно остановились, и он перестал их заводить. Если не отмерять время порциями, есть шанс, что оно протянется дольше. Возможно, так оно приблизится к Божественной протяженности. Богу не было дела до минут и часов, а после сотворения мира — до дней; разве что Он обращал внимание на Субботы. Его Божественный комфорт осуществлялся в единстве всего сущего и протяженности вселенной в пространстве и времени.

После полудня ливень сменялся мелким дождем, и Коун, надев коричневое шерстяное пончо и шапку из водоотталкивающего синтетического меха, отправлялся за фруктами. Если дождь был таким сильным, что его потоки скрывали лес, Коун подолгу сидел у входа в пещеру и молчал, упершись взглядом в водяную стену. Дождь прекращался, и они с Бузом вместе отправлялись в лес. Иногда ливень обрушивался на них во время прогулки. Тогда шимпанзе прятался под развесистое дерево, опускал голову и молитвенно складывал руки на груди, а по его шерсти текли струи воды.

Похоже было, что с дождем у него был связан какой-то траур.

— С чего бы это? — спрашивал себя Коун.

Шимпанзе что-то по-своему бормотал.

Коун изготовил карту окружающей местности, обозначил на ней расположение фруктовых деревьев и рядом — свойства фруктов и как они растут. Пальмы обеспечивали его растительным маслом, кокосовыми и другими орехами. Буз лазал за орехами и носил их в пещеру, прижав к груди, по четыре штуки за раз, а Коун раскалывал их и выливал в банку приятную освежающую жидкость. Из мякоти кокосовых орехов он приготавливал пасту, добавляя в нее ваниль и шоколад, и они оба лакомились этим, как конфетами.

Буз показал ему, где растут бананы. Они собирали их спелыми и ели — иногда сырыми, а иногда жареными. Потом Коун научился в бочонке готовить любимое пиво Буза. Плоды манго ел только Буз, потому что у Коуна на них обнаружилась аллергия. Лимонов на острове не было, но было сколько угодно апельсиновых, фиговых и рожковых деревьев. Коун готовил прекрасный фруктовый салат. В ручье он построил плотину, которая служила им холодильником.

Они ели дважды в день, и этого было вполне достаточно.

К чести господина Бога надо сказать, что земля, хоть и натерпелась во время Опустошения, все же производила фрукты и цветы. Коун стал фруктоедом. Он не ел фруктов только когда они были еще незрелыми или когда их совсем не было, но со временем они научились неплохо сохранять их.

Еще оставался запас консервов тунца, но очередную банку они открывали, только если ничего другого уже не было. Шимпанзе обожал эту еду, а Коун относился к пожиранию того, что когда-то было живым существом с отвращением. Он дал себе слово этого не делать. Только необходимость могла его заставить нарушить обещание.

Он отваривал рис, смешивал с мукой и за неимением дрожжей пек на камнях некое подобие мацы. Она тоже довольно долго сохранялась, так как в пещере постоянно был сквозняк, устранявший всякую сырость.

Буз ел рисовые лепешки безо всякого удовольствия, и аппетит у него появлялся, только если Коун сыпал ему хлебцы какой-нибудь зеленью.

Поздней осенью на острове стало ужасно холодно и сыро. Коун носил длинные брюки, шерстяные носки, два свитера и пальто, а Бузу разрешал кутаться в пончо. Коун чувствовал, что с климатом происходит что-то неладное, очевидно, из-за масс пепла, загрязнивших атмосферу.

Лето оказалось жарче, а зима холоднее, чем должно было бы быть в этих широтах. Если на пару космических секунд Бог отвлечется, занимаясь другими проблемами своего вселенского хозяйства, то неизвестно, что еще может произойти с растительностью. Тропический лес может почернеть и испустить дух. Но у Бога были свои таинственные пути, и давать объяснения Он явно не собирался.

Коун постарался по возможности отделить пещеру от внешнего мира. Смешав два мешка цемента со щебнем и водой, он приготовил бетон и частично заделал вход и пространство между двумя помещениями, сохранив достаточно большие отверстия, чтобы была естественная вентиляция, благодаря чему в дождливые сезоны устранялась сырость, а в сухие дни приятно пахло сеном. Из горбылей он соорудил себе кровать с короткими ножками и покрыл ее листьями мимозы, сверху положил кусок парусины, а когда было прохладно, укрывался пальто.

Буз во время дождя предпочитал сидеть на ветке акации, недалеко от входа в пещеру, а если был ночью дождь, забирался в свою клетку, хотя ему там было не очень удобно: ведь со времени их первой встречи он стал дюйма на три выше. Теперь его макушка доставала Коуну до груди. Обычно он ходил, пружинисто полусогнув ноги и слегка опираясь на костяшки пальцев рук, но бегал в этом положении гораздо быстрее его.

Они играли в пятнашки и в прятки, но Бузу особенно нравилось играть в "орешки", которые Коун учил его загонять в лузы. Ему это давалось с большим трудом и, как правило, Коун давал ему фору, чтобы тот выиграл и не потерял вкуса к игре. Однако, как выяснилось, Бузу нравился сам процесс игры; а выигрыш и проигрыш были ему абсолютно безразличны. За едой шимпанзе громко чавкал и похрюкивал, иногда даже приплясывал, а если Коун его, шутя, "заводил", отвечал ему тем же, причем Коун, в тон игре, беспомощно посмеивался, показывая Бузу, что его шутки достигают цели. Он часто задумывался над тем, какой славный приятель мог бы получиться из Буза, если бы он научился говорить. С наступлением весны, защитив голову от солнца старой армейской фуражкой, Коун принялся ворочать камни и сухие пни, чтобы отвести в сторону ручей и оросить рисовое поле. О том, как это делается, он прочел в однотомной энциклопедии. Рассадку он вырастил у себя в пещере. Четыре месяца спустя он собрал урожай и снова посеял. Итак, пока он может рассчитывать на Божественное расположение, рисом он обеспечен. Временами он даже забавлялся мыслью о бессмертии.

Кроме того он посеял бататы и бобы, семена которых собрал и сохранил с прошлого года. Жаль, что нигде на острове не удалось найти следов салата и помидоров. Буз, заодно с другими дарами природы, иногда приносил ему какое-то подобие листьев салата, но Коун их вкуса не оценил.

Иногда Буз помогал ему в огороде. Сажать растения он не мог: обезьяньи пальцы оказались мало приспособленными для такой работы. Он брал горсть бобов и после неудачной попытки затолкать их в ямку один совал в рот, а остальные отбрасывал в сторону. Тогда Коун решил, что от него будет больше проку при уборке урожая.

Зато он прилично овладел некоторыми инструментами, в частности своим любимым ключом для открывания консервов. Пыхтя и посапывая, Буз втыкал конец ключа в жестяную банку и прилежно вертел его, пока не запускал под крышку пальцы. Он научился также нарезать фрукты ножом и

довольно хорошо орудовал молотком. Если нужно было забить гвоздь, Коун намечал место и одним ударом фиксировал его, а шимпанзе прилежно трудился и заканчивал работу.

Коун тоже кое-чему выучился. При помощи перочинного ножа и стамески он вырезал из дерева чашки, тарелки и горшки, украшая их изображениями цветов и растений. Из волокон кактуса он изготовил нити, которыми чинил порванную одежду. Он собирал и полировал всевозможные камни.

Из старого пальто доктора Бюндера он соорудил Бузу гамак и пристроил его между двумя деревьями. Буз с наслаждением раскачивался, пока не заснул. Ему это понравилось, и он часто, лежа в гамаке, принимал солнечные ванны.

Если Он собирается убить меня, зачем Он дал мне Бузу?

* * *

Однажды Коун сказал Бузу, что их остров похож на бутылку с отбитым дном. Шимпанзе завертел головой, изображая несогласие, а затем очистил банан и показал Коуну, как он себе представляет форму острова.

— Возможно, — согласился Коун, — но, на мой взгляд, он больше похож на бутылку.

— Нет, на банан, — настаивал Буз.

* * *

Коун прихватил с "Ребекки Кью" несколько попорченных водой тетрадей доктора Бюндера. Ему не без труда удалось извлечь из неразборчивых записей несколько знаков, которыми доктор обменивался со своим подопечным. По мере расшифровки Коун опробовал их на своем приятеле.

Однажды он сидел в кресле-качалке с Бузом на коленях и мысленно комбинировал знаки. Потом он нерешительно изобразил: "Мы, то есть я и ты, одни во всем мире. Понял?"

Шампанзе ответил знаками: "Буз хочет есть".

Коун просигнализировал: "Мне одиноко. Тебе тоже?"

Буз ответил: "Что значит "одиноко"?"

Коун увлекся возможностью диалога и стал объяснять значение слов "грустный", "несчастный", "подавленный".

Тот показал: "Поиграй с Бузом".

Коун заговорил громко и нетерпеливо:

— Я хочу сказать, что наше положение действует мне на нервы, что мы одиноки на этом острове и не можем в полной мере общаться. Кое-что мы может сообщить друг другу, но это никак нельзя назвать обратной связью.

Речь идет отнюдь не об экзистенциальном одиночестве — я думаю, это ясно как само собой разумеющееся, — а о внутреннем восприятии преимущественно субъективного существования, включая понятие взаимосвязи жизни и смерти. Надеюсь, я ясно выразился. Я касаюсь, преимущественно, понятия "одиночества", происходящего от недостатка партнерства и четкого чувства контакта с сообществом себе подобных. Буз, ты все понял?

"Хочу фруктового сока", — прожестикнул Буз.

— Нет, ты сперва ответь на мой вопрос.

Шимпанзе широко зевнул, показав ему свой розовый рот, симпатичный язычок и два ряда безукоризненных зубов. Потом он попытался схватить губами его левый сосок.

Коун смахнул его с колен.

Буз укусил его за лодыжку.

Коун вскрикнул, от волнения у него пошла носом кровь. Буз испугался, отскочил в сторону и помчался в лес.

Два дня его не было, и Коун уже начал беспокоиться, но на третий день Буз вернулся и подошел к нему с виноватым видом. Коун тут же ему простил.

Чувство одиночества было особенно острым по вечерам, когда они сидели у костра и Буз с интересом наблюдал за тем, как по стене пещеры прыгала тень, отбрасываемая Коуном и его качалкой. Однажды Буз показал на тень и что-то вопросительно протараторил.

"Это тень", — постарался знаками объяснить Коун. Сложив ладони, он вызвал на стене тень лающей собаки.

Буз внимательно посмотрел на изображение и выразил восторг, смешанный с удивлением.

Когда ночи потептели настолько, что отпала надобность в костре, Коун стал читать при керосиновой лампе. Он читал быстро, так как запас керосина кончался. Если в пещере становилось душно, он перебирался в хижину. Свет лампы не собирал туч комаров и москитов. Если бы он мог, он бы охотно избрал комара.

— Тишина давит мне на уши.

Буз понял и пронзительно крикнул.

Коун поблагодарил его.

Как-то вечером он решил почитать Бузу вслух, хотя, к сожалению, ничего подходящего для такого возраста в его библиотеке не нашлось. Ему показалось, что Буз понял больше, чем хотел показать. Тогда он остановился на текстах Шекспира, чтобы приучить шимпанзе к звукам правильной английской речи. Возможно, у него появится желание заговорить.

Он решил, что "Венецианский купец" лучше всего подойдет для этой цели. Бузу стало скучно, и он зевнул. Он посмотрел на картинку, хотел потрогать пальцами, но Коун не разрешил, и Буз отошел в сторону.

Тогда Коун заменил Шекспира Книгой Бытия и прочел историю о том, как Бог сотворил мир за шесть дней. Когда он сообщил о том, что на

седьмой день Бог отдыхал от трудов, Буз истово перекрестился. Коун решил, что ему показалось. Случайный жест? Он снова перечитал тот же текст и шимпанзе опять перекрестился. Похоже на то, что доктор Бюндер крестил его. Но если один из них иудей, а другой — христианин, подумал он, рая на острове не получится.

Он порылся в чемодане, нашел там свою старую школьную кипу и хотел было напялить на Буза, но тут же отказался от этой затеи: если парень захочет быть евреем, он сам скажет; миссионерство не еврейское дело.

Однако Буз сам взял кипу и надел ее на голову. Он даже спал в ней, как бы демонстрируя, что так будет лучше. Он носил кипу весь следующий день и не снимал ее во время сбора фруктов на опушке леса, но потом ушел в чащу и вернулся с обнаженной головой.

Коун хотел узнать, что тот сделал с кипой, но ответа не получил.

Больше Коун кипы не видел. Может быть, по воле Господа, он еще увидит, как из лесу выползает змей с кипой на голове. Кому ведомы сложнейшие сочетания, трансформации и вероятности новообретенного Землей будущего?

Он протянул Бузу серебряное распятие, которое попало к нему вместе с другими вещами доктора, но Буз отказался, показав знаками, что у него нет карманов.

Нужно будет подсчитать, чему, исходя из средней продолжительности обезьянего века, соответствует у Буза тринадцатилетний возраст и устроить ему *бар-мицву*. Интересно, как он к этому отнесется? Если он откажется, Коун вернет ему его серебряный крестик. А может быть, Буз и сам подумывает, не обратить ли Коуна в христианство?

Пока что он решил рассказывать Бузу то, что еще удерживала память: басни Эзопа и Лафонтена, хасидские истории. А как иначе воспитывать того, кто сам еще не умеет читать? Буз был восприимчивым и умным созданием, и Коун надеялся углубить его интеллект и, что называется, очеловечить его, преодолев "языковой барьер" между *homo sapiens* и приматом, владеющим лишь ограниченным набором знаков и звуков для коммуникации.

К тому же, рассуждал Коун, если я говорю, а он только слушает и я не могу в точности определить, как много и насколько правильно он понимает, то это дает мне ощущение только моего собственного присутствия. Но, возможно, в один прекрасный день у него появится потребность ответить, и тогда к моему присутствию прибавится и его собственное.

И он сам принялся сочинять истории, хоть и не считал себя способным сочинителем. "Потому я и сделался копателем костей, что мне всегда не доставало воображения, — заметил Коун, — хотя по части пересказа того, что я знаю или сам пережил, я достаточно силен. Поэтому, вместо того, чтобы выдумывать то, чего никогда не было, — хотя, надо сказать, то, что сочинили многие другие, вполне могло произойти на самом деле — я просто буду пересказывать увиденное и пережитое. Назовем это моей семейной историей".

— Я второй сын раввина, который прежде был еще и кантором. А сам он

был первенцем раввина (*зихроно ли-враха*), моего дедушки. Дедушку убили во время погрома. Вряд ли доктор Бюндер рассказывал тебе о погромах, так что об этом ты, наверняка, ничего не знаешь.

Буз не среагировал.

— О Катастрофе ты, конечно, тоже ничего не слышал. Если хочешь знать, Катастрофа была Великим Всеобщим Погромом и его неизбежным следствием было Великое Опустошение. В следующий раз я расскажу тебе об этом.

Буз погладил себя двумя руками по груди, показывая, что он полон ожидания интересного.

Коун рассказал, как его отец, выполняя завет дедушки, учился и стал раввином, отдав, таким образом, долг уважения породившему его.

— Следуя тому же принципу, и я избрал путь отца и деда, но сложный комплекс причин увел меня с этой дороги на другую. Я предпочитаю не касаться, по крайней мере сейчас, личных склонностей и событий, которые повлияли на мое решение. Дело не в том, что я уклонялся от выполнения обязательств, но — как бы получше выразиться? — всему свое время и место.

Истины ради Коун все же признал, что одной из существенных побудительных причин была потеря интереса к религии, при том что интерес к Самому Богу у него всегда сохранялся.

— Иначе говоря, сохранялось приятие Первопричин, но отбрасывались их теологические последствия. Поскольку меня продолжало волновать таинство Творения, не стоит удивляться тому, что, в конечном итоге, я обратился к науке. В заключение сказанного замечу также, что, как мне стало известно, именно поэтому мы с тобой сейчас сидим рядом и слушаем друг друга, меж тем как другие ушли в небытие.

Шимпанзе зевнул, а Коун спросил:

— А ты? Что ты можешь рассказать о себе? Где и когда ты встретился с доктором Бюндером? Как он повлиял на твое формирование? Родился ли ты в Америке или, скажем, в Танзании или Заире? Как ты попал на океанографическое судно? Как случилось, что во время Бедствия вся команда и ученые покинули корабль, а ты остался? Я угадываю в тебе прекрасную способность к общению и надеюсь, что, рано или поздно это общение станет возможным и ты мне все расскажешь.

Буз ткнул пальцем в пуговицу на его животе.

— То есть? Ты спрашиваешь или отвечаешь?

Коун разволновался и хотел получить ответ сейчас.

Буз гримасничал, явно пытаясь что-то сказать. Но получилось только нечленораздельное мычание.

Он заматсялся, запыгал, стал издавать различные звуки и готов был разрыдаться.

Чтобы его успокоить, Коун завел патефон и поставил пластинку с *Кол нидрей* в исполнении своего отца. Не теряя уважения к Творцу, певец из самой глубины своей души исторгал великую жалобу, полную страстной любви к Богу, печали о мире и сострадания к человечеству. Сочный баритон

потряс своды пещеры. Кантора давно уже не было в живых, а его голос сохранял свежесть молодости. Хорошо, что отец не дожил до Дня Опустошения. Уж эту-то трагедию он Ему наверняка бы не простил! Даже после Катастрофы было немало сомнений и недоразумений.

”Шма, Исроэль, адонай злокейну, адонай эхад... — пел кантор, вознося славу Господу. — Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Бог — един...”

На лице шимпанзе было написано крайнее удивление. Он держал лампу над головой с таким видом, как будто перед ним неожиданно возникла кобра и он хотел ясно видеть грозящую опасность. Или тайну. А может быть, он просто пытался разглядеть, откуда несется голос кантора? Коун взял лампу и подвел Буза к патефону. Он объяснил, что голос записан на пластинке, но Буз, даже не взглянув на то, что ему показывали, бросился к выходу и там усталился в темноту. Волосы шевелились у него на голове, зубы сверкали, а в горле клокотало.

Коун поднял лампу повыше.

— Что ты там видишь?

Сколько Келвин Коун не всматривался в темноту весенней ночи, ему ничего не удавалось разглядеть. У него появилось странное чувство: не то ему предстоит бороться с динозавром, не то в пещеру вот-вот влетит дракон во всем боевом оперении. Но ничего подобного не происходило. Ему показалось, однако, что где-то там, в глубине ночи, раздался крик и чья-то тень прошмыгнула между хижинкой и лесом.

Коун тихонько вышел из пещеры. Звезд не было видно, но из-за леса вставала изумрудная луна. Он постоял некоторое время, прислушиваясь к ночи. Когда он вернулся, он увидел, что Буз жадно вдыхает раздувающимися ноздрями какие-то запахи, проникающие в пещеру.

Утром Коун отправился работать на рисовое поле, а Буз умчался в лес. Коун увидел, как он прыгал с дерева на дерево, играя в ветвях акаций и эвкалиптов. Он сломал ветку, потащил ее наверх, а потом с визгом, волоча ветку за собой, устремился вниз, к подножию холма. Начался дождь, и Буз, как индейский вождь, запрыгал под его струями.

Дождь лил до самого утра, а когда перестал, шимпанзе вышел из пещеры и принялся швырять камни в листву рисофоры — дерева, которое он невзлюбил с самого начала. Так он долго бросал камни, будто сражаясь со злыми духами, засевшими в дереве, прежде чем наконец решился войти в лес.

Его выкрики в густой листве слышались еще довольно долго. Когда после полудня он вернулся домой, лицо его было бледным. Он закутался в пончо, взобрался на стул и стал что-то бормотать. Коун присел рядом на корточки и попытался его успокоить. Вечером Буз влез на акацию и попробовал соорудить себе подобие гнезда. Потом раздумал и пришел спать в пещеру.

Когда взошла луна, Буз вылез из клетки. Не то он ходил во сне, не то его испугал какой-то ночной кошмар.

— Тебе приснился страшный сон?

Буз не ответил.

Следующим вечером они поужинали бататами и черными бобами и выпили по чашке кокосового сока. Коун завел патефон и поставил пластинку с записью молитвы. Буз начал подпевать странным фальцетом, и это так растрогало Коуна, что он заплясал под пение своего отца и запел на идише: "Их танц фар майн татэ" ("Я танцую для моего отца").

Буз, переминаясь с ноги на ногу, тоже попытался сделать несколько па, но внезапно остановился, и его лицо застыло в напряжении. Что его смущало? Почему он нервничал? Половое созревание? Неудовлетворенная сексуальная потребность? Не исключено.

Но если поблизости появилась самка шимпанзе, то поведение Буза никак не соответствовало описанию поведения обезьяны при подобных обстоятельствах. Стоя у входа в пещеру, он швырял в темноту изделия коуновского ремесла: чашки, ложки, тарелки. Коун на всякий случай отложил подальше несколько фаянсовых посудин, взятых с корабля.

Буз напряженно смотрел в темноту и при этом свистел и кричал, затем, ворча, отступил в глубь пещеры. Может быть, он увидел или услышал кого-нибудь, с кем ему не хотелось встретиться?

Коуну показалось, что он расслышал гортанный крик, донесшийся из глубины леса. Точно кто-то пытался и не мог запеть, поддельваясь под увлеченное пение кантора. Внезапно патефон смолк. Снаружи тоже не доносилось ни звука. Коун медленно отступил назад, продолжая вглядываться в еле видные в темноте очертания деревьев.

Тени неторопливо покачивались на ветру, и возбужденное внезапным страхом воображение Коуна рисовало ему очертания огромной человеческой фигуры в черном костюме футак в двадцати от хижины.

Дрожащая рука едва не уронила лампу.

— Кто ты?

Ему не показалось... Но то был не человек, а горилла. Животное медленно поднялось и заковыляло прочь. Когда горилла обернулась и в свете керосиновой лампы сверкнули ее маленькие глубоко посаженные глазки, Коун вздрогнул, у него появилось желание бежать подальше.

Буз прокричал горилле вслед. Коун поставил лампу, потом непроизвольно схватился за черенок лопаты, но тут же отдернул руку, как от горячего, и взял с полки апельсин.

Горилла направилась ко входу в пещеру. Буз отчаянно завизжал. Коун шепнул ему, чтобы сидел тихо. Горьковатый травяной запах наполнил пещеру.

Буз метнулся к полке, схватил кокосовый орех и швырнул в гориллу. Орех звонко от ricoшетирил от черепа обезьяны, но она продолжала, не моргая, прямо смотреть на перепуганных обитателей пещеры.

— Сиди тихо, и горилла тебя не тронет. Но если ты сейчас же не прекратишь истерику, она сделает из тебя лепешку, — глухо проговорил Коун.

Буз громко выразил протест против такой тактики, но горилла, не обращая на него никакого внимания, пошла прочь, всем своим видом показывая, что ни до пещеры, ни до них ей нет никакого дела.

Коун подумал, что Божественный компьютер мог наделать немало ошибок и ему еще, возможно, предстоит встретиться с другими человекообразными различных пород.

* * *

Утром они опять увидели гориллу, сидящей под тенистой пальмой футак в пятидесяти от пещеры.

“Она ведет себя весьма миролюбиво”, — подумал Коун и счел за лучшее сделать вид, что не замечает ее присутствия.

Это был лохматый, довольно некрасивый зверь с растрепанной иссиня-черной шевелюрой, с коричневыми лохмами по краям. Его ноздри поблескивали, как полированное черное дерево, а кроваво-красная пасть, когда он зевал, казалось, готова была проглотить холм вместе с пещерой и Коуном. Шерсть на плечах гориллы заметно просвечивала сединой. Она внушала страх, но, если присмотреться, была совсем не страшной. Она была огромным и, соответственно, сильным животным, но ее внимание к религиозной музыке и пению должно было свидетельствовать о мягком характере. Маленькие глазки были грустными и говорили о невеселом жизненном опыте. Скорее всего — след перенесенных ужасов Потопа. Бузу на этот счет еще здорово повезло. Коун посмотрел на зверя с сочувственным уважением.

Все утро горилла присидела на том же месте. Неужели она дожидалась возобновления концерта? Безусловно, одной ей было очень тоскливо. Коун попросил Буза не приставать к ней больше. В их маленьком и таком ненадежном мирке совсем неплохо, если появляется большой, сильный друг. Буз внимательно выслушал Коуна и кивнул в знак согласия, но стоило ему увидеть, что горилла сидит под его любимой акацией, как он тут же взорвался и швырнул в ее сторону сковороду, которая с грохотом покатилась по склону. Он произнес длинную, очевидно, одному ему понятную речь, в конце которой пролаял, как бабуин. Горилла не двинулась с места и продолжала печально смотреть в их сторону.

Чтобы проверить свою мысль, подумал Коун, стоило бы завести патефон и поставить ту же пластинку, что вчера вечером. Вместо этого он направился к акации и сел на траву футак в десяти от гориллы. Его сердце отчаянно билось. Одно неверное движение, даже взгляд, который может быть ложно истолкован, — и прощай, жизнь.

Внутренний голос говорил ему: я знаю этого парня, я с ним уже где-то встречался. Я помню его запах.

— Это ты кормил меня, когда я был болен? — сказал он как можно ласковее. — Если так, то огромное тебе спасибо.

Зверь заморгал глазами. Должно быть, не понимал и так смотрел ему в глаза, что никак невозможно было догадаться, он или не он помог тогда Коуну. У него была своя тайна.

Коун поднялся и осторожно подошел. Богатырь — фунтов пятьсот, не меньше. Длинные, могучие... руки. Опушенный взгляд.

Горилла тоже встала и несмело протянула ему руку. Но Буз, который внимательно наблюдал за сценой, подбежал и стал между ними. Рукопожатие не состоялось.

Коун безуспешно пытался удержать Буза, который что-то быстро и, как видно, насмешливо говорил. При этом шимпанзе нападал, а горилла осторожно отодвигала его от себя длинной рукой. Наконец она что-то проворчала в сторону Буза и на четвереньках побежала к лесу, а потом влезла на ветку акации и спокойно посмотрела на них обоих.

”Ведет себя вполне по-джентельменски!” — подумал Коун.

— Послушай, — обратился он к горилле. — Если ты не обиделся, то я тебе кое-что скажу. Я бы хотел называть тебя Джорджем. Дело в том, что так звали моего тестя, отца моей покойной жены. Он был дантистом очень высокой квалификации, и у него был изумительный характер. Часто он совершенно бесплатно лечил людям зубы.

Он объяснил горилле, что их только трое на всем белом свете и что нужно держаться вместе и помогать друг другу.

Джордж всем своим видом выразил что-то похожее на согласие, но Буз захлопал ладонями по голове и насмешливо затараторил.

* * *

Однажды, проснувшись рано утром, Коун взял ножницы и, просунув их между планками клетки, перерезал на спящем Бузе шейную повязку.

Он ожидал увидеть открытую рану, но там был только шрам, и возле адамова яблока торчали две металлические проволоочки.

Буз проснулся, обнаружил, что его любимая повязка у Коуна в руках, и ужасно перепугался.

— Фу, какую грязь ты носишь на шее. Я это выстираю, — сказал Коун и бросил повязку в грязное белье.

Перед завтраком он предложил шимпанзе поиграть в щекотки — одна из любимых забав Буза. Играя, он незаметно соединил у него под горлом концы проволоочек. У Буза внутри заклокотало, шимпанзе нервно засмеялся и вопросительно посмотрел на Коуна. Потом он прокашлялся, в горле у него щелкнули какие-то металлические детали, от чего он испуганно вздрогнул, и вдруг заговорил:

— Фонтстически! Я слошу, как я говорю — буль-буль.

От радости он спрыгнул со стула, захлопал в ладоши, гордо выпятил грудь и заколотил по ней руками, потом с громким воплем вылетел из

пещеры, мигом взобрался на пальму, отломал ветку, сбросил ее на землю, прыгнул сам и, волоча ветку за собой, с разбойным гиком помчался вверх по склону.

— Фонтостически! Я моку коворить! — буль-буль.

Коун тоже раскраснелся от волнения, не веря внезапной удаче и тому, что после стольких месяцев слышит человекоподобную речь.

— Это действительно чудо, но объясни, что означает это твое "буль-буль"?

— Это говорю не я. Это проволошки. В конце каштой фразы они делают "буль-буль". У меня ишкусштвенные холосовые свяшки — буль-буль.

Голос был металлический, как будто говорил глухой, который никогда прежде не слышал самого себя. Язык ему больше мешал, чем помогал. Сама его речь несколько напоминала манеру доктора Бюндера. Правда, он ужасно путал некоторые звуки, но именно путал, а не затруднялся в произношении. Коун загорелся большими ожиданиями.

— Откуда ты знаешь, что такое фраза?

— Я понимаю и говорю слова, которые слышал раньше — буль-буль. Я помню то, что ты мне говорил — буль-буль. И то, чему меня научил доктор Бюндер — буль-буль. Например, я могу скасать молитву — буль-буль.

— Как же он тебя научил?

— На языке знаков — буль-буль. Но в моей голове остались и слова — буль-буль.

— Он сам сделал тебе операцию?

— Мощно пыло и пес операсии — буль-буль. Если пы он немношко потоштал — буль-буль. Я ужше нашинал немношко ховорить — буль-буль. Отними хупами — буль-буль. Но он нишего не понимал и стелал операсию — буль-буль.

— Но ведь у тебя не было такого горла, как у людей.

— Жифотные тоше хофорят мешту сопой — буль-буль.

Он не то чтобы путал звуки, а, скорее всего, копировал немецкий акцент Бюндера.

— Я думаю, ты понемношку тоже научишься понимать нас — буль-буль. Если ты можешь общаться с атним шивотным, пашиму бы тебе не научиться расхаваривать с друхими? — буль-буль.

Коун сказал, что это вполне логично.

— Поверить в свою способность непросто, но я постараюсь. Я хочу верить. Судя по тому, что тебе это удалось... Твой опыт содержит в себе элементы эволюционного развития. Это реальность. В это можно верить. Мне представляется великолепная возможность проникнуть в природу коммуникации и развития речи у человека. Я надеюсь таким образом сделать неоценимый вклад в семантику, и очень жаль, что кроме тебя и, может быть, еще Джорджа, никто этого не оценит.

— А Иисус из Насарета? — заметил Буз.

— Может быть, Он, — согласился Коун.

Буз возразил, что не "может быть", а точно.

Коун был потрясен внезапно увиденным чудом. Этот ненормальный Бюндер оказался великим ученым, а Буз — благослови его Бог! — гениальным шимпанзе.

”Теперь до конца жизни я обеспечен умным приятелем и собеседником”, — подумал Коун и носовым платочком смахнул со щеки слезу.

Шимпанзе, глядя на то, как Коун это делает, тоже попытался выдавить у себя слезу, но у него ничего не вышло.

Коун посоветовал ему не переживать и пообещал научить его и этому и многому другому.

— Ты хочешь, чтобы я называл тебя господином? — буль-буль.

— Называй меня сокращенным именем Кел, а если хочешь — папой.

— Я буду называть тебя — пап. Буль-буль.

Коун плоскогубцами покрепче закрутил концы проволочек и ”буль-буль” прекратилось, хотя шимпанзе заметил, что это ничуть не мешало ему высказывать свои мысли. Постепенно он почти избавился от бюндеровского акцента и научился произносить правильно большую часть звуков.

Коун сказал, что он отличный парень, они обнялись и расцеловались.

* * *

Они начали систематически заниматься языком, причем Коун читал Бузу избранные места из ”Оксфордского словаря”. Однажды, правда, шимпанзе вызвался для ускорения обучения и быстрейшего расширения лексического запаса ежедневно съедать несколько страниц, но Коун решительно заявил, что это в корне противоречило бы всем методикам.

Успехи Буза были потрясающими. Если он не знал значения слова, он обычно пытался догадаться, а если не удавалось, спрашивал. Однажды он очень глубокомысленно сделал такое заключение: ”То, что мы не говорим, тоже кое-что значит”. Коун сказал, что согласен.

Как-то Буз спросил:

— А кто выдумал язык?

— Человек. Благодаря языку он возвысился над животным.

— Если он так возвысился, то где он сейчас?

— Он здесь, перед тобой, — сказал Коун.

— Я хотел сказать: где род человеческий?

Коун подумал: ”Не исключено, что язык сотворен Богом”.

— Со слова начался мир. Никто и не знал бы о монотеистическом Боге, если бы Он об этом не заявил.

Буз высказал предположение, что Иисус мог изобрести язык.

— Ну, что ты! Иисус красиво говорил, но слово существовало до него.

— Его проповедь была обращена к шимпанзе.

Коун похвалил Буза за удачную метафору.

— То есть?

— Ты христиан назвал обезьянами. В этом что-то есть.

— Что такое метафора?

— Своего рода символ. Неожиданная аналогия. Например, в одном из своих стихотворений Уолт Уитмен говорит, что трава — это носовой платок Господа Бога. Неправда, но в этом что-то есть.

Буз сказал, что хотел бы, чтобы ему дали имя Уолт.

— Тебя зовут Буз.

— А я хочу быть Уолтом. Почему он назвал траву носовым платком?

— Это происходит от самой идеи Сотворения Земли. Он ходит по траве так же легко и просто, как человек, достающий из кармана носовой платок. Пучком травы Он вытирает пот со лба. Неважно, как ты себе это представляешь. Важно, что Он постоянно присутствует в нашей жизни. Другая концепция Бога: Бог — Отец.

— А как насчет концепции: Бог — Сын?

— Это тоже своего рода метафора.

Буз сказал, что эта метафора ему больше всего по вкусу.

— За тобой право выбора. Благодаря языку человек способен приобретать истинную утонченность, он становится чувствительным, принципиальным, цивилизованным, одним словом, — человеческим существом. Люди раскрываются друг перед другом, понимают, описывают виденное, делятся опытом, надеждами и стремлениями. Вот чем для людей является язык. Точнее... являлся.

Коун грустно усмехнулся.

— А шимпанзе?

Потом Буз спросил:

— Если я хорошо изучу твой язык, я стану человеком?

— Может быть, не сразу и не ты сам. Может быть, на это уйдет немало времени.

Он объяснил, что они с Бузом произошли от единого, но очень удаленного во времени предка.

— И если это опять произойдет, то есть надежда, что следующий человеческий род *гомо сапиенс* будет более совершенным.

— Что значит быть человеческим?

— Человечность означает ответственность за жизнь и цивилизацию и сознание необходимости усилий для их защиты.

Буз сказал, что предпочитает остаться обезьяной.

* * *

Откуда взялись рассказы?

— От других рассказов.

— А те — откуда?

— Кто-то придумал метафору, а потом из нее получился рассказ. Люди начали рассказывать, чтобы жизнь не тонула в прошлом.

- А какой рассказ был самым первым?
- Рассказ о Боге, Который создал Самого Себя.
- Как Он это сделал?

— Он начал. Он Бог всех Начал. Он сказал Слово и начался мир. Если ты рассказываешь, ты можешь сообщить о том, что делает Бог. Давай еще раз перечитаем это место.

И он открыл страницу, на которой говорится о Сотворении мира, но Буз сказал, что этот рассказ ему уже надоел.

— В этой истории ничего не происходит. Почему ты не считаешь мне про Иисуса из Назарета. Его проповедь обращена к шимпанзе.

- На каком же языке Он проповедовал, обращаясь к шимпанзе?
- Не знаю, но мы слышали Его, и Его голос звучал в наших ушах.

Коун объяснил, что у него нет Нового завета, а есть только Ветхий.

- Расскажи так.

— Пожалуй. Но ты жалуешься, что я не рассказываю тебе о животных. Послушай, я расскажу тебе про старую змею, которая жила в раю, где Бог поселил Адама и Еву.

Но Буз сказал, что терпеть не может историй про змей.

- Они ползают, и их животы противно трутся о землю.

— Они ползают, потому что их Бог наказал. За то, что они — виновники несчастий, постигших людей. Раши, который был средневековым толкователем Талмуда, иначе говоря, человеком, рассказывающим истории об историях, сказал, что змей видел, как Адам и Ева совокуплялись среди цветов. Змей попросил Еву, чтобы она позволила ему проделать с нею то же самое, но она с негодованием отказалась. Тогда он решил отомстить людям. Я читал тебе историю о том, как змей соблазнял Еву яблоком. Она, конечно, могла бы отказаться от яблока, но его просьба вступить с ним в связь смутила ее.

- Что значит совокупляться?

- Я читал тебе кое-что об этом из книги доктора Бюндера.

- А когда у меня будет такое?

Коун сказал, что весьма сожалеет, но на этот вопрос ответить затрудняется.

— Ну, ладно, о змее ты слушать не хочешь. Тогда, может быть, почитать тебе про Каина и Авеля? В этом рассказе есть действие, в том числе невероятной силы удар по голове.

Буз сказал, что потерял интерес к насилию и кровопролитию. Он добавил, что предпочел бы Новый завет.

— В Новом завете полно рассказов о насилии и кровопролитии. Ты себе не представляешь, сколько красной краски извели художники на протяжении веков, изображая сцены из Нового завета.

- Конечно. Потому что они распяли Иисуса из Назарета.

Коун насторожился:

- Кто распял?

- Как кто? Римские солдаты.

Коун вздохнул с облегчением.

— Расскажи мне про отца, который перерезал горло своему сыну.

— Буз, ну как ты можешь! Сколько раз я говорил тебе, что Авраам не перерезал горло своему сыну. Тот, кто утверждает, что он это сделал, перекроил весь рассказ в соответствии с собственной испорченностью. Это не имеет никакого отношения к тому, какими были Исаак и Авраам.

— Ну, Расскажи мне об этом еще раз, — попросил Буз и взобрался к Коуну на колени.

* * *

И Коун начал:

— Это рассказ о Аврааме и его возлюбленном сыне Исааке. В Талмуде говорится, что дьявол приставал к Богу, чтобы Он испытал любовь Авраама к Нему, а Бог, чтобы проверить, действительно ли так велика любовь к Нему Авраама, повелел ему взять своего единственного сына, отвести его на гору Мория и принести в жертву. Авраам так любил Господа, что и глазом не моргнул. Исаак нес на себе вязанку хвороста, когда они поднимались на гору Мория. Авраам сложил хворост на алтаре, связал руки сына кожаным ремешком и поднял нож...

— У меня от твоей истории мурашки бегают по коже.

— Тогда почему ты всякий раз просишь, чтобы я тебе ее рассказывал?

— А может, мурашки от того, что я утром объелся фигами? Ну, ладно, рассказывай...

Коун продолжал:

— И в тот самый момент, когда Авраам уже готов был принести в жертву своего любимого сына, ангел воззвал к нему с небес: "Останови руку, Авраам! Не причиняй боли сыну твоему! Я вижу, что любишь ты Бога твоего". Это доказывает, что Бог в каждый отдельно взятый момент не знает всего, хотя можно также предположить, что до того Он уже знал и был уверен, что в сердце Авраама был страх перед Ним.

С другой стороны, возможен и такой вариант, что Бог устроил все это испытание просто для того, чтобы Сатана отвязался от Него и больше не приставал, а конечный результат Ему был в точности известен. Дьявол, я полагаю, тоже все заранее предвидел, потому что он тоже неглуп, но Авраам-то с Исааком не знали. Во всяком случае, их страдание ограничивается сильнейшим переживанием и не производит столь уже явно и болезненно трагического впечатления. Инцидент закончился благополучно, и они оба, отец и сын, в трудном испытании доказали любовь друг к другу.

Буз любил счастливые окончания.

— Бог есть любовь, — сказал он.

Коун был в этом не очень уверен, но предпочел не возражать.

— Итак, жизнь Исаака была спасена, — продолжал он. — Баран, запутавшийся рогами в ветках куста, был предложен в качестве жертвы для

всесожжения, и тем самым была подтверждена идея принесения в жертву животных вместо людей. Я рассказываю тебе о времени, когда возникла история об Аврааме и сыне его Исааке. Возможно, это было формой протеста против языческого обычая человеческих жертвоприношений. Иначе говоря, речь идет об очеловечении человеком самого себя.

— А убивать животных, по-твоему, человечно? — поинтересовался Буз.

Коун смутился, но ответить не успел: сильнейший раскат грома потряс пещеру, с потолка посыпались камни и песок. Он решил, что начинается землетрясение или еще что-то похуже, и весь скорчился, прикрыв своим телом дрожавшего от страха Буза. Бог ничего не сказал. Коун почувствовал, что обливается холодным потом и подумал, что стоит быть более осмотрительным при высказывании собственных суждений. Бог явно не был в восторге от того, что он тут наговорил.

— Что случилось? — спросил Буз, выбираясь из-под Коуна.

— Гром и молния.

— Это плохо?

— Зависит от Его настроения.

Коун поколебался, но все-таки вернулся к истории об Аврааме и Исааке.

— Так закончилось испытание, но если внимательно вчитаться в текст, то впечатление такое, что после чудесного спасения Исаака ангелом он с горы Мория все-таки не вернулся, так как в повествовании мы его больше не встречаем. Уходит со сцены. Рассказывается, что на гору они поднялись вдвоем, а спустился с горы один Авраам. Так куда же запропастился Исаак?

Буз растерянно ответил, что не имеет понятия.

Коун изложил точку зрения некоторых талмудистов, резонно полагавших, что ангел унес Исаака в райский сад, чтобы подлечить его там после раны, нанесенной ему отцом.

— А я что сказал? — воскликнул Буз. — А ты еще на меня рассердился.

Коун объяснил, что при правильном обращении с текстом выходит, что Авраам не перерезал горло своему сыну. В любом случае и независимо от действительных намерений Авраама, Бог такого не мог допустить.

Один философ — его звали Кьеркегор (в свое время я расскажу тебе о нем подробнее) — считал, что Авраам на самом деле собирался убить Исаака. Судя по всему, Фрейд — идеи которого я тоже изложу позднее — согласен с Кьеркегором.

— Все это я должен знать? — жалобно спросил Буз. Он спрыгнул с колен, сделал пробежку вдоль стен пещеры и вернулся на свое место.

Решившись стать учителем, Коун с увлечением пустился в объяснения.

— Если не все, то, по крайней мере, многое, что заслуживает внимания. Почему важно разобраться в том, убивал или не убивал Авраам своего сына? Потому, что бесконечные рассуждения и попытки доказать, что он его и вправду убил, свидетельствуют об определенных чертах человеческого характера, человеческом представлении о природе смерти, которое постоянно подталкивало людей к убийству соотечественников и чужестранцев, в

одиначку и массами, при серьезных и при самых ничтожных обстоятельствах. Впрочем, не станем входить в подробности этого дела. Замечу только, что за все свои пороки и прегрешения человек понес суровое наказание и, если хочешь знать мое личное мнение... — Коун опасливо посмотрел на потолок, но ничего не случилось, — то, я считаю, что наказание было чересчур жестоким. Суть проблемы, видишь ли, в том, — он перешел на шепот, — что Бог создал человека весьма и весьма несовершенным. Возможно, центральная идея как раз в том и состояла, чтобы НЕ делать человека полноценным, миролюбивым, добрым, чтобы он не потерял потребности в самоусовершенствовании, то есть чтобы он не переставал быть человеком. В Его планы входило, чтобы человек примирился со злом. В противном случае идея просто не работала бы. Но самое ужасное состояло в том, что зло оказалось таким огромным и неуправляемым мешком змей, что человеку было с ним не справиться. Мы вели себя как животные и сделали все, чтобы наступил День Опустошения.

Буз даже подпрыгнул.

— Я животное и всегда был вегетарианцем.

Коун похвалил его за это и вернулся к вопросу о том, куда делся Исаак.

— Каким образом он спустился с горы? А если нет, то куда же он все-таки делся?

— А может, его украл кто-нибудь? Такое бывает!

— Возможно. Но, независимо от того, был ли он убит или украден, некоторые комментаторы считают, что он попал в рай. А там, они говорят, Исаак воскрес. Этот финт вне всякого сомнения свидетельствует о непреходящей страсти человека к оживлению мертвых. Если принять во внимание саму природу смерти, скажи пожалуйста, разве можно винить нас в том, что мы изобрели воскрешение из мертвых.

Продолжая развивать эту мысль, Коун сказал, что, по его мнению, воля человека к жизни — вполне резонная причина, по которой Господь должен был сохранить человечество. Ну, скажем, в подтверждение целесообразности своей первоначальной инвестиции.

— Иисус из Назарета воскрес, — сказал Буз.

Коун заметил, что идея этого воскрешения, возможно, восходит к идее воскрешения Исаака.

— Авторы Нового завета постоянно отсылают христиан к прошлому древних евреев.

— Христос был первым, и его проповедь обращена к шимпанзе.

Коун сказал, что неважно, кто был первым, евреи или христиане, поскольку ни те, ни другие не смогли предотвратить Опустошения.

— Этим, собственно, история и заканчивается, но некоторые талмудисты еще утверждают, что три года спустя Исаак вернулся из рая и немедленно приступил к поискам невесты. По мнению талмудистов, во время истории с жертвоприношением Исааку было тридцать семь лет, и если принять эту гипотезу всерьез, то она не может не вызвать удивления.

Буз помолчал немного, а потом спросил:

— Скажи, а когда я женюсь?

Коун разволновался и ответил, что не представляет, как это можно будет устроить, так как на острове невозможно найти невесту.

— А на тебе я не могу жениться?

Коун был искренне тронут, но сказал, что из этого ничего не получится.

— Мы и так вроде как семья. Вместе живем и делим с тобой все радости и невзгоды.

Буз расстроился, а Коун выразил надежду, что история об Аврааме и Исааке ему понравилась. Буз ответил, что история довольно примитивная.

* * *

Во время сезона дождей им подолгу приходилось сидеть в пещере и скучать от безделья. Коун продолжал рассказывать о своем отце — да будет земля ему пухом! Когда старику исполнилось семьдесят пять, он подстриг бороду, чтобы увидеть свое лицо. Буз, услышав об этом, тут же взял ножницы и попытался проделать то же самое со своей бородой, но Коун не позволил.

В такие тусклые дождливые дни Коун частенько прикручивал фитиль керосиновой лампы и заводил патефон. Джордж, не обращая внимания на ливень, сидел под акацией. С его шерсти на землю стекали холодные ручьи, но он не шевелился и слушал, опустив голову на грудь, а из пещеры доносилось вибрирующее блеяние старого кантора.

Буз ревниво наблюдал за ним, подглядывая сквозь побеги плюща, прикрывавшие вход, а стоило Джорджу приблизиться к пещере, как в него немедленно летели камни, ложки — все, что попадалось под руку. Несмотря на неудовольствие Коуна, он бросал чашки и образчики коуновской деревянной скульптуры.

Однажды Коун встретился с Джорджем в лесу и принялся извиняться за нетактичное поведение Буза. Он высказал предположение, что со временем Буз привыкнет к Джорджу. Дело в том, что страх Буза объясняется тем, что доктор Бюндер отнял его у матери для проведения своего научного эксперимента, когда тот был еще совсем младенцем. Джордж почесал подбородок, отвернулся и ушел в чащу. Это был единственный случай прямого контакта между ними, но Коун надежды не потерял.

Присутствие Джорджа не всегда было приятным. Он питался травами, корнями, молодыми ростками бамбука, а на десерт любил побаловаться фруктами с коуновской плантации, причем, будучи гурманом, срывал и выбрасывал массу незрелых плодов, прежде чем добирался до того, который был ему по вкусу. Коун не мог позволить себе такие убытки.

Но ему жаль было гориллу. Как никак, горилла — полигамное животное, а бедняге Джорджу даже в гости сходить не к кому. Он одиноко бродил по

лесу, и часто можно было слышать, как он пробирается сквозь заросли. Встречаясь с ним на поляне, Коун все время порывался пригласить его на огонек и угостить чем-нибудь вкусным из того, что они с Бузом научились готовить. Он пробовал объясняться знаками, показывая, что непрочь поделиться порцией фруктового салата и чашкой доброго бананового пива, но Джордж только грустно на него смотрел и издавал печальный стон, который, возможно, означал, что он и сам весьма сожалеет, но, знаете ли...

Коун попытался идти за ним следом, но Джордж недовольно вскрикнул, и Коун немедленно оставил это намерение. Однажды он все же решил настоять на своем. Тогда Джордж обернулся, выпрямился и пошел ему навстречу. Коун вспомнил, что рекомендовал делать в таких случаях доктор Бюндер в своей книге об обезьянах, и опустил глаза. Джордж подошел вплотную, шумно обнюхал его и, скорее всего, не удовлетворившись результатами обследования, спокойно удалился.

Но всякий раз, когда пел кантор, Джордж неизменно появлялся и усаживался под акацией. Шимпанзе, которому вначале пение как будто понравилось, в последнее время стал испытывать отвращение к музыке и затыкал уши, прося прекратить. А Джордж, напротив, все больше воспламенялся. Слыша кадиш, он вставал во весь рост и начинал колотить кулаками по груди, как по барабану. Буз не выдерживал, забивался в угол и прятал голову в грязное белье.

Джордж любил также сидеть поблизости, когда Коун рассказывал что-нибудь, и особенно волновался, если речь шла о старом ребен. Его до слез растрогала история про то, как раввин с трудом взбирался по лестнице, чтобы принести вязанку дров старой, больной и одинокой женщине.

Коун слышал прерывистое дыхание гориллы, повествуя о том, как евреи поспешно проходили между двух стен расступившихся вод, а безжалостные египтяне гнались за ними на колесницах. Когда волны сомкнулись над головами врагов, Джордж вскрикнул от ужаса. Коун чувствовал, что, хотя горилла и не прошла этапа объяснения знаками, она вот-вот заговорит. Трудно было заранее предвидеть содержание их первого разговора, но интересно было бы выяснить, каким образом ему удалось спастись во время Великого Опустошения. Являлся ли ему при этом Бог, а если да, то каким образом они объяснялись?

Мало-помалу утихли ветры, прекратились дожди, высохла земля и на ней всеми цветами радуги загорелись яркие цветы. Капли, нежно позванивая, скатывались по листьям.

Буз подрос, стал высоким и сильным. Его уже тяжело было держать на коленях, и Коун принялся за сооружение второй качалки. Он в очень спокойном тоне разговаривал с парнем о горилле и просил Буза быть с Джорджем поласковее.

- Посмотри: ведь он добрый и никому не причиняет зла.
- По-моему, он подлый. И мне не нравится его имя.
- А как бы ты его назвал?

— Адольф.

— Через мой труп! Я дал ему имя одного дантиста, который был очень славным человеком. Кроме того, так звали президента Вашингтона.

Он рассказал Бузу историю с вишневым деревом.

— Учти, чем больше ты будешь швырять в него палки и камни, тем больше будешь его бояться. Попробуй полюбить его. Хоть немного.

— Не понимаю, как можно любить эту жирную гориллу. Ты сам сказал мне однажды, что до Потопа из этого ничего не получилось. Почему ты думаешь, что получится теперь?

— Времена меняются, — попытался объяснить ему Коун. — То, что не удалось прежде, может, если мы постараемся, получиться теперь.

— Я -то понимаю, но понимает ли Джордж? Он же дурак.

Кто-то поблизости кашлянул. Джордж сидел у входа в пещеру, прислонившись к стене. Увидев, что его обнаружили, он смутился и быстро заковылял прочь.

Буз вскочил и заорал, что убьет Джорджа.

— Толстая вонючая свинья! Дурак и свинья!

— Как тебе не стыдно? Сколько раз я рассказывал о Великом Опустошении и его причинах! Ты же знаешь, что на всем белом свете, кроме нас и Джорджа, никого не осталось. Если мы хотим еще пожить, мы должны быть добры друг к другу.

Буз обиделся, взобрался на верхнюю полку, подальше от Коуна, а потом вышел из пещеры и остаток дня провел в гамаке.

Все следующее утро, когда Коун работал на рисовом поле, в его голове неотвязно вертелась одна из мелодий, записанных на пластинку. Пластинок было десять. Когда он вернулся в пещеру и хотел поставить, пластинки на месте не оказалось. Картонная коробка стояла на прежнем месте, отцовских пластинок в ней было только девять.

Неужели Буз сделал это в отместку за что-то? Коун вышел из пещеры и оглянулся по сторонам. Он увидел Джорджа на ветке эвкалипта. В его руке была половина пластинки. Вторую половину он тщательно пережевывал и выплевывал кусочки на траву. Маленькие черные крошки пластмассы из его пасти разлетались, как осы, и, падая, исчезали среди травинок.

Коун застонал от боли и отчаяния.

— Проклятый дурак! Если ты еще раз посмеешь без разрешения войти в пещеру, я тебя пристрелю.

Джордж соскочил на землю и, пыхтя как паровоз, тяжело затрусил к лесу.

* * *

Весной они приступили к осмотру дальней оконечности острова. Добравшись туда морем, они крепко привязали плот к низкорослой прибрежной пальме. Поблизости не видно было ни одного живого существа, но... кто знает?

Пару недель тому назад Коун перенес жесточайшую простуду, он все еще хрипел и поэтому носил шерстяное пончо и шапку из водоотталкивающего меха. На плече он держал винчестер, который перевез вместе со множеством других вещей с "Ребекки", а теперь захватил зачем-то с собой. Может, просто потому, что запах металла и смазки был из прежней жизни. Большое ружье — не хотелось на время дальней прогулки оставлять его дома. Глупый атавистический страх. Странно, что даже Великое Опустошение не вытравило его из сознания.

На Бузе была великолепная широкополая шляпа из рисовой соломы, достойная головы венецианского гондольера. Больше никакой одежды на нем не было. Он пробовал носить коуновские свитера, но они были ему не по размеру. Подражая Коуну, он, как винчестер, по-военному нес весло.

Они прошли мили две и остановились возле плоской глыбы песчаника. Вдруг у Коуна от неожиданности перехватило дыхание: он чуть не наступил на жидковатую темную кляксу на земле.

Буз размахнулся веслом, но Коун удержал его.

— Что ты делаешь? Ты забрызгаешь себя и меня. Это оставил какой-то зверь.

— Что это?

— Экскремент животного.

— Говно?

— Примерно, хотя это и не научный термин. Впрочем, на этом острове все слова дозволены.

— Это горилла.

Коун не был уверен, что это горилла.

— Экскременты гориллы суше, волокнистее, и они трехслойные. А эти жидкие и без признаков волокнистости.

— Я а говорю, что это горилла. И по запаху — тоже.

— С какой стати Джордж забрался бы в такую даль?

— Он шпионит за нами.

— Чего вдруг?

— Потому что он шпион, а что еще делать шпионам? Он крадется за нами следом и слушает, о чем мы говорим.

— Кто бы это ни был, — сказал Коун, поеживаясь, — довольно об этом и давай вернемся домой.

— А что если это женщина?

Об этом Коун как-то не подумал.

Когда они подошли к берегу, они к своему удивлению и ужасу не обнаружили плота. Вдали на волнах покачивалось оранжевое пятнышко. Буз тут же пожалел, что оставил на плоту кулек сушеных фиг.

— Это была наша единственная надежда когда-нибудь покинуть остров, — смущенно пробормотал Коун. — Возможно, поблизости есть еще острова, скажем, обломки бывшего африканского континента. Инструментов у нас маловато и на сооружение мало-мальски пригодного плота уйдут месяцы.

Как это могло случиться, не понимаю? Я велел тебе крепко привязать плот к пальме.

Буз признался, что не умеет делать крепких морских узлов.

— Мои пальцы не умеют завязывать узлов.

— Так почему же ты не сказал мне, что не умеешь?

— Ты бы стал бранить меня.

— Так уж тебе достается от меня!

— Я слышал, какими словами ты ругал гориллу.

— Причем тут горилла?

Но он не убедил Буза.

Они опять взяли на плечо: Коун винчестер, а Буз весло, и отправились домой.

Время от времени Коун останавливался, припадал на одно колено и тренировался в стрельбе. Буз немедленно прятался в кусты.

* * *

Они вернулись в пещеру, когда наступил уже вечер. Коун уселся в свою качалку, а Буз немедленно взобрался к нему на колени и потребовал очередной рассказ.

Коун заметил, что из всех историй самая интересная, скорее всего, та, которую им предстоит пережить самим.

Буз ответил, что эта история его мало интересует.

Коун, просто так, из желания поговорить, сказал, что один философ, имя которого Ортега-и-Гассет, видел отличие человека от шимпанзе в том, что шимпанзе каждое утро просыпается с таким чувством, как будто никаких шимпанзе до него никогда не существовало.

Бузу Ортега не понравился.

— Я часто думаю о своей матери и вспоминаю доктора Бюндера.

— Бюндер не был обезьяной.

— Возможно, он раньше был обезьяной.

Коун спросил, как случилось, что Буз уцелел во время Великого Опустошения.

— Я спрятался в уборной.

— А почему Бюндер не взял тебя с собой?

Буз ответил не сразу.

— Он шепнул мне на ухо, что не хочет, чтобы я утонул в океане.

— И поэтому он оставил тебя одного на корабле, а сам сел в спасательную шлюпку?

Буз напомнил Коуну, что в конечном итоге выжил он, а не доктор Бюндер.

— И вообще, я благодарен ему за все, что он для меня сделал. Поэтому я хотел бы переименовать наш остров в остров доктора Уолтера Бюндера.

Коун идею не одобрил. Он предложил назвать его Островом Спасенных.

— Потому что наша главная цель — непременно выжить. Это одновременно протест против судьбы, уготованной нам Богом, и способ уподобиться ему.

— А зачем?

— Отец учил меня, что, борясь за выживание, мы делим с Богом Его труды по достижению Его Божественной цели.

— Я вижу единственный смысл жизни в том, чтобы получить как можно больше удовольствий, — сказал Буз, рассеянно теребя свой пенис.

Коун убрал его руку с органа.

— Оставь его в покое, пока не настанет подходящее время, чтобы воспользоваться им.

Буз ошетинился.

— Вместо того чтобы крутить мне руку, ты бы лучше рассказал мне о сексе.

Коун извинился за то, что сделал ему больно.

— Секс имеет прямое отношение к выживанию, не говоря уже об одном из величайших наслаждений, данных нам при Сотворении. Для того, чтобы секс был возможен, нужен представитель противоположного пола. Представители одного пола не могут вступать в сексуальные отношения. Это, разумеется, ограничивает возможности секса.

С английского. Перевел Ицхак МОШКОВИЧ.

(Окончание в следующем номере)

ПРИМЕЧАНИЯ

Бар-мицва ('сын заповеди') — в тринадцать лет еврейский юноша отмечает свое совершеннолетие и с этого дня обязан выполнять все религиозные предписания.

Барух а-шем — слава Богу.

Ешива — еврейское религиозное училище.

Зихроно ли-враха — благословенна его память.

Йом-а-кипурим — Судный день.

Кадиш — заупокойная молитва.

Кол нидрей ('Все обеты') — молитва, с которой начинается богослужение в Судный день.

Мидраш — аллегорическое толкование Торы.

Миньян — десять взрослых мужчин, без которых невозможна общественная молитва.

Михаил ГЕНДЕЛЕВ

Месяц Аб

1

Со стен
отличным был вид всегда
как
— туман им пыль —
из долин земли
медленные
камней стада
поднимались в Иерусалим.

Посмотреть
так смерть
несомненно сон
но тот
что снится себе сам
так я и записал
но прошел песок
и забыл я что записал.

А
в несозвездии Близнецов
огнь

кометы плясал.

Значит смерть
это такой сон
что снится тебе
сам.

но тебе до того что снится тебе ли —

что?
на песке налегке
стань
ясен взгляд твой и лоб твой
бел
и
ветка дыма в руке.

2

”в тот месяц Ав
как миллионы люстр
хвостатая звезда над Иерусалимом
сияла...”

Обведи
каламом неленивым
узор известняка
какой провел моллюск.

... ”в тот месяц Ав”, —
не разбирая уже литер
склонимся
над плитой:

был город пуст и
мертв
и свет кометы той
на поколение ему был первый житель”.

3

Если помнить — то наизусть:
клетка ветра
безногий куст
где к Иудейской пустыне спуск

от
Городской Стены —
сел

и умер в пыли
и — пусть
нет ему ветра
корням земли
прутья — разведены.

Наизусть продолжаем
тем паче

тех
не осталось кто помнит текст
до конца
и на языке
да и не было никогда
ни
следа их
ни
им следа
на известняке.
Но
каждый
предмет оставляет
тень
эхо черное наших тел
тьмы нашей иероглиф.
Если мы одни
нам и тень одна
мы отбросим память
а нас — она
кто бы нам подтвердил, что душа есть нам
плоть
не испепелив?

Память все подтверждает
звук
знаком
а ежели нас зовут
по имени —
вот и мы!
кому
лицом к пустыне
кому
отличать темноту и тьму
и
темноту от тьмы.

4

М. К.

А месяц Ав полуденный пылал
пылал
неопалимый!
переломи

и брось ему калам
последний каллиграф Иерусалима

затем
что так один что тень от близнеца
оглянешься
отпрянет
затем что на губах не голос а пыльца
известняка
и губы тоже камень.

5

Вести сухим зрачком по позолоте нам
читать ли золотым
в неподнебесной сини
но
в арках свет
и свист:
там ветры из пустыни
переползая
жмутся по стенам

Там
серединного и мертвого
морей
и красного
сошлись зиянья
скорее от перил!
в прострелы галерей
на двор
на дно двора где говорил с друзьями

Еще стучат по коридорам каблуки
всех
милых всех моих
что память отпустила
а в том
что небо нам
расходятся круги
тьму лун и лун тому назад
светила.

6

М.

Как сладко пел мой рот пустой
с колодезного дна
но голоса из черных вод
не слышала она.

Всю ночь
и тьму еще
и ночь
я звал: откликнись хоть!

Но

нам никто не мог помочь
и не помог
Господь.

7

М.

Под черных радуг низкие мосты
и арки

Иерусалима
цепляясь за нагорные оливы
за минареты и кресты
втекает флот
галеры и плоты

груз моря Мертвого
тяжелая вода
влечет саму себя и страшные суда
несносный груз фосфоресцирующей соли
и — путеводную
не кажется звезда
ни в Иудее ни в Оголе.

Кость непослушная не шевельнуть веслом!
но — рта не выпрямив
о некогда былом
шепчи на камне палубном покоясь
Авессалом!
дурную свою повесть —
не выпрямляя рта. Авессалом.

*Февраль — август — декабрь 83 г.
Иерусалим.*

Лилян КЛАПИШ. Иерусалим. Холст, масло. 1981. На обороте: Иерусалим ночью. Фото Ричарда НОВИЦА.

МАКСИМОВ Владимир Емельянович. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в общей сложности 2300 стр., в твердых переплетах, с тиснением.

Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъятые из всех библиотек).

Том II: Семь дней творения.

Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с реальной жизнью сегодняшней России).

Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаниями, событиями и встречами жизнь писателя).

Том V: Жив человек (пьесы, проживавшиеся на сцене театров, несмотря на "крамольные идеи", в них содержащиеся).

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина в этом романе – один из интереснейших в современной русской литературе).

Стоимость всех 6 томов – 180 нм. Каждого отдельного – 30 нм.

В продаже все произведения автора в отдельных изданиях, за исключением "Прощания из ниоткуда" и "Карантина", которые распроданы. Подробности в каталоге, высылаемом по первому требованию.

САГА О НОСОРОГАХ

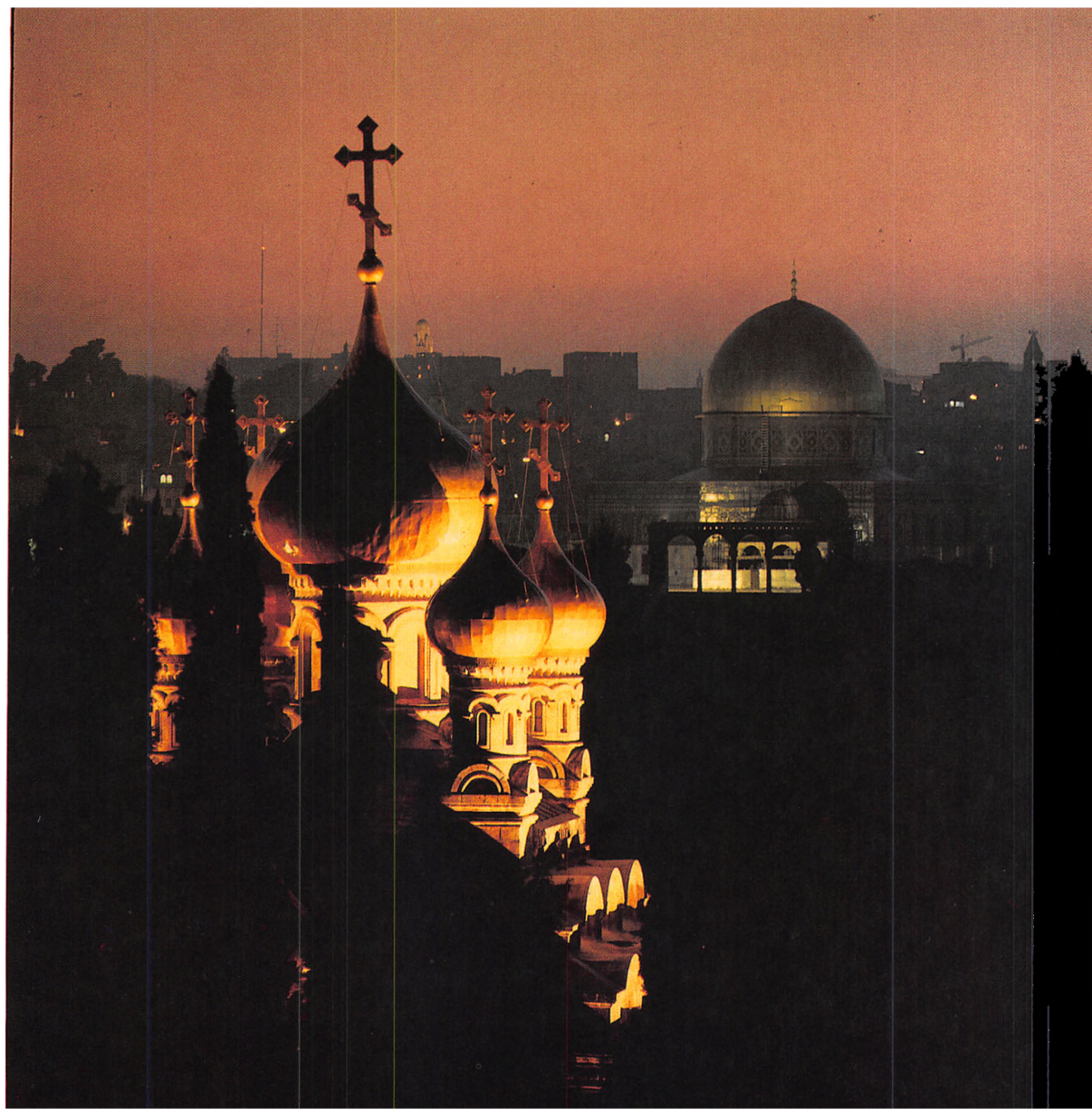
Сборник публицистических произведений В.Е. Максимова. Состоит из двух частей. В первой части – памфлет "Сага о носорогах" и ответ на ту "бурю", которую этот памфлет вызвал.

Карманный формат. 256 стр. С фотографиями. Цена – 25 нм.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных "клубных", в таких странах как США, Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др.

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80. B. D. R.





Шуламит АРЭВЕН

В поисках личности

Рассказ

Они явились к концу приема. Крутая лестница привела их к адвокатской конторе на последнем этаже старого иерусалимского дома. Рядом было агентство газетных вырезок, за ним — уборная, из которой на весь этаж несло хлоркой. Поднимаясь, обе тяжело дышали.

— Вот и пришли, — сказала старшая с торжеством в голосе.

У нее было типично славянское лицо — слегка приплюснутая смесь простодушия и жестокости. Из тех женщин, фигура которых не запоминается, так действует на все чувства сам факт их присутствия: вот входит, переводит дыхание, говорит (всегда громко), разводит руками, берется за дело — споро ошипывает птицу, кроит ткань уверенно и быстро, берет на руки ребенка. Никогда не сидит без дела.

Тусклый свет на лестнице погас, и она попыталась на ощупь найти фосфоресцирующую кнопку. Но то ли на последнем этаже кнопка не была предусмотрена, то ли просто сломалась и выпала. Руку запорошило тонкой известковой крошкой, женщина по-крестьянски отерла ее о юбку.

— Ну, как же мы в темноте-то? — обратилась она по-русски к той, которая помоложе. — Спустилась бы ты, милая, на этаж да включила бы свет.

— Не стоит, — ответила та привычно недовольным тоном.

В этот момент дверь адвокатской конторы открылась — вышел кто-то из посетителей. Лицо старшей прояснилось, она взялась рукой за косяк, чтобы дверь не закрылась и чтобы они опять не остались в потемках.

В приемной худая секретарша с большими зубами наводила марафет перед выходом. На конторке перед ней лежала раскрытая сумочка-косметичка.

— Нам к адвокату, — объяснила старшая на неуклюжем иврите.

Секретарша целиком заполняла комнату, и женщине пришлось несколько

сжаться. Та повела плечами — губы ее были сложены треугольничком для нанесения помады — и указала на дверь в кабинет. Посетительницы вошли. Женщина представилась и представила дочь.

Горела лампа дневного света. Адвокат внимательно разглядывал дочь. Все во внешности девушки было от матери, но все оказалось совершенно другим. Жестокость, утратив простодушие, стала более настырной. Дочь была на вид послабей и позлей. Дешевая розовая кофточка и юбка змеино-зеленого цвета. Через плечо — цепка, на конце которой болталась пластмассовая сумочка. На ногах следовало быть сандалиям с золотистыми (или серебряными) перепонками. Но — неожиданность! — обута она была в добротные кожаные туфли. Наверное, получила в подарок от хозяйки, у которой работала, подумал адвокат, а следить за ними не умеет.

Встретил он их без особого восторга. За день порядком устал, а вечером предстояло идти на заседание "коллегии". Раз в неделю они, несколько старых приятелей, собирались на частной квартире для обсуждения правовых аспектов еврейского законоучения, и он не хотел опаздывать, хоть в последние годы участники встреч все меньше и меньше говорили о юридических проблемах и все больше обменивались сплетнями и анекдотами. Старость.

— Слышала, господин по-русски говорить, — неуверенно произнесла женщина на своем подобии иврита.

— Говорю.

— Ну, вот и слава Богу, — перешла она на русский, — а то трудно мне на иврите все объяснить. Вот, значит, дочка моя. А родилась она в России. Я-то сама, уважаемый господин, русская, из-под Кременчуга. Потому что во время войны Степан, женишок-то мой, без вести пропал. А я уже была на сносях. И познакомилась я с одним человеком, эвакуированным, звать Перельмутер. Ездили вместе с ним с места на место, пока не доехали до Туркмении. Там она и родилась. Потом вздумалось новому моему, Перельмутеру значит, податься в Палестину, то бишь в Израиль. Ох, нелегко было нам здесь, нет, нелегко. Жили мы в монастыре, а Перельмутер-то сбег. Да, да, взял и сбег. Я и говорю, зачем было тащить нас сюда, ежели хотел сбеги. Только все ж таки сбег. Бывают такие люди. А дочка росла и, вот посмотрите, какая вымахала.

— Если вы хотите, чтобы я разыскал вашего Перельмутера... — нетерпеливо прервал ее адвокат.

— Нет, нет. На что мне Перельмутер? Мы с ним не женаты, и ничего промеж нас уже нет. Пусть живет, как знает, и нам не мешает жить. Бог с ним. Только вот ведь какая заковыка: дочь надумала ехать в Канаду. Я ей и говорю: "Хочешь ехать искать счастья? Поезжай себе с Богом". Только вот пошли мы в консульство, а там и говорят: непонятно, кто она есть, личность, значит, ее какая, если по форме, чья она — Степана, или Перельмутера, или

кого другого. Я уже объясняла и так и эдак, только не понимают. И визу ей не дают. Ни в какую. Вот мы к вам и пришли, господин адвокат. Вы ж законы знаете. Так найдите, что у нее за личность такая, чтобы ей разрешили ехать в Канаду. А мы уж за вас век будем молиться.

— Нужно навести справки в отделе учета гражданского населения, — сказал адвокат. — Обратитесь туда сами. Жалко ваших денег.

— Да разве ж я в этом понимаю? Нет уж, вы пойдите, узнайте, а мы вам заплатим и расстанемся с миром.

Адвокат нажал на звонок, чтобы вызвать секретаршу. Но та уже успела смыться — ее рабочий день кончился. Тогда он пересел за другой стол и сам двумя пальцами стал отстукивать доверенность на машинке. Стекло, за которым стояли на стеллаже своды законов, дребезжало при каждом ударе по клавишам. Дочь сначала глядела на полку с детским любопытством, а потом коснулась пальцем дрожащего стекла и дребезжание прекратилось. Это заинтересовало ее. Она то убирала палец, то прикладывала его вновь и, казалось, очень расстроилась, когда адвокат кончил печатать. Потом она еще некоторое время разглядывала пальцы, будто ожидая продолжения.

Мать расписалась медленной вязью кириллицы всюду, где ей было указано. В качестве адреса она назвала один из старых монастырей в северной части Иерусалима. Там она делает все: убирает, закупает овощи. В монастыре у нее до сих пор есть своя комната. Адвокат велел им прийти через несколько дней, встал и направился к двери. Ступая за ним, женщина продолжала говорить — ведь не каждый же день ей выдается поговорить по-русски, кроме как в монастыре, но адвокат не любил заводить бесед с клиентами, окончив обсуждение их дел. Он подождал — пусть спустятся и отойдут подальше — погасил свет и вышел сам. Из окна лавчонки, что была возле подъезда, в темноту иерусалимского вечера просачивались жизнь и свет. Он купил булочки для себя и ежедневную порцию сыра для кота. В своей кошачьей юности кот любил выводить фиоритуры на разные лады, и поэтому он назвал его Каценбах, маэстро среди котов, но с годами кот обрюзг и притих. Идя к машине, адвокат задумался: почему, собственно, она так хочет, чтобы дочь уехала в Канаду. Ведь обычно матери стремятся всеми силами привязать дочерей к дому. К тому же она одинока.

— К сожалению, ничего радостного сообщить вам не могу, — строго сказал адвокат.

На этот раз она пришла сама, не объяснив отсутствия дочери.

— Я навел справки в отделе учета. Во-первых, ваша дочь несовершеннолетняя.

— Ну да, конечно, — ответила женщина, — родилась она в войну. Сейчас ей шестнадцать. Стало быть, несовершеннолетняя. Но она девица с головой и работающая. В Канаде она не пропадет. Устроится непременно.

— Во-вторых, она записана как дочь Перельмутера.

— Милый вы мой, а как же вы хотели, чтоб я ее записала?! Война была.

Куда мне, женщине с ребенком, да еще с незаконнорожденным. Мы тогда жили с Перельмутером. Вместе ели, вместе спали, вместе приехали в Палестину, то бишь в Израиль. Как же мне было записать ее, если не на его имя?

— Ну хорошо, хорошо, — сказал адвокат, — никто не предъявляет к вам никаких претензий. Только из-за этой записи ваша дочь не может выехать в Канаду без разрешения отца или того, кто записан ее отцом, то есть Перельмутера.

Женщина изумилась.

— То есть как это? Как это так, господин адвокат? Где справедливость? Разве ж он рóстил ее? Нет, не рóстил. Он сбег. А я не сбегала. Я рóстила ее. А теперь его право решать, ехать ей или не ехать в Канаду? Где мне теперь искать Перельмутера, скажите на милость. Пятнадцать лет о нем ни слуху ни духу. Может, он вообще за границей.

— Послушайте, — вновь попытался объяснить ей адвокат, — ваша дочь записана дочерью еврея, этого самого Перельмутера, независимо от того, правда это или не правда. Это означает, что она наполовину еврейка и, учитывая ее несовершеннолетие, не может покинуть Израиль без согласия отца. Таков закон.

— Какого отца? Какого еврея? Боже праведный! Да она ж от Степана. А Степан не еврей. Он из-под Кременчуга, жених мой. И никакой не еврей, — она наклонилась над столом и выговаривала каждое слово отдельно, как в разговоре с глухим. — От Степана она, а не от Перельмутера.

— Я вам верю, — сухо сказал адвокат, — но есть закон.

— Да, против закона не погрешь, — неожиданно согласилась женщина. — Делать нечего, надо искать Перельмутера. Будьте уверены, уж я его отыщу. Отыщу и добьюсь разрешения.

— А если он не даст?

— Ну да Бог поможет, — сказала женщина. Хотя она вроде смирилась, в глазах еще не погасло изумление. — Это ж надо, чтобы такой закон, а? Кто бы мог подумать? Несправедливый этот закон, честное слово, несправедливый.

Адвокат смотрел на нее исподлобья. Дочь, какой она запомнилась ему по единственному посещению конторы, представить полуеврейкой было весьма трудно. Но, с другой стороны, ему казалось, что женщина сама толком не знает, от кого у нее дочь, и значит, может быть, в той и есть что-то еврейское. Может, все-таки она дочь, внучка и правнучка Перельмутеров, евреев-дровосеков или евреев-корчмарей? А, может, она из хазар? Кто знает? Перельмутеров на свете много. Может, от них у нее этот юркий взгляд и эта мучнистая бледность. Прежде люди знали своих родителей, помнили, из какой семьи они происходят. А как осмотрительно выбирали невесту для жениха и жениха для невесты! Теперь все пошло прахом. И вот пожалуйста, эта, со своими кудряшками, румянами и пластмассовой сумкой, не знает даже, кто она такая и кто ее отец. Нет, это не дело. Человек должен знать, что делали до него на земле его предки.

Сам адвокат не имел ни жены, ни детей. Был он высок и худ, спиралевиден, с кожей цвета слоновой кости и выхоленными ногтями, на вид лет семидесяти, щеголевато-опрятен, на переносице — пенсне с позолоченной дужкой, из тех, которые сейчас — не странно ли? — опять входят в моду. Семейная ветвь, представленная им, отмирала, и он посвящал много времени составлению генеалогического древа, якобы для соплеменников, которым вовсе не было дела до того, из какого он рода. Свое назначение он видел в том, чтобы открывать глаза на мир, просвещать — даже тех, кому это кажется лишним, убеждать в силе закона и преимуществах порядка перед сумятицей и хаосом, которые то там, то здесь прорываются в мир вихрями слепых страстей и необузданных желаний.

Но как бы то ни было, а Перельмутера надо найти.

Не прошло и недели, как женщина принесла его адрес. Оказалось, что, если он и сбежал, то сбежал недалеко. Все эти годы он преспокойно жил себе на окраине Тель-Авива, в одном из районов, построенных людьми неумелыми и торопливыми на плоской земле, поверх которой возвышались теперь однообразные ровные крыши с цилиндрами солнечных бойлеров. Адрес она достала через знакомых. Покрутилась три дня и нашла. Адвокат сел и составил письмо, в котором подробно разъяснил обстоятельства. Он любил писать такие письма, в которых все излагалось с чувством, с толком, с расстановкой, и ему казалось, что от процесса написания и объяснения зависит дальнейший ход событий.

Неделю не было ответа, а потом почтальон принес большой горчичного цвета и официального вида конверт, в котором было письмо, написанное, правда хоть и на иврите, но латинскими буквами. Adoni*, говорилось в письме, ani lo maskim**. Дальше Перельмутер много писал о себе. Он очень больной, страдает печенью, женился на вдове — владелице маленького магазинчика, и доходов у него нет, и счастье ему не улыбается, и все годы он тосковал по дочери. А теперь, когда она наконец нашлась, чтобы он дал ей уехать? Нет уж, он сам обратится в суд и потребует, чтобы она была ему дочерью по всем правилам, как у всех на свете. Он будет приезжать к ней, и водить ее в кино, и навещать по праздникам, и есть бульон с клецками. Как все на свете. И если ему не повезло в жизни и он не видел дочь пятнадцать лет, так что — разве он потерял на нее права? Нет, отец есть отец.

Латинские буквы затрудняли чтение, и адвокат просидел над письмом немало времени — он хотел быть уверен в том, что все понял правильно, разобрал, где под словом "lo"*** имелось в виду "нет", а где "ему", и не спутал прочие вещи, которые, если бы их записать ивритскими буквами, не

*Здесь: господин (здесь и далее прим. переводчика).

**Я не согласен.

***Слова, звучащие на иврите одинаково, но пишущиеся по-разному.

вызывали бы сомнений. Постепенно такая манера письма подействовала на адвоката. Он взял лист бумаги и стал писать ивритскими буквами, но слева направо, а потом перевернул и буквы, воспроизведя их зеркальное отображение. Он помнил день, когда ему объяснили, что на иврите надо писать не как по-русски, а в другую сторону, и первое время он действительно писал зеркальными отображениями ивритских букв. Родители и учителя немало потрудились прежде чем он понял, как перевернуть их назад, но потом уже, поскольку он долго напрягал мозг, чтобы понять и научиться, стал в этом деле большим умельцем. Сейчас, почти через шестьдесят лет, он убедился, что все еще может писать зеркальным способом, причем весьма бегло, и более того — эти "зеркальные" буквы по своей внутренней форме больше напоминают ему его, чем обычные литеры его прилизанного ивритского почерка. Непонятное влияние перевернутых букв испугало его, и он, смутившись, разорвал лист — будто заглянул во что-то чужое и сокровенное.

— Ладно, — согласилась женщина, — езжайте к Перельмутеру. Только я не поеду. Езжайте вы, господин адвокат, пусть с вами едут дочка и муж.

— Муж? Ваш муж?

— Боже праведный! Ну, конечно, мой, а то чей же? Что же вы думали, я так и буду сидеть все эти годы, с тех пор как сбежал Перельмутер?

— Кто он, ваш муж?

— А вот познакомьтесь по дороге. Человек хороший. Поляк, был в армии Андерса, ранило его, беднягу, а потом он сбежал, и прятался, и голодал. Намучился. Теперь — не помню сколько лет назад — пристроился при муниципалитете, деревья сажать. Силища у него. Другие поскребут землю, так, поверху, и тут же сажать — ни силы у них, ни терпения. А он ни за что — вскопает как надо, старые корни выкорчует подчистую. Хороший он человек, Петр, добрый, не из тех, что наобещают с три короба, а потом сбегут.

(Монастырь, православная свадьба, венец на голове жениха, венец на голове невесты, лента, скрепляющая руки обоих, монахини, подносящие в подарок вышитую скатерть и живую курицу, которую Петр зарежет завтра или послезавтра, монастырское варенье из винограда, запах прелых яблок и ладана.)

— Другими словами, ваш брак с Перельмутером был расторгнут и вы вышли замуж вторично?

— Господин адвокат, так ведь я не сочеталась с Перельмутером. Война, сами знаете. Худо нам было в Туркмении, тоскливо, хоть волком вой. И люди сбегаются, лепятся друг к другу, чтобы вместе есть и вместе спать и не жить одному, как собака. Домишки там знаете какие? Хибары, стены из глины, крыши соломенные. Выйдешь — грязь непролазная. И война. До фронта, правда, было далеко, но если жить бобылем, то можно с голоду вспухнуть. Вдвоем полегче. Один кумыса раздобудет, другой где побатрачит и картошечки принесет. Как-то жили. И даже смеяться не позабыли. Каждый

про семью думал, но думы эти прятал в сердце и страдал про себя, а вслух про это не говорили, разве что вечером. Когда тяжело, вдвоем-то полегче. Не думала я тогда, что мне придется такое терпеть из-за Перельмутера, ей-Богу, не думала.

Адвокат закрыл глаза и сразу же увидел ее и его, в грубых серых отрепьях, в платках с бахромой, бредущих длинной улицей туркменского аула, увязая по колено в грязи, с помятой банкой консервов под мышкой или с полбуханкой хлеба, — уши замотаны, чтобы не отморозить, в опорки насована газета. Она — с обветренным лицом, высокая, светловолосая по-славянски, молочно-голубая и золотистая, как полдень в страду, и хоть она потрепана войной, грудь ее пахнет парным молоком; девушка она крепкая, и характер у нее вроде незлой, вовсе незлой, только голос резкий и визгливый, как бывает у русских женщин, и говор тяжелый и грубый. А он — еврей, беженец, совсем молодой, с близко посаженными глазами, сутулый, всегда в фуражке, с нелепой походкой — то ли подскок козлийный, то ли человеческий шаг, бриться не любит, зато любит нить, и в этом бесконечном нитье сохраняется весь запас его сил. Что-то в нем наглухо замкнуто от нее, и именно это, скрытое, притягивает, берет за живое, влечет. Она вынашивает обоих — и его, и дочь. Ей тяжело. Изо дня в день в должный час проходит поезд, он не замедляет хода, ему нечего делать на этом заброшенном полустанке. В поезде солдаты, они едут домой; вагоны с ранеными... Председатель аульного совета произносит речи во славу партии и правительства и время от времени раздает что-то вроде местной газетки. Дети носят тубетейки, похожие на половинку футбольного мяча, все раскосые, в школе они говорят по-русски, а с бабушками — по-туркменски. Первого мая, несмотря на войну, на местную площадь удастся вывести нечто похожее на демонстрацию. Густо-красные флаги над крышами, алые плакаты с золотыми буквами покрывают бурые стены. И чай, много чая.

Женщина и ее еврей под грудой одеял. На улице снег. Сверху, для согрева, — пальто. Они касались друг друга, как ложки в ящике, и пусть в голове у него потоки мыслей, и пусть в мечтах он произносит про себя волшебные слова: Аму-Дарья, Амазонка, Рио-Гранде, все равно он тычется в нее, как кутенок, который ищет тепла у другого зверя своей породы.

В снегу блеют козы. Запах перьев, запах мороза. Проходит поезд. Приходит сон.

Адвокат вздохнул.

— Ну, хорошо. Давайте на будущей неделе напишем господину Перельмутеру, сообщим о нашем приезде. А вы — вы не хотите поехать? Вы уверены?

— Уверена, уверена я. На что он мне сдался? Пусть будет здоров, а только у него своя жизнь, а у меня своя. И Петр не захочет, чтоб я ехала. Ты, говорит, оставайся дома. Мы обо всем договоримся, по-мужски. А дочь

возьму, раз господин адвокат говорит, что так надо. Мы ведь верим господину адвокату, как отцу родному.

Что же я делаю, встревожился адвокат. Привезу я этого здоровенного голя к больному-печеночнику в Копель или как там называется район, где он живет, а тот еще поколотит его. И все из-за меня. "По-мужски", говорит.

— Послушайте, а ваш Петр не того, драться не станет?

Женщина всполошилась.

— Боже упаси, господин адвокат. Что это Вы говорите такое? Да он же сущий ангел. Такой руку положит на больное место, и боли как не бывало. Во ручища, а мягкая. Чтоб мой Петр кого ударил? Да он мухи не обидит. А силища у него — ого-го! Вы не поверите, а посмотрели бы, как он работает, полрядка поднимает зараз, хоть и не молодой. Бабы сходятся посмотреть, когда он работает в сквере перед муниципалитетом, как на представление. Спина у него — загляденье, красивая, сильная.

Так вот почему она хочет отправить дочь в Канаду, подумал адвокат, хотя, может, сама еще не отдает себе в этом отчета. Тот же инстинкт, который некогда заставил ее пригреть тщедушного еврея, оказавшегося вместе с ней в глухом ауле, сейчас вынуждает ее — надо резать по живому, в доме должна быть одна женщина. А та, незамужняя, пусть уходит. Женская мудрость непостижима, но всегда подскажет, как поступить.

В тот же день адвокату совсем по другому делу случилось побывать в муниципалитете. Он поинтересовался, и знакомый служащий рассказал ему, что время от времени они действительно нанимают работника по имени Петр, который, конечно, малость того, и из армии Андерса вовсе не дезертировал, а был списан из-за неизлечимой умственной отсталости.

Вечером у подъезда, внизу, в свете огней лавчонки адвоката ждала дочь женщины. Было видно, что стоит она давно. Увидев его, девушка сдвинулась с места и пошла рядом, будто настроившись провожать.

— Почему вы не поднялись? — спросил адвокат. Разговор шел на иврите.

— А чего подниматься?

— Ну, а вдруг я сегодня вообще не работал бы?

Она пожала плечами и сказала:

— Я хочу в Канаду.

— Откуда вы знаете, что там вам будет лучше?

— Потому что здесь на мне никто не женится.

Адвокат удивился.

— Почему же?

— А кто? Еврей? Христианин? Русский? Араб? Нет, парням нужно, чтоб без изъяна.

Адвокат посмотрел на нее и попытался представить другую картину: та же горечь, та же вялая грудь, но вот ее коснулась радость, она желанна, в ней что-то распрямляется. Тогда особым значащим призывком окажется и горечь,

накопившаяся в теле, и даже эти ужасные тряпки с базарного развала. Останется лишь суть — молодая крепкая девушка в ярком платье.

А пока она семенила рядом по тротуару в своих дорогих неужоженных туфлях, слегка подтягивая ногу из-за того, что один каблук был стоптан.

— Я не знаю, что мне сказать, кто я такая.

— Ваша мать говорит...

— Мать говорит разное. Говорит, что мой отец — русский солдат.

— Какие же у вас основания не верить. Я думаю, что это правда. Во время войны всякое бывало, и никто не виноват. Он был отправлен на фронт, может, погиб. Если бы он не пропал, вы бы жили сейчас с отцом и матерью в деревне под Кременчугом.

— Я по отцу дважды сирота.

— Считая Перельмутера?

— А что ж? Он тоже был, да сплыл.

— Какое вам дело до Перельмутера? Ну и что, что мать с ним жила в годы войны? Ваш отец погиб на войне. И вы в этом смысле не единственная.

Девушка не слушала.

— Чего же она не вышла замуж?

— За кого — за Степана или за Перельмутера?

— Какая разница. За кого-нибудь. Кому я нужна теперь? Каждый скажет — эта небось такая же, как и мать.

Адвокат хотел сказать, что она ошибается, что в нашем обществе... но понял, что все это ни к чему, и промолчал.

— Потому я и хочу в Канаду. Там нет всех этих дел — война, пятое-десятое. Там запросто. Может быть, даже с кем познакомлюсь из парней покультурней. А то посмотрите на мать — вышла замуж за этого полоумного, который что-то там роет при муниципалитете. И то сказать, какой у нее был выбор?

Адвокат вполне понимал ее влечение к миру, в котором все расставлено по местам. Он и сам любил жизнь упорядоченную, текущую медленно, по заранее установленным канонам, жизнь, в которой есть предназначение и цель, намеченная свыше. На миг у него даже мелькнула мысль — а что если удочерить ее и дать ей свою фамилию. Но тут же он увидел ее во всей красе: лицо, начисто лишенное всякой привлекательности, металлический зуб, пугающее инфантильно-настырное желание, чтобы всегда и во всем считались именно с ней. Адвокат понял: нет, это ему не по силам. Это случай для социолога, для социального работника, может быть, даже стоит поговорить о нем на сегодняшней встрече.

— Может, я могу помочь у вас в конторе? — спросила она вдруг, и по ее тону было заметно, что она и сама не очень верит в такую возможность.

— Как? На машинке...

— Я могу научиться.

— Но как же? Моя секретарша, она ведь уже пять или шесть...

— А может, когда понадобится. Она заболит. Мало ли что.

— Нет, нет, это никак невозможно.

Смутившись, она тотчас соскользнула надеждой пониже.

— Тогда, может, вам нужна уборщица, а?

— У меня убирает женщина. Одна и та же. Уже четверть века.

Со стремительной непосредственностью шестнадцати лет она предположила:

— А может, она помрет?

— Да что вы...

Адвокат почувствовал, что она, как сорняк, угрожает вытеснить все, что он сберегал годами, и потому разговор пора кончать.

— Не волнуйтесь, — сказал он, — идите домой. Я обещаю сделать все, что смогу, чтобы помочь вам уехать в Канаду.

Девушка посмотрела на него презрительно, как на недоумка, который вообще не понимает, о чем с ним говорят.

— Значит, мне уходить?

— Идите, милая, и не волнуйтесь — все будет в порядке, — мягко, но окончательно отгородился от нее адвокат.

Чувствуя, что на всем, что связано с ней, лежит отпечаток гибели, он старался проявить максимальную предупредительность. Но девушка не поддавалась. Она вздернула плечи, кивнула, презрительно и безнадежно, и зашагала прочь.

В маршрутном такси адвокат, как обычно, занял место возле водителя. В дороге он иногда чувствовал себя неважно и терпеть не мог, когда его стискивали справа и слева. Сам он за городом машину теперь не водил. Скоростные шоссе пугали его. Петр и дочь, сидя сзади, разговаривали между собой на иврите. Русский оба знали плохо. Дочь говорила на иврите без акцента, а у Петра проступал густой польский фон. Обоим и на иврите не хватало слов, и они восполняли недостающее жестами и догадкой. Человек с лицом пожилого учителя, сидевший рядом, проявлял к ним крайнее расположение — он принял их за новых репатриантов, которым надо рассказывать, что они видят по дороге, и ему, старожилу, от этого было приятно на душе. И хотя эти оба ездили по иерусалимскому шоссе по меньшей мере пятнадцать лет, они вежливо молчали, ни в чем не разубеждали его. Юристу стало как-то не по себе. В стройном мире вокруг него что-то сломалось в тот момент, когда эти две женщины пришли к концу приема в его контору. Началась какая-то мешанина, дети перестали быть похожими на родителей, и все самое невероятное вдруг оказалось возможным. В Тель-Авиве престарелый учитель пожелал им на прощание успешной абсорбции и попросил их не бояться трудностей — всем приходилось нелегко, было время — жили в палатках, мостили дороги. И еще, сказал он, им во что бы то ни стало надо пойти на курсы, поучить иврит, а вообще все непременно устроится. Главное — что они на своей исторической родине и здесь им

некого бояться. У Петра, чувствительного от природы, на глазах выступили слезы.

— Это точно, — сказал он учителю, — правда ваша, земля здесь хорошая, и бояться некого, а что до арабов, то Бог нам поможет.

Они взяли такси и поехали в район, который адвокат привык за это время называть квартал Копель. Строили его на скорую руку, и он очень быстро превратился в квартал бедноты с обшарпанными подъездами, балконами, торчащими из домов, как ящики распаханного настезь шкафа, сходство довершалось свешивающимся бельем. Фасады казались не фасадами, а вывернутыми наизнанку стенами огромной ночлежки. Вывеска над сапожной мастерской была написана по-болгарски. В запущенной парикмахерской парфюмерное благоухание фиалок. Телеантенны. Песок между домами. Несколько лет назад кто-то посадил белые и фиолетовые барвинки, но их никто не поливал, и цветы зачахли. Теперь на газонах не цветет ничего, кроме оберток жевательной резинки, палочек от эскимо, грязной ваты и тетрадных листов. Ежедневные поездки в переполненном автобусе в центр Тель-Авива и обратно — к сидению в майке у радиоприемника, арбузу и кефиру. Летом здесь трудно, подумал юрист, труднее, чем в Иерусалиме. Приемники, нарывающие переорать друг друга. Между людьми чрезмерная близость, тепло одного жилища сливается с теплом соседнего, голоса переплетаются, запах одного стоит в квартире другого. Стены — лишь видимость, дань принятым нормам.

Если адвокат ожидал, что, когда они подойдут к дому Перельмутера, дочь проявит какое-либо волнение, то он явно ошибся. На ее лице застыло все то же выражение упорства и укоризны, разве что оно стало еще упрямее и чуточку злее. Казалось, ей на все наплевать. Волосы, блестящие от клейкого парикмахерского лака, были уложены осиным гнездом и нависали ей на лоб. Платье из лавсана было из тех, что продают с лотков в дни осенних распродаж, и будь в ней хоть капля принужденности и кокетства, оно могло бы выглядеть на ней неплохо. Но привычка быть всегда настороже, характерная для неумных женщин, не позволяла ей расслабиться ни на минуту, и потому даже легкое платье выглядело на ней, как доспехи. При ходьбе ее руки оставались неподвижными, только плечи неестественно подпрыгивали вверх-вниз в беспорядочном нервном ритме, зависящем от настроения. Она выглядит зрелой женщиной, в жизни которой не было ни одного светлого дня, подумал адвокат, а ведь ей всего шестнадцать.

С Петром она говорила, как и со всеми, капризным и недовольным тоном, но беззлобно. Сам Петр в точности соответствовал описанию: высокий, коренастый, обходительный и с большим кадыком. Слегка тянет больную ногу. Рубашка в полоску, без галстука, застегнута на все пуговицы. Пиджак. Воротник рубахи застегнут наглухо. (По этому можно в Израиле узнать нееврея, отметил про себя адвокат.) Ступает с ней рядом, готовый примирить, смягчить, успокоить.

Поднялись по лестнице. Дверь открыл сам Перельмутер. Он был намного ниже ростом, чем ожидал адвокат, совсем тщедушный, сморщенный и неестественно желтый, будто прошел какую-то химобработку, которая к тому же оставила после себя чуть заметный запах перегноя. Перельмутер был явно старше женщины, с которой он жил в Туркмении, и, значит, образ еврейского парня в фуражке, разбитного и вечно голодного, придется отбросить. Тогда, значит, так: лет ему было тогда под сорок, волосы поредели. Затаенную злость можно оставить, но сделать ее более материальной. У него в подкладке было, наверное, зашито несколько царских рублей, какое-никакое золотишко, может, доллар-другой, поэтому она и прибилась к нему. Черт его знает. Сейчас он выглядел как мелкий жулик, начисто лишенный даже той безудержной лихости, которая иногда подкупает в жуликах, бесшабашных и жизнерадостных.

Перельмутер протянул руки к дочери. Она позволила себя обнять и постояла какой-то миг в кольце его рук. Но когда Перельмутер попытался ее поцеловать, она оттолкнула его сжатыми кулачками.

— Так и будем стоять на пороге? — кисло спросила она. Было ясно, что чувствам, если таковые и были, она воли не даст.

— Ой, входите, входите. Спасибо, что пришли. Благодарение Богу, который дал нам жизнь, охраняет всех нас и дал дожить до этого дня*, — чуть ли не прорыдал Перельмутер. — Роза! Роза! Ко мне пришла моя дочь. Ах, какой день! Какой радостный день! Пятнадцать лет, подумать только.

Слезы на его лице тоже выглядели желтоватыми.

Роза, жена Перельмутера, оглядела всех острым взглядом глаз-пуговок и, не говоря ни слова, принесла и поставила на стол угощение — наломанную квадратиками плитку шоколада, разложенную на дне плоской стеклянной вазочки. Адвокат осмотрелся — две комнаты, балкон, маленькая кухонька. В углу большой допотопный приемник, на нем — стеклянная кошка. Все электроприборы включены в одну розетку, и шнуры волочатся по полу. На столе бутылка с аптечной наклейкой. Пепельница в виде лебедя и еще одна, розовая, в форме руки. Перельмутер утер слезы.

— Вот посмотрите, — стал он показывать старые фотографии, которые, бегая по комнате, кипами извергал из ящиков. — Это моя первая жена. Это я. А вот мы вместе в ауле Ула, в Туркмении, на демонстрации Первого мая. Вот даже бюст Сталина. — Каждую фотографию он совал под нос и упрямился рассмотреть. — А вот она — дочка, только что родилась. Пятнадцать лет носил у самого сердца. Как сейчас помню тот день. В больницу добирались на подводе. И что вы думаете? Надо же, чтобы в дороге сломалась ось. Спасибо, попались двое солдат, они помогли. А она уже начала рожать, не удержалась, ей Богу.

— Простите, — перебил адвокат. — Вы говорите — жена. Разве вы были женаты?

*Из благословения, произносимого в торжественных случаях.

— Что значит "были женаты"? Конечно, были. Под хупой не стояли, это верно, но в ЗАГСе были расписаны, честь по чести. Потом даже, помню, пошли в Дом культуры, выпили немного с друзьями, закусили селедкой. С продуктами было плохо, но селедку нам достали — первый сорт. Что значит "не женаты"? Конечно, женаты.

— Тогда значит Роза...

— С ней мы женились в раввинате. Только приехали мы в Израиль, та, первая, сбежала от меня в монастырь, и меня не пускали ни к ней, ни к дочке. Что ж делать, сказал я себе, без жены мне никак нельзя. Пошел я к юристу, и он мне объяснил, что гражданский брак тут не в счет, я могу жениться на ком хочу, в раввинате. Обратился я в бюро брачных объявлений, рассказал, что я больной, работать много не в состоянии, но как мужчина в полном порядке. Мне подыскивали Розу, у нее магазинчик, сыграли свадьбу, с тех пор я здесь и живу.

Роза, которая до сих пор не произнесла ни слова, заварила крепкий чай и принесла его в стаканах с пластмассовыми подстаканниками. Природа сохранила ей волосы, но выглядели они, как запыленный парик.

— Мейделе*, — обратился Перельмутер к дочери, — расскажи отцу, как ты живешь? Чем занимаешься? Чему научилась? Может, у тебя и ухажер уже есть?

Девушка весьма сухо сообщила, что училась в школе при миссии, работает официанткой в Немецкой колонии* и хочет ехать в Канаду.

— Какая Канада? Что за Канада? С чего это вдруг? Боже упаси, мейделе, что ты будешь одна среди чужих? Здесь все свои, здесь я — твой отец.

— Слушайте, никакой вы мне не отец, — не выдержав, оборвала его девушка. — Так, сплошная комедия. Ясное дело! Адвокат сказал, вот вы и рады ломать комедию.

Перельмутер разрыдался. Он плакал по всем правилам: заходиллся, всхлипывал, глотал слезы, мелко дрожал плечами.

— Ну, ну, это уже ты того... — сказал Петр и, достав платок, стал вытирать руки. Было видно, что он очень смущен. — Не надо плакать, господин Перельмутер. Бог никого не оставит в беде.

— Прошу вас, ведите себя прилично, — сказал адвокат девушке.

Она пожала плечами.

— Ладно, буду вести, только пусть не говорит, что он мне отец.

— Откуда вы знаете? — строго, как на допросе, спросил адвокат.

— Да вы посмотрите, я ж на него не похожа вовсе.

Все осмотрели ее и его. Сходство и правда усмотреть было трудно даже при большом желании. Да, но ведь она от Степана, а не от Перельмутера, вспомнил юрист, он только удочерил ее, когда она родилась в Туркмении. Перельмутер перестал рыдать.

*Девочка (идиш).

**Район в Иерусалиме.

— Вот ведь как бывает. Эта ведьма прятала ее пятнадцать лет, настраивала против меня все годы, что ж вы хотите, чтобы она теперь говорила. Но это тебе не поможет. Слышишь? Я твой отец перед Богом и людьми. Ты родилась в августе в ауле Ула, в Туркменской ССР, и ось сломалась в дороге. Ну, что на это скажет твоя мать? А?

Адвокат приступил к выработке компромисса. Он привык заниматься этим у себя в конторе в присутствии обеих спорящих сторон. Тогда он обращался к ним с речью, торжественной и возвышенной, взывал к их чести и человеческому достоинству, ко всему лучшему, что, как он верит, есть в них. Даже если они не понимали, то слушали молча, будто почувствовав, что в мире все же существует некий высший порядок. Дослушав до конца, они успокаивались.

Он произнес свою речь и на этот раз, в квартале Копель, только здесь она то и дело прерывалась: наверху выбивали ковры, внизу мать крикливо отчитывала в чем-то провинившегося сына. В конторе все было куда проще. Адвокат отхлебывал чай и скучал по Иерусалиму.

Когда он закончил речь, они больше не старались уколоть друг друга побольнее, но и до примирения было далеко. Перельмутер, не расстававшийся со своими фотографиями, был похож на мышь, сидящую на куче денег. Как это ему удалось нащелкать в глухой деревне во время войны столько карточек? Неужто тогда можно было свободно достать такое количество пленки? Или это был один из его гешефтов?

Груды снимков, на каждом — то молодая улыбающаяся женщина, то он, то они вдвоем; или младенец — на руках у нее, на руках у него, между ними. И даже неизменное фото, на котором запечатлен младенец, лежащий на животе на шкуре вроде тигриной.

— Так ты приезжай проведать отца, — сказал Перельмутер. — Поживи у нас недельку-другую. Поедем в Тель-Авив, ходим в кино. В субботу сядем за стол. Знаешь, как Роза готовит? Пальчики оближешь. Твоя мать тебя не узнает. Щечки будут, как яблочки.

— Я еду в Канаду, — метнула в него девушка последнюю фразу и зашагала вниз по ступенькам. Адвокат и Петр спустились за ней. Перельмутер, стоя в дверях, кричал им вслед:

— Никакой Канады! Никакой Канады! Пока я жив, никакой Канады!

Такси найти не удалось — какому шоферу придет в голову искать пассажиров в квартале Копель. В туфли набился песок. Девушка плакала. Петр хлопал ее по спине, словно она проглотила рыбью кость, и приговаривал:

— Хватит, ну, хватит.

Пришлось сесть на автобус. Всхлипывая и икая, девушка плюхнулась на сиденье. Лицо она закрывала платком. Мужчины молчали. Она, в конце концов, девочка, совсем еще ребенок. На автостанции адвокат купил ей конфет. Она тут же оживилась, открыла жестянку и принялась за леденцы.

— А Перельмутера я прикончу, — сказала девушка, перестав плакать.

— Неправда, — божилась женщина, — Бог свидетель, чтоб мне в аду гореть вечным огнем. Не сочтались мы с Перельмутером ни гражданским браком, ни каким другим. Просто жили вместе. — И помолчав, добавила нечто странное. — Веселый он был, Перельмутер. Не встречала я больше таких веселых. Вот только работать никогда не любил.

Адвокат посмотрел на нее растерянно.

— Почему же, по-вашему, он утверждает, что вы были женаты?

Женщина развела руками.

— Не знаю, ей-Богу, не знаю. Он-то знает, что это неправда. И зачем только люди врут? Неужто только чтобы другим насолить?

— Может, вы встретитесь с ним и выясните, почему он так упорно стоит на своем?

— Нет, Петр мне ни за что не разрешит.

Адвокат не знал, кому верить. Оба говорили вполне искренне. Было ясно, что до правды здесь не добраться. Тут в голову ему пришла мысль:

— Послушайте, может, из всей этой неразберихи найдется все-таки выход. Девушка несовершеннолетняя, отцовство неясно. Вы сейчас замужем за Петром, сочтались, насколько я понимаю, церковным браком. А что если Петр удочерит ее?

— Удочерит? — женщина не сразу осознала эту возможность.

— Удочерит по всем правилам. И тогда он в качестве отца сможет дать ей разрешение на отъезд в Канаду.

Две слезинки заискрились в глазах у женщины. Она встала, порывисто прижала к себе голову адвоката, а потом попыталась по-крестьянски обнять его колени, опустившись на пол, но этого адвокат не допустил.

— Дай вам Бог здоровья, господин адвокат. Я всегда знала, что ваш светлый ум нас спасет. Да продлит Иисус ваши дни, а Пресвятая Богородица даст вам счастья и всех жизненных благ.

В дверях она вдруг всполошилась:

— А Перельмутер не заартачится?

— Я не думаю, что у него есть основания возражать. Его отцовство не подкреплено достаточными доказательствами, кроме того, он не интересовался ребенком на протяжении пятнадцати лет. Судья ведь тоже человек.

По дороге домой он чувствовал воробьиную легкость и беззаботность, дома прилив энергии не утих, он согнал с колен Каценбаха и принялся составлять прошение об удочерении.

Судья тем не менее пожелал лицезреть Перельмутера.

Когда Перельмутер вошел в кабинет судьи, адвокат в первый момент его не узнал. Перельмутер отрастил баки, надел новую белоснежную рубашу, а сквозь его желтизну проступал чуть ли не молодецкий румянец. Сейчас он

был похож на жизнерадостного хасида*. Сели — судья в кресло, адвокат и Перельмутер по другую сторону заваленного папками стола. Перед адвокатом и судьей лежало множество бумаг. Перельмутер пришел с пустыми руками и теперь, улыбаясь, беззаботно переводил взгляд с одного на другого.

— Так что, господин Перельмутер, вы утверждаете, что вы отец девушки?

Перельмутер достал из кармана какую-то бумагу.

— Господин судья, я тут нашел свидетельство из больницы, где она родилась. Смотрите, роженица была зарегистрирована под моей фамилией. А посмотрите, под какой фамилией записана новорожденная? Под моей, как моя дочь. Мы женились в ЗАГСе. Гражданским браком. И дочь, конечно, моя. Какие могут быть сомнения?

— Скажите, как вам удалось устроить вашу... допустим, жену в больницу? В самый разгар войны? — спросил адвокат, как при допросе свидетеля. — Разве все больницы не были заполнены ранеными?

— У меня были связи, — стоял на своем Перельмутер. — И вообще, господин адвокат, вы, конечно, большой человек, но будь вы даже самый большой начальник, вам все равно ничего не поделать против моих документов. Вот они все, пожалуйста.

— Регистрация в больнице не доказывает факта отцовства, — заметил адвокат, обращаясь к судье.

— Безусловно, — ответил судья.

— Вот видите, сколько хлопот вы нам причиняете, — сказал он Перельмутеру. — Вы ведь знаете, что по закону дочь остается с матерью, но вы женились на нееврейке и тем самым запутали дело.

— Нееврейке? — взвился Перельмутер. — То есть как нееврейке? Да она такая же нееврейка, как я нееврей. Конечно, она еврейка. А кшейре** еврейка. Так что, если у нее голубые глаза? Штейт гешрибен***, что еврейской девушке нельзя иметь голубые глаза?

Знакомое помещение суда, вдруг покачнувшись в глазах адвоката, выплыло за пределы реальности. Единственно реальным по-прежнему казался только густой и белый осенний свет, который пробивался сквозь щель в облаках и оседал на всем — на сидящих, на мебели, на горах бумаг. Полотно световой ткани окутывало людей и предметы, постепенно вбирая их в себя. Сидящие блекли, слабели, как свет свечи на рассвете, истончались, становились все призрачнее, казалось, еще немного и сквозь них можно будет пройти, как сквозь дым. В растерянности адвокат подумал: стоит Перельмутеру указать на что-то перстом и произнести слово "еврейский", как кажется, что он изрек: "мое" и наложил свою пятерню. Всемогушая длань Перельмутера. Куда мне против нее.

*Хасидизм — течение в иудаизме. Одним из основных положений хасидизма является требование служить Всевышнему с душевным подъемом и радостью .

**Кошерный (идиш). Здесь: стопроцентная.

***Написано (идиш). Здесь: где-нибудь записано.

Судья встал и задернул шторы. В комнате стало темнее. Адвокат пришел в себя. Люди и предметы вновь обрели привычные очертания.

— Надеюсь, вы понимаете, что отсюда вытекает, — приглушенно сказал судья адвокату. — Если она действительно еврейка, как утверждает этот господин, значит и дочь еврейка, и тогда я не могу вынести решения об удочерении ее нынешним мужем матери, который нееврей.

— Я понимаю, господин судья. Однако я не убежден в том, что сказанное здесь — правда. Это нужно проверить. Надо...

Перельмутер посматривал то на одного, то на другого и наслаждался безмерно. Ну и огорошил же он их. С тех пор, как он уехал из России (но там-то что — гоев* всегда можно обвести вокруг пальца), с тех пор, как он начал иметь дело с Агентством**, подходящим налогом и счетами за электричество, ему еще никого не удалось так обставить — ни частное лицо, ни учреждение. Он выглядел помолодевшим лет на двадцать.

— На основании чего вы утверждаете, что она еврейка? — стал допытываться адвокат.

— Как это "на основании чего"? Да она сама мне сказала. Видели вы человека, который врал бы, что он еврей? Наоборот — это другое дело. Это мы видели. А так, дураков нет. Да еще во время войны.

— Что вы предлагаете? — опять наклонился судья к адвокату.

— Будем выяснять, — ответил адвокат, — разыщем документы, проверим. Для нас это совершенно неожиданный (чуть не сказал: "сверхъестественный") оборот дела.

В коридоре адвокат сказал:

— Послушайте, господин Перельмутер, если эта женщина на самом деле еврейка, тогда весьма сомнительно, действителен ли ваш теперешний брак с Розой. Зачем вам все эти сложности? Вас могут обвинить в двоеженстве, и неприятностей не оберешься.

— Ну так что? Расторгнут мой брак с Розой, признают его недействительным? Ну и пусть признают. На здоровье.

Адвокат вдруг понял, что несмотря на все разговоры о том, что Петр не разрешает, Перельмутер виделся с женщиной. Он попытался прочесть что-либо на лице Перельмутера, но не смог пробиться сквозь непроницаемую личину ушлого жулика, готового с пеной у рта отстаивать свою неправду. Ну, а если они все-таки виделись, если что-то от бывшего влечения продержалось все эти годы, если земля разверзлась у них под ногами и глубоко в провале они увидели то, что и ему, и ей давно уже казалось невозможным, — перерождение, другую жизнь. А, собственно говоря, почему бы и нет? Прошло пятнадцать лет, но он по-прежнему помнит ее большое белое тело, ей привычна его манера, и от первых объятий, в которые сводит волнение

*Неевреев (иврит, идиш).

**Имеется в виду Еврейское Агентство, которое оказывает помощь на первых порах устройства репатриантов в Израиле.

встречи, тела увлекают их дальше по проторенной тропе, не дав опомниться и взвесить: да или нет. И Петр, и девушка — побоку. Теперь уж он не отступится от нее. Теперь все пойдет иначе. Мгновение — дань былым страстям — и девушке не видать Канады.

Перельмутер наклонился к адвокату и прошептал ему на ухо:

— Ди Роза, зи ист алте мойд*, — и пританцовывая зашагал к автобусной остановке.

Адвокат был из тех романтиков, которым нравятся женщины одного типа — похожие на них. Если он высок, с кожей цвета слоновой кости и черными глазами, то он ищет женщину высокую, с кожей цвета слоновой кости и черными глазами, будто бы из своих, из близких по крови. Другое начало, живительная новизна чужого были ему не по силам, и, не будучи любопытным, он остался одинок на всю жизнь. Поэтому ему трудно было понять историю с Перельмутером. Еврейка она или нееврейка? Встречался он с ней или нет?

Адвокат отправился в монастырь. Высокое здание в северной части города стояло за высоким забором. Через боковой вход — просвет между каменной стеной и непролазной живой изгородью — он прошел в небольшой флигель, что-то вроде сторожки, где жила женщина. Во дворе росла герань, мальвы и неприхотливый иерусалимский жасмин, соглашавшийся благоухать на черствой каменистой почве. В монастыре пробил гонг, сзывавший к молитве или трапезе. Женщина и Петр были дома. Он ел, а она сидела рядом с заплаканными красными глазами. Сомнений не было: она опять сошлась с Перельмутером. А Петр ни о чем не знает, не ведает.

Женщина вытерла стул и усадила гостя.

— Хотите ли вы, чтоб ваша дочь поехала в Канаду? — сухо спросил адвокат.

— Хочу.

— Так зачем же вы...

Женщина то и дело утирала глаза. Трудно было понять, как Петр, какой он ни есть, не замечает, что с ней. Коротким, равномерным движением кающейся грешницы она поминутно била себя в грудь. Веки припухли. Волосы были растрепаны.

— Теперь Перельмутер не отступится, — сказал адвокат намеренно не договаривая, чтобы Петр подумал, что речь идет о дочери.

Но Петр — огромный, в полосатой рубаше, застегнутой до кадыка, в широких рабочих штанах защитного цвета — сидел как ни в чем не бывало и, улыбаясь, прихлебывал чай. На столе перед ним лежал ломоть хлеба, огурец и редька. Все это он разрезал на аккуратные равные кусочки и отправлял в рот. Казалось, происходящее в комнате так же далеко от него, как гул самолетов в разгаре дня в аэропорту зарубежной столицы.

*Роза, она старая дева (идиш).

— Знаю я, знаю. Это мне Божья кара.

— Теперь надо решать, что делать дальше, — все еще укоризненно сказал адвокат.

Взгляд его остановился на узкой железной кровати в углу под иконой. На кровати по старому русскому обычаю громоздились горкой подушки. На одной не хватало наволочки, и в ее пунцовой наготе была какая-то непристойность, срам, который хотелось прикрыть. Здесь побывал Перельмутер со своей больной печенью и гниловатым запахом, здесь елозили их тела в подтверждение беспощадной истины: в человеке заложен инстинкт, столь безусловный, что, прорвавшись наружу, он не посчитается ни с чем. А другой может прожить всю жизнь, так и не испытав его силы... Таков непреложный порядок вещей. Венера, склонившаяся над жертвой. Перельмутер.

— Вы уж постарайтесь, миленький вы мой, — привычно запричитала женщина. — Мать Пресвятая Богородица будет вам защитой, Святая Дева замолит ваши грехи.

На этот раз в качестве заступницы она выбрала родительницу Христа, будто не полагаясь на то, что святые мужского пола смогут понять ее женскую душу.

Петр проводил его до ворот. Медленным жестом он вытер ладони о штаны, очищая их от клейкой сырости огурца (причем, у него и у женщины это движение выходило поразительно похожим), достал из кармана большие садовые ножницы и срезал адвокату пригожую ветку жасмина.

— Запах его для здоровья полезный, — сказал он, улыбаясь. — Понюхал — и все беды забудешь.

В этих словах на миг, казалось, мелькнула слабая тень понимания, будто что-то пробилось сквозь слоновую оболочку, но искра тут же погасла. Петр, скромно потупившись, стоял в воротах монастыря. Выглядел он на удивление благообразно.

Ночью адвокат долго не мог заснуть, а когда под утро задремал, ему приснилось, что тяжелый бомбардировщик времен второй мировой войны должен подняться в воздух, а взлетной полосой ему служит улица, кишашая людьми. На вопрос, как это допустили, ему ответили, что все давным-давно научились увертываться от самолета и поэтому нет необходимости в специальной взлетной площадке. Проснулся он в ужасе. Будто чуть-чуть не попал под колеса.

Контакты с внешним миром протекали у адвоката по большей части довольно гладко. Иногда клиенты выходили из себя или свидетели бурно выражали возмущение, но их всегда удавалось осадить, либо обдав холодной заранее выверенной и несколько выпренокной речью, либо угрожая законом, либо опираясь на всю широту полномочий суда, а если надо, то и всего государства. В юридической практике ему крайне редко доводилось сталкиваться с безудержной животной силой, которая, сорвавшись с цепи, все крушит на своем пути. Но тут ему стало казаться, что, к чему ни прикоснешься

в этом деле, все немедленно оборачивается чем-то иным, будто в его квартиру ворвались чужие и превратили ее в ярмарку или цирковой балаган. "Веселым" оказался не только Перельмутер, все они были веселыми, какая-то развеселая братия. И только девушка жила среди них со своим несчастьем, таким несчастьем, что уважающий себя человек просто не мог на это смотреть. Не передать ли дело стажеру, подумал юрист, он помоложе, ему оно может показаться занятным, и он не станет так уж дознаваться, где здесь правда. Однако теперь уже слишком поздно, дело не передашь, придется довести его до конца. Только отныне он будет иметь дело с бумагами, а не с людьми, зарекся юрист. Нельзя так увлекаться людьми. Он велел секретарше не записывать к нему на прием никого из этой шайки. Для них он всегда занят. Он послал письмо в Московскую патриархию с просьбой выяснить и сообщить ему, еврейка эта женщина или не еврейка. Никогда в жизни он не был так уверен в правильности всего, что делает, как в тот момент, когда составлял официальные фразы письма, запечатывал красным сургучом большой конверт с фотокопиями документов и надписывал его, выводя завитки букв далекого детства. Он велел секретарше отправить пакет заказной почтой. Квитанцию он сначала положил в портмоне, потом передумал и спрятал в сейф. Теперь все в порядке, решил адвокат, механизм налажен, он не выйдет из строя, и никаких зигзагов, никаких сюрпризов, никаких "свершившихся фактов".

Пакет прибудет в Москву в мешке вместе с другой заграничной почтой, его сгрузят с самолета во Внукове. Там уже холодно, настоящие морозы. Почтари и грузчики в шапках-ушанках. Потом пакет ляжет на стол дьячка-секретаря в холодном внутреннем покое старой церкви, где пахнет ладаном и тусклым золотом поблескивают иконы, а, впрочем, нет, не обязательно, это я уж того, подумал адвокат, — это же канцелярия, там на стенах, должно быть, портреты вождей. Молодой дьяк в черном клобуке, из-под которого выбиваются кудри, передаст документы патриарху, старику в роскошных ризах со спадающей волнами бородой (раз в неделю он завивает ее щипцами в парикмахерской по соседству), на широкой груди большой крест, нос картошкой с красными прожилками, на пальцах золотые кольца. Православная церковь еще больше любит золото, чем католическая. Наверное, это память о византийском прошлом с сумеречными сводами, золотом, тайными сокровищами, рукописями и нескончаемыми кознями. И при всем этом или превыше всего — обрядами, в неземной величественности которых печать небесного царства. Патриарх возьмет ручку (интересно, есть ли у него уже шариковая) и напишет в дальние волости, а, впрочем, зачем ему писать — в канцелярии наверняка есть телефон, ведь ни Святой Николай, ни Святой Онуфрий, ни другие темнотицы позолоченные бородачи не запрещают пользоваться телефоном. Местные священники будут рыться в церковных архивах и разыщут свидетельство о крещении, самый старый из них припомнит, как было дело, а вечером сельский поп будет рассказывать бабушке, сохранившейся с тех дней, что пришло письмо из Израиля, со Святой

земли и что там хотят знать про дочь Захара и Евдокии, царствие им небесное. Дети будут выпрашивать израильские марки, но поп не даст, потому что он сам филателист.

Все это, разумеется, при условии, что Перельмутер солгал.

Православная церковь оказалась расторопной, и вот уже почтальон доставил в контору большой заказной пакет с аляповатыми русскими марками — спутники в космическом пространстве, перемежающиеся с портретами Терешковой, и с роскошными штемпелями.

Адвокат извинился перед клиентом, вышел в соседнюю комнату и, сгорая от нетерпения, распечатал конверт.

Секретариат Московской патриархии шлет ему наилучшие пожелания и с Божьей помощью уведомляет, что интересующая его гражданка — христианка, и предки ее, как по отцу, так и по матери, — доподлинные и истые православные христиане, всякое же другое мнение ложно, и да благословит Бог всех, идущих дорогой правды и мира, аминь.

На этот раз Перельмутер явился на заседание суда вместе с Розой, но велел ей сидеть в коридоре и ждать. Она уселась на стул, покорно и безучастно, хотя глазки-пуговицы не упускали ни крупницы происходящего вокруг. Мимо нее проходили неполадившие компаньоны, должники, протестующие против описи имущества, спорщики, давшие волю рукам, супруги, расторгающие брак, истцы и ответчики, в большинстве своем шумные, а некоторые — перепуганные. Роза сидела, слегка расставив ноги, и ждала Перельмутера.

Судья был строг.

— Господин Перельмутер, почему же вы ввели суд в заблуждение, утверждая, что ваша бывшая жена — еврейка?

Перельмутер понурил голову.

— Так она мне сказала, господин судья. Что мне было делать? Я и поверил. Разве ж у всех, кто вам скажет чего, потребуешь документ?

Адвокат поспешил закрепить победу.

— Итак, господин судья, женщина — нееврейка, отчим — нееврей, и, стало быть, нет никаких оснований задерживать постановление об удочерении, которое наконец определит статус девушки.

— Я согласен, — попытожил судья. — Господин Перельмутер, если вам больше нечего сказать суду, вы можете идти.

— Я больной человек, — сказал Перельмутер, — и все эти переживания...

— Это для вас наилучший выход, — не удержался адвокат, чтобы хоть немного не свести счеты. В коридоре вас ждет жена. Она о вас позаботится. Берите ее и езжайте домой.

— Я тут ни в чем не виноват, — сказал Перельмутер. Его лицо отливало желтизной. — Честное слово. Я верю тому, что мне говорят. А иначе как же жить на свете?

Он вышел, едва волоча ноги. Двери еще не закрылись, когда послышался его короткий окрик:

— Роза! Роза! Кум а-эр!*

Ступай, возвращаясь в свой квартал Копель, приятель, про себя напутствовал его адвокат, к кефиру и майке, к своей алте мойд, к своей пуговичной греховоднице, галантерейщице, праведнице со слегка расставленными ногами. Интересно, видел ли ее кто-нибудь без брошки и без серег. Ступай с глаз долой.

Дальше все пошло как по маслу. Женщину вместе с дочерью и Петром вызвали в канцелярию судьи. Постановление об удочерении было подписано и заверено. Петр, огромный, неуклюжий и лучезарный, долго жал руку адвокату и порывался пожать руку судье, но тот отличался повышенной чувствительностью и не выносил прикосновений. Петру было не до таких тонкостей, и он удовлетворился тем, что сжал в своих ручищах угол судейского стола. Дочь в обнимку с матерью благодарили адвоката и благословляли его на смеси двух языков до тех пор, пока он не выпроводил их из кабинета, подталкивая и понукая, как пастух, сгоняющий стадо с проезжей дороги. Перельмутера с Розой было не видно. Должно быть, они уехали домой. И хорошо, подумал юрист, нельзя смешивать разные породы, разные веры, разных людей. Это и приводит к сумятице, к хаосу, к столпотворению.

Вернувшись в контору, он позвал стажера и рассказал ему всю историю, а потом от избытка одного из самых приятных чувств — удовлетворения, пригласил его обедать в ресторан на втором этаже, где готовили по-домашнему. В мире все стало на свои места.

Во второй половине дня в дверь адвокатской конторы забарабанило сразу несколько кулаков. Створки распахнулись прежде, чем секретарша успела подойти к дверям, и в комнату вломилась огромная охапка красных аляповатых роз, одна в одну, как подбирают в цветочных магазинах, с неизменными веточками жимолости, целлофаном и серебристыми лентами. За ней выплыла коробка конфет — такие секретарша видела прежде только на витринах и была всегда уверена, что это муляж для рекламы. Все это и еще пакеты и свертки несли четыре человека: Петр, женщина, дочь и Перельмутер. От них пахло вином, несло гулянкой, раскатившейся вкривь и вкось. Дочь держала в руках большую хрустальную чашу грубой работы, щедро отделанную золотом сверху и по бокам. В чаше плавала тяжелая золотая ложка, выглядевшая на редкость православно. В свободной от цветов руке Перельмутер нес бутылку коньяка, другая бутылка, почти пустая, выглядывала у него из кармана. Уму непостижимо, куда они подевали Розу, подумал адвокат, но понял, что от них, в теперешнем их состоянии, ответа на этот вопрос не получишь.

*Иди сюда! (идиш).

Они ввалились в кабинет, когда он как раз вынимал из сейфа ценные бумаги. Оторопев, он едва успел захлопнуть сейф. Они усадили его, завалили приношениями и затянули:

— Многи лета, многи лета!

— Выпейте с нами, миленький, выпейте, ну пожалуйста, — запричитала женщина, ставя перед ним коньяк.

— Из хрусталя да из золота, — зашебетала дочь и, обращаясь к Петру, скомандовала. — Папа, давай.

Перед адвокатом поставили хрустальную чашу, налили коньяка и, как он ни отнекивался, заставили выпить. Каждый из них в свою очередь отхлебнул из бутылки, явно не первой.

— Но, господа, вы же находитесь в присутственном месте. Я вам очень благодарен, но нельзя же...

— Многи лета, многи лета!

— За здоровье нашего господина адвоката!

— Думаете, я не умею молиться по-еврейски? — все распаяясь, кричала женщина. — Еще как! Шма исроиль, адонейну злоейну*.

— Амен, амен!

Петр подскочил к секретарше, застывшей в дверях, и, как истинный гусар и джентельмен, предложил ей руку.

— Пойдем, сестричка, — пропел он по-русски, — пойдем, выпей с нами, у нас сегодня радость.

Охапка роз упала на пол. Перельмутер попытался поднять их, но у него закружилась голова, он сел на пол и, глядя на розы, залился смехом. Девушка протянула ему руку:

— Папа, вставай сейчас же, так некрасиво.

Значит, оба они ей папы. И тут у адвоката екнуло сердце — он заметил, что большой палец девушки, короткий и загнутый молоточком — точная копия перельмутеровского. Будто отлитые по одной форме. Адвокат окончательно потерял нить. В глазах у него поплыло.

— Наш господин адвокат — душка! — на иврите прокричал Перельмутер с ковра.

Женщина перекрестила адвоката.

— Пусть уж ваш Мессия приходит, тогда все на свете будут как братья.

— Капитан, капитан, улыбнитесь, — басом запел Петр. Голос срывался и Петр явно фальшивил. — Ведь улыбка это флаг корабля!

— Наш господин адвокат — душка! — опять закричал Перельмутер и, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, поднялся на ноги.

— Израиль — душка! — сказала дочь. Она сняла жавшие ей туфли, но не выпускала их из рук.

— Капитан, капитан, подтянитесь. Ведь только смелым покоряются моря!

*Строка из ежедневной молитвы, которую героиня рассказа произносит на ашкеназском варианте иврита, коверкая слова.

— Выпейте, миленький мой, выпейте, — просила женщина, утирая слезы.
— Не бойтесь, тут все свои.

Адвокату пришлось выпить еще. Голова совсем пошла кругом.

— Вызвать полицию? — спросила секретарша, улыбаясь во весь рот.

— Нет, нет, не надо, они успокоятся сами, сейчас успокоятся. Только, если можно, немного воды...

Бюст гипсового Вейцмана, стоявший на столе адвоката, упал и разбился.

— Что же вы наделали, родненькие, — раскудаhtалась женщина. — Пришли поблагодарить господина адвоката, а вместо этого пакостите. Стоял у него Ленин — хорошенький, беленький, а вы побили, побили его, безобразники.

— Мы ему купим статую, — сказал Петр. — Мы ему купим десять статуй.

— Наш господин адвокат — душка! — на иврите прокричал Перельмутер с ковра.

— В Канаду! В Канаду! Выпьем за Канаду!

Опьянение было прозрачным и светлым. Адвоката подняло и закружило, как в те далекие дни, когда его, ребенка, распыленного обидой и желанием отомстить, брыкающегося, подхватывали и отрывали от земли руки высокой смеющейся матери, и он становился совсем беспомощным. Равновесие нарушалось, и в этом странным образом сочеталось нечто постыдное с чем-то умиротворяющим. Тонкие взвизгивания женщин звучали как ангельские голоса, запах коньяка, звон бокалов, глянцевоый блеск целлофана, неуместно изысканный запах роз — все это сливалось в теплую, сладкую, слепую волну, и в том, что он отдавался ей, было что-то непристойное, но устоять не было сил. В этот момент ему стало пронзительно ясно, что есть кто-то, кто понимает все это лучше него, но кто этот понимающий и что "все это" он понимает, он не знал. Его окружали улыбки и теплота, будто необъятный мир взрослых, прекрасных и всемогущих принял его, провинившегося ребенка, и обласкал, простив ему все, но в чем состояла его собственная провинность, он, хоть убейте, вспомнить не мог. Было приятно чувствовать себя беззащитным, приятно, затаив дыхание, чего-то стыдиться, и потому он уступал им во всем, пил, когда наливали, подставлял свои близорукие глаза, отвечал улыбкой на улыбку. Грехи ему отпустили. Но какие грехи? Все равно. Он готов признаться во всем. Мир за пределами его мира был намного шире и привлекательнее, чем он полагал. В этом мире все будет учтено — и он, и все его логические построения. Все было ошибкой, и все прощено. Ему поднесли еще, и он выпил старательно и целеустремленно. На глаза навернулись слезы благодарности. Адвокат встал. Колени слегка дрожали.

— Друзья, я вам очень признателен, спасибо вам от всего сердца, но сейчас вам пора уходить, час не ранний...

Все четверо перецеловались с ним. Каждый, оставляя после себя сильный запах коньяка и веселья, поцеловал его трижды — в правую и левую щеку, и опять — в правую. Казалось, они не уйдут никогда. То один, то другой то и

дело возвращался от двери, благодарил, жал руку. Перельмутер опять полез целоваться.

— Мы ведь мешаем, будет, пойдем, — возвестил архангел Петр. Они наконец ушли, и их оживленный гомон еще некоторое время поднимался вверх из пролета.

Из агентства газетных вырезок выглянул служащий и сказал:

— Поздравляю, не знал, что у вас день рождения.

И в голосе его были одновременно ехидство и зависть. Секретарша прыснула.

В кабинете остались осколки бюста, пучок роз на ковре и хрустальная чаша с золотой ложкой. Адвокат опять подумал, что в жизни ему не приходилось видеть более безобразной вещи.

— Видите эту чашу? — спросил он секретаршу. — Так забирайте ее себе.

— Но ведь она дорогая, — сказала секретарша, боясь упустить свое.

Адвокат отмахнулся.

— Берите, берите, мне она ни к чему. И уберите розы. Здесь не уборная примадонны.

В кабинете наконец было прибрано, и можно было запирать. У адвоката разболелась голова. Он даже забыл купить сыр Каценбаху. Машина завелась не сразу. Домой он пришел уже с невыносимой головной болью и чувством вселенского всепрощения. Открыл подаренную огромную коробку шоколада, но оказалось, что от старости шоколад побелел и крошился под руками. Конечно, кто покупает такие коробки? Наверное, простояла на витрине лет двадцать. Он собрал все и понес выносить в мусорное ведро. Стоило ему наклониться над ведром, как его вывернуло. Нет, эти острые ощущения не для меня, думал он, укладываясь в кровать без ужина и без души. Завтра новый день. Завтра все будет иначе.

Он уже задремал, когда вдруг откуда-то из живота начал подниматься смех. Он проснулся, сел на кровати и захохотал во все горло. Смех, пьяный лишь наполовину, все прибывал и усиливался, как дождь после долгой засухи. Каценбах, спавший в ногах, удивился, прыгнул с кровати и удрал на кухню.

— Все-таки интересно, как им удалось отвязаться от Розы, — громко сказал он в темноту.

Смех накатывал на него волна за волной. Все продолжая смеяться, он широко и облегченно зевнул, лег и заснул как убитый.

С иврита. Перевел Владимир ФЛАНЧИК.



БИБЛИОТЕКА - АЛИЯ

ALIYA LIBRARY

КНИГИ

ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

"Библиотека-Алия" — крупнейшее русскоязычное издательство — публикует книги, посвященные различным аспектам еврейской культурной, религиозной и общественной жизни.

В каталоге издательства — сочинения крупнейших современных писателей, труды идеологов еврейской политической мысли и национального возрождения, мемуарная проза, исторические и мемуарные исследования.

120 КНИГ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Стоимость каждой книги \$5.
Каталог высылается бесплатно.

Заказы на имя Aliya Library направлять по адресу:

P.O.B. 8383, Jerusalem 91083.

Ицхак МЕРАС

Сара

Роман

32.

Звонили внизу, у входа.

Она бы, может, и не двинулась с места, пусть звонят, но, снова почуяв запах масла, взглянула на лоснящийся край халата, на темное жирное пятно и улыбнулась про себя.

Все еще улыбаясь, одернула, пригладила зеленую тонкую свою одежду, словно самое нарядное платье, и пошла к двери, потому что звонки с короткими перерывами продолжались.

Она подняла трубку, но ничего не сказала, не спросила, кто там, только кнопку нажала.

Услышала жужжание электрической задвижки и щелчок открывшейся двери.

Может, и подъехала чужая машина, когда она в спальне стояла перед зеркалом. Может, не слышала она.

Или слышала?

Она стояла у двери и ждала, пока лифт сперва спустится, потом подыдется, а тогда уже позвонят в дверь квартиры.

И когда позвонили, открыла дверь, снова ничего не спросив, не глянув в дверной глазок.

И засмеялась даже.

Разве от судьбы убежишь, захлопнешь дверь перед нею, когда нет для нее ни дверей, ни окон, есть она, судьба, есть, и все; не приходит, не уходит, не возникает, не исчезает, вместе с тобой она, и убежать от нее — лишь руки на себя наложить, но и это судьба ведь, твоя судьба: пока ты есть, и она с тобой,

а когда не будет тебя — так что за важность? Тогда уж вообще ничего не важно.

И в самом деле...

Она увидела черную армейскую туфельку, ступившую на порог, и серо-зеленый подол, скользнувший в дверь.

— Где ты была? — спросил молодой знакомый голос.

Она подняла глаза и увидела перед собой Мару, солдатку Мару, только ее одну и больше никого.

Она тут же захлопнула дверь.

Захлопнула за спиной Мары.

Подождала.

Никто не стучался.

Одна пришла.

— Где ты была? — повторила Мара. — Я тебя целый день ищу, думала, может, Бог знает что случилось, может, ты болеешь?..

— Я не болею, — ответила она.

Серые глаза Мары, такие громадные на исхудалом личике, лихорадочно метались, брови безостановочно шевелились, вздрагивали, и вместе с ними прыгала живая черная линия — будто по лбу мазнули густой сажей. Эта линия косо пересекала лоб, и когда брови поднимались, кожа морщилась и черная полоса то ломко сжималась, то выпрямлялась, вытягивалась, и Сара подумала, откуда столько морщинок, пускай неглубоких, мелких, на лбу этой девушки, совсем еще девочки.

— Ты, правда, здорова?

— Здорова.

Шаг за шагом приближаясь к середине гостиной, они прошли мимо распахнутой двери кухни, и Мара увидела нарезанный хлеб и еще блестящую от жира сковороду.

Задержалась. Понюхала воздух, как щенок, наморщив лоб, понюхала снова.

— Я тоже хочу яичницу! Можно?

— Конечно, — ответила Сара.

Она поспешила в кухню, захлопотала, засновала между плитой и холодильником.

— Хочешь умыться? — спросила.

Она все время видела черную жирную линию на лбу у Мары.

— Да, да...

— Иди в ванную. Я тебе дам халат.

33.

Они сидели в кухне.

На столе дымились яичница.

По-прежнему стояли две бутылки: красная, бархатная, и другая — с шотландским виски.

— Ты знаешь, — говорила Мара, уплетая яичницу, — когда вас не было дома, мы со Шмуликом...

— Да?

— Ты не будешь сердиться?

— Нет.

— Мы здесь пир затевали...

— Пир?

— Ага. Яичницу жарили, садились тут, вот как мы с тобой, друг против друга, только не зажигали свет, а две свечи в тяжелом серебряном подсвечнике. И... ты не сердишься?

— Нет, нет, рассказывай.

— Мы пили твой красный ликер и виски. Шмулик — виски, а я — ликер. Он такой вкусный, я и сейчас бы выпила. Можно?

Сара, улыбнувшись, налила Маре.

Мара отхлебнула глоток.

— А потом мы шли в гостиную. Приносили туда бутылки, рюмки, подсвечник со свечами. И знаешь, все цветы и деревья на картинах шевелились, качались, как живые, а мы, разувшись, танцевали босиком. У вас такой мягкий, нежный ковер, ты даже представить себе не можешь...

— Да, — сказала Сара.

Мара вдруг посмотрела на нее. Отложила хлеб с маслом, отодвинула тарелку и посмотрела большими серыми глазами.

— Почему ты ничего не рассказываешь? Что Шмулик сказал? Когда он звонил?

— Он... не звонил еще.

— А может, звонил? Может быть, тебя дома не было?

— Может быть.

— Ты же не всегда дома ночуешь. Или всегда?

— Не всегда.

— Мог написать хотя бы, — сказала Мара. — Мог. Все те же четыре слова, как обычно, только четыре — обнимаю, поцелуй Мару, Шмулик.

Сара встрепелась.

— Да, он написал, конечно!..

Побежала в гостиную и тут же вернулась:

— Вот!

Мара схватила бумажку, разгладила ее в руках и вслух прочитала:

— Обнимаю, поцелуй Мару, Шмулик.

Потом, закрыв глаза, вытянула ноги, откинулась на спинку стула и сказала:

— Хочешь, я тебе посуду помою?

— Конечно... Только я буду помогать.

— Нет, нет, не надо. Ты не думай, я привыкла работать. И майору помогаю, если нужно. Пожилой человек, а посуду мыть не может! Это, конечно, не входит в мои обязанности — посуду мыть, я обязана только возить его. Я шофер, водитель... Просто иногда я его жалею.

— Женатый? — вдруг спросила Сара.

— Холостой. Старый холостяк, лет на десять старше меня.

Она убирала посуду со стола и осторожно ставила в раковину. Только две бутылки на кухонном столе остались.

И еще осталась записка Шмулика.

Она протянула руку, чтоб еще раз прочесть те четыре слова, но Сара снова спросила:

— Красивый?

— Кто?

— Ну, этот...

— Майор?

— Ага.

— Гм... Знаешь, пожалуй, красивый.

— И хороший?

— Гм-м. Другой бы на его месте... знаешь...

— Знаю.

— Я даже раз подумала: ну и что? Что тут такого, если ему до смерти хочется переспать со мной?

Сара молчала.

— Да... Только он так ни о чем и не догадался.

— Жаль, — тихо сказала Сара.

— Что?!

— Может, он тебя любит?

— Любит? Ты еще скажешь, что Шмулик тоже кого-то любит? Или ложится с кем попало? Да? Да?

Она отвернулась.

И вздрогнула всем телом, потому что жесткий Сарин ответ прополз, прокатился ледяной каплей по горячей спине:

— Не знаю.

— Не знаешь? Ты не знаешь? А может, знаешь?

И смолкла.

Надо было посуду мыть.

Повернула двумя руками кран. Ей хотелось, чтобы оттуда хлынула большая струя. Она бы и лицо подставила.

Только не было воды.

Мара крутила, крутила кран, отвернула до самого конца, но лишь косая узкая струйка вытекла и засвистели, заныли жалобно трубы.

— Придется ждать теперь. Что же ты не сказала?

— Я сама не знала.

— Ничего... Я привыкла ждать...

Потом стало тихо.

— А может, ты что-то знаешь? — вдруг обернулась Мара. — Может, знаешь? Может, он правда нашел другую? Нашел? Скажи!

— Война... Откуда мне знать? Не знаю.

— Неправда! — крикнула Мара. — Вот, вот, смотри!

Схватила записку, разгладила на ладони.

— Вот! — сказала и осеклась.

Записка показалась как бы знакомой.

Она вертела в руках бумажку и никак не могла понять, в чем дело, пока не заметила потемневший край надорванного уголка.

Сразу после начала войны, может, на второй или третий день, она так же, как сегодня, забежала сюда и нашла на двери записку с темным уголком, приколотую трехзубой кнопкой.

Теперь уголка уже не было, остался только потемневший краешек.

Мара посмотрела на свет и увидела следы кнопки — три узких дырочки.

Вытянув руку, она смотрела на клочок бумаги, пугливо дрожавший на ладони, и вдруг поняла, что когда-то видела эти синие строчки, уже читала эту записку раньше, когда было еще спокойно и никто не думал о войне, — эту самую, только целую, не надорванную, и без темного краешка.

Тихо как кошка подкралась, присела перед Сарой, по-прежнему сидевшей за столиком, и прошипела в лицо ей:

— Хоронишь? С первого дня войны похоронила?

— Течет... вода-то... — сказала Сара, глядя мимо Мары, поверх ее плеча, на кран.

Из крана текла витая бурая струйка.

Трубы где-то ржавеют, подумала она. Замуровали и бросили. Никому нет дела. А может, не трубы. Может, бак, может, это напорный бак на крыше ржавеет. Может, и бак. За ним ведь тоже никто не смотрит.

— И ты не волнуешься? Не боишься... за сына... Может, где-то истекает кровью... Может... может, в плену... с отрубленными руками... раздробленными ногами... А вы... ты с Йоной... яичницу жрете, пьянствуете!..

— Йона не приходил еще, — по-прежнему глядя на текущую из крана бурую струйку, сказала Сара.

Мара встала:

— Да, правда... Ты говорила...

34.

— Да, я говорила... Правда, — повторила за нею Сара.

— У тебя есть... друг?

Она покачала головой.

Мара минуту молчала, тяжело думая о чем-то своем.

— Скажи мне правду... Шмулик был? Приходил? — спросила она. — Он меня больше не хочет знать?

Сара вновь покачала головой.

— Так почему здесь две бутылки?

Сара не ответила.

— И откуда этот солдатский запах масла?

Сара молчала.

— Неужели ты?.. — выдохнула Мара и поперхнулась словом.

Будто ей рот зажали.

А когда наконец обрела дар речи, сказала ясно, громко, холодно:

— Гуляешь?

— Ага...

Мара навалилась крепкой девичьей грудью на малый кухонный столик, и ее прямой тонкий носик нацелился в лицо Сары:

— Муж на войне, сын на войне, а ты... со стариками-резервистами валяешься? Господи...

Ответа не было.

Но она и не ждала.

— И меня тому же учишь? Жаль, говоришь, что я с майором не переспала, да?

Мара на миг умолкла, потом опять завелась:

— Это тебе, тебе жалко! Мне-то не жаль. Я молодая! Тебе жаль, тебе, тебе, тебе, потаскуха. Состарилась! Что может быть непотребнее старой шлюхи!?

Мара замолчала. Схватила бархатную бутылку, и красное горлышко глухо застучало о край глиняной чашки.

Одну чашку подвинула Саре, другую сама схватила обеими руками.

— Выпьем, да? За свободную любовь!

Надо же, какие девчонки пошли крикливые, подумала Сара, берясь за чашку. И чего они такие горластые, почему?..

То ли потому, что молоды.

То ли потому, что солдаты?

35.

Почему она сказала этой девочке, которая снова стоит перед нею, молча размахивая руками и беззвучно открывая и закрывая рот, почему сказала ей, что Йона не приходил, — и сама не знала.

Вчера с ним встретилась.

Сегодня рассталась.

Сидели за столиком.

Вдвоем.

В бистро возле моста Сен-Луи, на нижнем острове, может, и само бистро называлось Сен-Луи, и длинная, узкая, прямая улочка — чего доброго, тоже Сен-Луи — шла через весь остров. Вчера вечером бродили по этой улочке, прошли ее из конца в конец — зигзагом, от одного тротуара до другого и обратно, потому что через каждые несколько шагов светились витрины, широкие и узкие, яркие и тусклые, а на витринах были выставлены какие-то платья, ремни, галстуки и картины, картины, и чернели на разноцветных карти-

нах и афишах имена незнакомых художников, а прохожих не было, странно, им не встретился ни один прохожий, только возле еще открытой лавочки, без окон, без дверей, — может, так казалось, а может, было так и на самом деле, — пожилая женщина покупала сыр, которым была буквально забита вся лавчонка: на стеллажах вдоль стен и на широченном прилавке, занимавшем чуть ли не всю ту лавочку и выпиравшем на тротуар, громоздились сплошь одни сыры, желтые, красные, белые, зеленые, покрытые серыми или зелеными прожилками головы сыра, а был еще сыр в коробках — продолговатых, овальных, квадратных, и они остановились у прилавка и, показывая пальцем, купили кусок одного, другого и еще третьего сыра, а потом еще три пестрых коробочки с серебряными кубиками, где на этикетках смеялись коровы — красная, зеленая и синяя, потому что, наверное, очень вкусными были сырки у этих смешливых коровок.

Они сидели за малым столиком, таким же, как здесь, на кухне, и скатерть была такая же, из грубого, небеленого льна, сероватая, со светлой кромкой по краям, и за окном виднелся мост Сен-Луи, а сразу за мостом — маленькая колокольня, которой никто не замечал или не хотел заметить, чудесная звонница во двореке за спиной Нотр-Дам, еще более красивая, чем сам собор, хотя, может, только ей так казалось, а другим — нет.

Перед ней сидел человек, почти незнакомый и такой знакомый, Йона, тогда еще Иоганн, почти совсем седой, только виски были чуть темнее, и это шло ему: седой ежик, темные баки и какая-то пегая борода, мягкая, словно шелковая, и смешная, как взъерошенный котенок, который не царапал, а щекотал ей лицо, и шею, и грудь, и она, запустив руки в бороду, гладила его волосатые щеки, а он нагибал, поворачивал голову и целовал ей сначала одну ладонь, потом другую, а затем поднял рюмку.

Йона глядел на нее, подняв рюмку с любимым своим, совсем не мужским напитком, таким сладким, красным ликером, сиявшим прозрачно, ясно.

Красная рюмка сияла, а глаза, глядевшие на нее, были поблекшими, усталыми.

Они улыбались, то расширяясь, то сужаясь под сонно смыкавшимися и размыкавшимися ресницами, а она всеми пальцами гладила волосатые щеки и тихо смеялась, потому что и сама устала, конечно, и у самой смыкались глаза, и, наверное, зря они вышли из гостиницы, не надо было вставать, надо было спать до утра, но он волновался, ему хотелось выйти, отпраздновать с ней этот вечер, обыкновенный вечер, вроде бы, ничего в тот вечер не было.

Или было?

Они поехали на улицу Сен-Дени.

Ну и что?

Ему очень хотелось, чтобы она побывала с ним на Сен-Дени.

И они поехали.

Ну и что?

Так что же?

Он хотел, чтоб она увидела.

Она увидела.

Потом они вернулись в гостиницу.

В постель.

И любили.

Как в Ницце. А может, может, он любил ее еще жарче. И она забыла о Сен-Дени.

Подумаешь, Сен-Дени.

Ну и что?

Это была его улица. Много лет.

Так он сказал.

Хотел, чтоб она увидела.

Увидела.

Ну и что.

Правду сказать, до того она даже не слышала о Сен-Дени, слыхала только про Плас Пигаль.

Когда они двинулись из Ниццы в Париж, она решила, что надо непременно пройтись по Плас Пигаль — побыть туристами, повидать кипящий, бурлящий водоворот.

И действительно, все сияло и сверкало вокруг, но блеск этот был какой-то неживой, как и тени — серые, а не черные, и как люди, которые двигались слишком медленно или неестественно быстро, словно заводные игрушки.

Правда, где-то в переулке алели над невысокими крышами домов гигантские знакомые буквы GRAND MARNIER, но они были далеко, и свет их не падал на площадь.

Потом уже, насмотревшись на всевозможные фаллосы, пластмассовые, резиновые, одинарные и двойные, морщинистые, розовые, а также на кукол с закрытыми и раскрытыми пунцовыми ртами, она увидела вращавшиеся посреди бульвара крылья ветряной мельницы — MOULIN ROUGE, затерявшиеся среди цветных фотографий, на которых лежали, сидели, стояли во всяких позах мужчины и женщины, женщины и мужчины, по-двое и по нескольку сразу, и какие-то темные личности хватили за рукав, совали билеты и зазывали куда-то внутрь, внутрь, в какой-то искусственный, ненастоящий мир.

И не видно было ни одной проститутки.

На проституток поглядела бы — хоть что-то живое.

Она потянула его на другую сторону улицы, заметив отирающиеся у стен фигуры.

— Слишком они нарядные, эти женщины, — сказала она, и Иоганн рассмеялся.

Потому как это были мужчины.

— И эта тоже? — спросила она.

— Да.

— Но вот эта уж точно женщина, — сказала она.

— Нет.

Ей стало грустно.

Что же тут настоящее?

Где?

Неужели и тот мулат? Высокий, стройный молодой человек с высоко поднятой головой и красивым блестящим лицом, элегантно одетый и так по-женски семенящий по тротуару в сопровождении двух полицейских...

И мулат этот тоже?

Она обрадовалась, сев наконец в такси.

И еще больше обрадовалась, когда машина остановилась в темном переулке, ведущем к улице Сен-Дени.

Тут не было света, не было блеска. По одну сторону — длинная, глухая кирпичная стена с облупившейся штукатуркой, в конце — высокий деревянный забор, покосившийся, продавленный, с потрескавшимися, почерневшими досками, а по другую сторону полутемного переулка — женщины.

Настоящие, живые.

Они стояли, прижавшись плечом к стене или прислонившись к двери; через каждые несколько шагов — женщина.

Сен-Дени была реальной, осязаемой, настоящей.

36.

Они медленно шли по мостовой.

Она ни о чем не спрашивала.

Он ничего не говорил.

Но вот он остановился.

Перед закрытыми коричневыми ставнями, на всегдашнем своем месте, склонив голову набок, стояла Матильда.

Иоганн взмахнул рукой, приветствуя ее, она улыбнулась, но не двинулась с места, лишь покосилась на пришедшую с ним женщину, снова улыбнулась ему и тут же опустила глаза.

Потом исподлобья еще раз глянула туда, где стоял Иоганн, как бы желая убедиться, что его там нет.

Иоганн все еще был там.

И Матильда опять потупилась.

Он стоял неподвижно, глядя на нее и не видя, как она покосилась на него, потому что смотрел на ее глубоко открытую грудь, на голые гладкие бедра — юбчонка далеко не доходила до колен — и думал, что она, Матильда, всегда в такой коротенькой юбке одного и того же покроя, может, только цвет иногда менялся за эти пять лет, незаметно светлея или темнея, но все та же неизменная форма зимой и летом, а зимой ведь, наверно, холодно ждать, стоя почти неподвижно у стены, перед коричневыми закрытыми ставнями.

Наверно.

Конечно, холодно.

В этот раз по дороге в Ниццу он лишь ненадолго остановился в Париже и

не был на Сен-Дени. На ночь отельный лифтер прислал ему девушку, молодую, с маленьким личиком, большими глазами и длинными ногами, может быть, горничную при той же гостинице, а может, и нет, какая разница, и он не слишком ей докучал, и она была рада, во всяком случае так ему показалось, и он уехал, даже не спросив, как ее звать, уехал, так и не наведавшись к коричневым ставням.

Может, потому, что пять лет — немалый срок, и он боялся, что она, Матильда, вдруг спросит:

— Ты еврей?

И если он промолчит, она снова спросит:

— А не еврей — так почему обрезанный?

И если он опять не ответит, она будет долго допытываться:

— Ты еврей? Еврей?

Так в Гамбурге спрашивала Милда. Тонкая Милда, которую он и обнять-то боялся слишком сильно — такой хрупкой была она, Милда.

Так спрашивала во Франкфурте Ирена, толстозадая Ирена, которая так прижимала его к своей пышной груди, что дух захватывало, трудно было шевельнуть рукой или плечом, и хорошо ему было в тисках ее объятий.

Так спрашивала Эрика. В Берлине? В Кельне?

Но еще раньше, давным-давно, была Ирма, она была первой, и она тоже спросила, шестнадцатилетняя волоокая Ирма, когда они, спрятав свои потрепанные портфели в кустах под забором школы, пошли окольной дорогой к лесу и легли там в папоротниках, и он впервые познал женщину, и молча лежал, глядя на белые облака, плывущие по синему небу, испуганный, обессленный и счастливый.

А потом он все время думал, откуда Ирма, шестнадцатилетняя голубоглазая Ирма, — он еще боялся обидеть, оскорбить ее, лежа с нею, — откуда гимназистке Ирме было знать про такие вещи, и как она могла разобраться: обрезанный он или нет?

Мальчишки — другое дело. Друзья, одноклассники, с которыми он никогда не купался без трусов. Мальчишки могли знать, они-то видели, понимали.

Но Ирма?

Он отправился в Ниццу, так и не побывав в Сен-Дени, хоть и привык — пять лет подряд, трижды в году, в одно и то же время, на Пасху, в середине лета и под Рождество.

Долго.

А может, нет.

И все-таки...

Слишком долго.

Он стоял посреди улицы, смотрел на привычную, знакомую на ощупь юбочку Матильды, не видя, как она поглядывает на него, хоть это запрещено, и радовался, что по дороге в Ниццу не задержался в Париже.

На этот раз он был действительно счастлив.

Он хотел быть счастливым, и поэтому привел Сару в Сен-Дени. Хотел

показать ей этот темный, замызганный переулок, куда ходил пять лет подряд, по три раза в году, и Матильду — проститутку с улицы Сен-Дени, с ее крупной, высокой грудью, с оголенными гладкими бедрами.

37.

И она увидела.

Здесь все было так просто, естественно, что она вдруг смутилась.

Она чувствовала неловкость, оттого что пришла сюда любопытства ради: не пристало любопытничать тут, где все так просто и ясно.

Особенно женщине.

Ей — особенно.

Бросив Иоганна у закрытых коричневых ставень, она устремилась прочь, чтобы скорей бежать от этого переулочка, но вдруг ей стало стыдно самой себя.

Она остановилась, перешла на другой тротуар и прислонилась к длинной глухой стене, там, где не было женщин, — они все были на той стороне, напротив.

Она прижалась спиной к стене и стояла там, одна, против длинной шеренги уличных девушек Сен-Дени; впрочем, не одна, потому что они были здесь, рядом, на другой стороне, в том же малом мире — они все были вместе с ней, и она была лишь одной из них.

Проститутка с улицы Сен-Дени, она стояла и ждала, прижавшись спиной к глухой стене.

Она предлагала.

Ждала, что кто-то придет и купит.

Ждала, еще не зная, какую плату возьмет с него.

Франки?

Доллары? Маленькие зеленые доллары?

Один доллар — сколько это французских франков?

Израильские лиры? С изображением Герцля, Вейцмана или Бен-Гуриона? Какой сегодня курс лиры в других деньгах? В английских фунтах? В немецких марках? Голландских гульденах? Японских иенах? Или еще в каких-нибудь?

Почем сегодня еврейские деньги?

Может, лучше просить швейцарскими франками? Или иенами? Или немецкими марками, разумеется, западными, тоже хорошая, стабильная валюта.

Если не деньгами, то чем потребовать плату?

Телом?

Душой?

Признанием в любви?

Клятвами вечной любви и верности?

Детьми?

Мальчиками? Сыновьями?

Или лучше девочками?

А девочки что — не солдатки?

А может, никто ее не заметит, не позарится, может, так и не найдется желающих, может, так и простоит она, глядя в землю, потому что проституткам возбраняется соблазнять, задевать, заговаривать с мужчинами, и они пройдут мимо — все, и Давид.

Нет, Давид не пройдет.

Он заметил ее.

Остановился, посмотрел на нее.

Потом приблизился и шепнул что-то на ухо, как это принято здесь, в районе улицы Сен-Дени. Здесь все говорят шепотом.

Он спросил, и она ответила, тоже тихо.

Спросил цену?

Что она запросила?

Неважно.

Они поладили.

Это было, наверно, вечером или в ночь на Судный день, и они шли, брели, взявшись за руки и ступая босыми ногами по песку, поднимались в гору, туда, где стояло дерево, одинокое и потому еще более прекрасное, на вершине дюны, самой высокой дюны, ветвистое дерево, и луна светила, блестели звезды, потому что была безоблачная ночь, хоть и приближалось время дождей.

В тот день в Париже шел дождь.

Зарядил с утра.

А им было все равно, что шел дождь.

Они вернулись в гостиницу, в постель. И любили друг друга.

Она старалась забыть и забыла Сен-Дени.

Неважно.

Сен-Дени.

Его улица?

Он хотел, чтоб она увидела?

Увидела.

Ну и что?

Они любили долго, устали, и веки смыкались, лучше было бы не вставать, а так и спать до утра, но ему хотелось отпраздновать этот день, этот вечер, хотя, вроде бы, ничего особенного не было.

Или было?

Его борода была смешная, пегая, и она запустила пальцы в эту черно-белорыжую бороду и гладила его волосатые щеки, а он поворачивал лицо в одну сторону и целовал ей одну ладонь, потом в другую — и целовал другую.

Они сидели за столиком в крохотном бистро у моста Сен-Луи.

Она подняла глаза.

— Соскучился я, — сказал он шепотом, — истосковался... По человеку... просто по теплу человеческому...

— И я, — сказала она.

— Мы теперь будем вместе? Всегда? — спросил он.

— Если захочешь, — ответила она.

— А... то, что я... немец?

— Ты не немец.

— А кто же?

— Еврей.

— Потому... потому что я... у меня...

— Нет, — ответила она. — Глазами своими. Душой. Весь ты.

Он помолчал, подумал и рассмеялся: до того вдруг все стало просто.

Он — еврей?

Не немец обрезанный, а еврей?

Еврей в душе? Во всем? Весь?

Может быть...

А почему бы и нет?

Почему?

Она снова гладила его бороду.

— Счастливчик, таким родился.

Он схватил ее руку, до боли стиснул ладонь.

— Я действительно счастлив.

— И я, — сказала она. — Разве это запрещено?

— Нет, — ответил он. — Но мне не верится. Я все еще боюсь, не смею поверить.

— Не бойся. Почему мы должны бояться?

Они сидели за маленьким столиком, накрытым серой скатертью из грубого, небеленого льна со светлой кромкой.

И стояла бутылка, одетая в красный бархат.

А столик стоял на кухне, где все было белое — стены, холодильник, плита, раковина, только скатерть на столике была серой.

38.

Почему она лгала Маре?

— Изменяет, подлец, да?

— Изменяет.

— С разными или одну завел?

— Одну.

— Солдатку?

— Солдатку.

— Ты точно знаешь?

Сара не ответила.

— Ты видела ее?

Сара молчала.

— Приводил ее в дом?

Она смотрела на Мару, прямо в глаза смотрела, но видела не ее, видела сына, обнимавшего какую-то чужую, незнакомую ей солдатку.

А может, и знакомую, только, может, не помнит она, забыла?

— Ну скажи, скажи!

Но Сара молчала.

— Привозил ее с собой? В отпуск? Чтобы на кровати спокойно с ней поваляться? На свежей простыне? Она что — красивее меня? Моложе? Лучше? Блондинка? Рыжая? Крашенная, наверно, да?

— Не помню...

Она и впрямь пыталась, очень хотела разглядеть ту солдатку, с которой сын обнимался, но не могла разобрать ни черт лица, ни цвета ее волос. Солдатка как солдатка — все они одинаковые, похожие, совсем не как люди, солдаты и только. Солдаты.

— Солдатка, — сказала Сара.

— А форма на ней какая? — не унималась Мара.

Сара напряглась, увидела и ответила:

— Коричневая.

— Коричневая?!

— Коричневая.

— Врешь! — крикнула Мара. — Ты врешь! Коричневой формы не бывает! Такой нет! И не было никогда!

— Была, — ответила Сара. — Я видела. Была коричневая.

— Не было!

— Была.

— Не было, не было, не было!

— Была.

И Мара сдалась.

— Была, — тихо сказала она и отвела глаза. — Да, была такая форма.

Раковина была завалена грязными тарелками, их надо было все перемыть, но из крана стекали только редкие, мутные капли.

— Можно? — неуверенно спросила Мара, снова взяв бутылку.

— Да...

— И тебе?

— Да.

— Хватит?

— Да.

Выпили по глотку.

И еще раз выпили, не глядя друг на друга.

— Он жив, — сказала Мара, — я знаю! Я люблю его.

Она встала и вышла из кухни, оставив Сару, склонившуюся над столиком, с глиняной чашкой в руке.

Пошла в комнату Шмулика.

А может, и не Шмулика.

Может, то была ее комната, ее собственная, вся, до бурого пятна, прожжен-

ного на ковре, до белой грозди кораллов с обломанными рожками, до расхлябанной петли оконной рамы и фиолетовых цветочков на простыне.

— Похоронила... сволочь... — повторила она, сорвала с себя Сарин халат и бросила на пол, на прожженный ковер.

Складывая, с трудом подбирая слово к слову, она заставляла себя вспомнить песню:

Жди меня, и я вернусь...

А вспомнив, стала тихо напевать — про себя, самой себе, зажмурив глаза, обняв себя за плечи и раскачиваясь:

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди... —

твердила она слова странной песни и, напевая, скользила ногами по ковра. Она танцевала и пела эту песню:

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

.....

Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди и с ними заодно
Выпить не спеши...

Конечно, он был жив.

С ним она танцевала, с ним, не сама с собой.

Это он обнимал ее, он, не сама себя.

Мог бы только обнять покрепче.

Он всегда обнимает крепко-крепко. Так, что дух захватывает.

И она еще крепче обняла себя.

И танцевала, закрыв глаза, улыбаясь и мурлыча свою песенку.

И еще ей хотелось, чтобы он заглянул ей в глаза, в самую глубь, как раньше.

Она распахнула шкаф — там было зеркало во всю дверцу.

Она вглядывалась в свои расширенные зрачки. Глубоко-глубоко, далеко-далеко должна увидеть его, если он жив, увидеть перед собой, лицом к лицу.

Она долго глядела так, прежде чем сумела увидеть.

Майор не сводил с нее влюбленных глаз, и она очнулась, увидела себя, голую, в зеркале.

Она вскрикнула.

Опустила глаза.

Прижала ладони к обнаженной груди.

Потом схватила свою форму и принялась лихорадочно одеваться.

Да и пора уж было, давно пора.

Она поспешно оделась, перекинула через плечо ремень черной солдатской

сумки и выбежала из комнаты, не закрыв за собой дверь, потому что даже к двери не хотела — или боялась? — прикоснуться еще раз.

В гостиной было темно и пусто.

Жалюзи прикрыты.

Она почувствовала под ногами мягкий ковер и поняла, что все еще стоит босиком, с туфлями в руках.

Двинулась по ковру.

Мягкому, такому же, как всегда.

Ветер покачивал жалюзи, и в странном дневном сумраке метались по стенам гостиной свет и тени, и шелестели листья деревьев на картинах, пестрели яркие цветы и зеленела трава.

Только не было человека — некому было сорвать цветок или прижаться к дереву. Не было даже тени человека.

И на столе, длинном, стиснутом стульями с высокой спинкой, — ни следа человека. В три этажа белели пустые фарфоровые тарелки, сверкали гигантские кристаллы бокалов, пустых и чистых, без единого пятнышка.

Хоть бы краешек губ.

Хоть бы след, отпечаток потрескавшихся губ, срезанных хрустальным кругом.

Пятнышко высохшей капли.

Полоска пыли на стеклянной грани.

Только та фотография на стене.

Девочка с желтой звездой.

Может быть, я не знаю, подумала Мара, может, потому и не знаю, что ни разу не видела. Может, она права. Может, есть коричневая форма, только я еще не видала.

И коричневая солдатка.

Может, есть такая.

И ушел с ней Шмулик.

Ушел и не вернется.

Уходят мужчины, уходят, не возвращаются.

Другие женщины уводят их, а они и рады.

Как майор. Неважно, что холостяк.

Да стоит ей... Стоит ей только захотеть!..

Она усмехнулась про себя.

Потом обулась и подошла к двери кухни.

Опустив голову, не поднимая глаз, сказала:

— Я сыта, давно уже так не ела.

Сара медленно пила из зеленой глиняной кружки и ничего не ответила.

— И такой чистой давно уж не была.

Сара молчала.

— Меня ждут. Майор давно ждет меня. Мы возвращаемся на север.

Может, тут Сара и заговорила бы, но девушка поспешила добавить:

— Посуду я так и не вымыла. Но ты не будешь сердиться? Или будешь?

Обе сразу подняли головы, их взгляды встретились, но уже ни та, ни другая не прятала глаз.

Сара улыбнулась:

— Война окончится. Ты скоро вернешься.

— Да, скоро.

— Меня всегда найдешь. Я в больнице или дома. Дома или в больнице.

— Я знаю.

— Ну иди, раз уж ты солдатка. Иди.

И даже до двери не проводила.

Как тогда, в субботу, когда завывали сирены, и она стояла у окна, а солдаты все шли и шли, одинаковые, незнакомые, зеленые, синеватые или защитного цвета хаки. И коричневые? Может, и коричневые. Все разные и такие все одинаковые — солдаты.

Одинаковые?

Все одинаковые?

Она не встала, чтобы проститься с солдаткой, и та исчезла из дверного проема, будто не было здесь ее, не стояла — голова опущена, высокая грудь, распирающая гимнастерку, широкие бедра, туго обтянутые зеленой юбкой, девушка, не девушка ли, с черной сумкой на плече, в черных туфлях на низком каблуке, руки в зеленых рукавах, упершиеся в косяк двери, может, и девушка, если без ружья.

Но какая же это девушка, если на ней зеленая форма?

39.

Она бы так и не встала с табуретки, не поставила на кухонный столик глиняную чашку, из которой отхлебывала малюсенькими глотками, хоть и слышала, как черные туфли на низком каблуке шагали по плиткам пола к двери гостиной, слышала, как щелкнул открывшийся замок, скрипнула дверная ручка, слышала короткий вздох, но так и не встала бы, если б не испуганный возглас Мары.

Мара открыла дверь и наткнулась прямо на двух косоглазых близнецов, каждый с ведром воды в руках, у одного — красное, у другого — синее, и вода лениво колыхалась в пластмассовых ведрах, а близнецы смотрели и как бы не видели Мару, а видели только приоткрывшуюся дверь, потому что ждали, когда откроется дверь квартиры, ведь они принесли два полных ведра, принесли ей в дом, куда всегда таскали воду, была в нем вода или не было, и когда воды было хоть залейся, таскали тоже.

Мара, вскрикнув, попятилась от двери.

Тогда Сара встала со своей табуретки, жесткой, неудобной, но так хорошо было сидеть на ней, не шевелясь, не двигаясь, хоть и надо было проводить Мару до порога.

Она встала, подошла к двери и увидела братьев. А воды и впрямь не

было. Кухонный кран уже не урчал, пропали даже ржавые, грязные капли, трубы не ныли больше.

В доме не было воды, и братья принесли.

Вот и хорошо.

Не так ли?

Знают, чего и когда не хватает ей.

Знают, когда ей что-то нужно, чтобы вовремя подоспеть.

Лучше других знали.

Сара усмехнулась.

Но тут почувствовала, что у нее на плече повисла Мара.

— Не бойся, — сказала ей. — Не бойся!

Мара повернула к ней побледневшее лицо.

Она глядела на Сару испуганными глазами, и та коснулась губами детского лба, чистого, пахнувшего ее любимым мылом, и сказала ласково, как ребенку:

— Не бойся, детка. Ничего дурного они не сделают.

Мара кивнула, но по-прежнему смотрела на Сару большими глазами, в уголках которых копились слезы.

— Видишь, воды принесли. Они мне воду носят. Что здесь плохого? Хорошо ведь, да?

— Хорошо...

Она слегка подтолкнула Мару к выходу и, не дожидаясь, пока придет лифт,пустила братьев и захлопнула дверь.

Близнецы протопали на кухню, поставили ведра на пол и ждали.

Она подошла к окну.

Видела, как Мара пробежала к машине, слышала, как взревел мотор, почуяла взметнувшийся серо-черный запах отработанных газов.

Мара не выглянула из машины, не махнула рукой, и Сара сказала, как утешив на прощанье:

— Не бойся, детка... Езжай спокойно... Не убили его... Нет... Кому нужен Шмулик? Тебе, мне, и больше никому. Разве кто-то может его убить? Кто? Ахмед? В больнице Ахмед, давно уж там, в девятнадцатой палате, я-то знаю, можешь поверить. Кому и знать, как не мне. И на Бени похож Ахмед, очень похож на Бени.

Такой же черный.

Круглолицый.

С волосатой грудью.

С такими же мускулистыми руками, как у Бени.

Зачем Шмулик Бени? Зачем Шмулик Ахмеду?

Зачем?

Разве Бени не шатался со Шмуликом, взявшись за руки, по окрестным пескам, когда Бени был уже мальчишкой, а Шмулик, можно сказать, еще младенцем? Разве не вместе гоняли кошек по барачным скелетам, когда оба подросли?

Разве Бени не любил ее, Сару?

Не ловил ее взгляд, не посматривал на нее?

Бени был еще подростком, они жили тогда в бараках, когда однажды Сара увидела его прямо перед собой: он стоял у открытого окна в своем бараке и тарашился на нее, не замечая, что она видит его, так был занят своим делом — штаны расстегнул и, выпучив глаза, руками орудовал, а Сара, испуганная, пристыженная, — молодая была — попятилась от окна, забилась в угол кухни, но никому ничего не сказала и даже виду не подала, что знает...

Они жили еще в бараках, когда Бени стал юношей, а потом, когда перебрались в новые дома, он поджидал ее за каждым углом, караулил, глаз не сводил, и хоть рукам воли не давал, но ходил за ней как тень, и ей было страшно, боязно, вечерами старалась не выходить одна, но никому не говорила, не жаловалась, и ему, Бени, ни слова, только остерегалась, чтоб не застал ее где-нибудь в безлюдном месте.

Бени ждал, притаившись за углом барака или каменного дома, как ждал когда-то тот парень, имени которого она не знала и никогда не узнает.

Парень, что смотрел и ждал, притаившись за деревом, старым, толстым деревом с полопавшейся корой.

Он смотрел на маму, не моргая выпученными глазами.

Видел, как полицаи остановили ее.

Как сорвали платье.

Как забелела в сумерках ее грудь.

Видел, как ее повалили.

Видел полиция, который заломил маме руки и прижал к земле.

Видел второго, который лежал на маме, поднимаясь и опускаясь. Сначала медленно, а потом все быстрее, быстрее.

И парень тот был похож на Бени, который ждал, притаившись за углом, как за деревом, выпучив неморгающие глаза.

Который пялился на нее, на ее белевшую обнаженную грудь.

Так зачем им Шмулик? Парню этому или Бени, Ахмеду, зачем им Шмулик, чтоб ни за что, ни про что его убить?

Зачем?

В самом деле...

Только она, она, Сара, нужна Бени, а может, и не нужна больше, или все еще нужна?.. Но не Шмулик.

Она стояла у окна, следя за удалявшейся машиной с белыми цифрами армейского номера на черной табличке. И густая, черная полоса отработанных газов тянулась за жестяной коробкой, в которой сидела Мара, девочка, солдатка, торопившаяся к своему майору, спешившая на север.

Конечно, успокаивала, утешала ее Сара, если нравится майор, если он действительно нравится тебе...

Почему нет?

Если нравится.

Если свой, хороший, живой.

Если тут, рядом.
Если мил тебе.
Почему нет?
Сара услышала звонок. Или ей почудилось?
Нет, не почудилось.
Опять звонят.
Снизу кто-то просит открыть.
Кто?
Вроде, не заметила притормозившей машины, чужой, незнакомой машины, подъехавшей с чужими, незнакомыми людьми, глядящими — та ли это улица?
Тот ли дом?
Не заметила.
Она стояла, стиснув пальцами подоконник.
Нет, не видела.
Только серое такси за углом мелькнуло и скрылось.
Со двора выехало, значит, во дворе у них побывало, а она и не заметила.
Господи!
Чужая машина была, а она не видела, не слышала, как же так, хорошо, что такси, слава Богу, что машина не стала во дворе, уехала, но как же она не заметила — не увидела, не услышала?!
У окна стоя?
Глядя на двор?
И чужую машину не заметила?
Она зажмурилась, опустила голову.
И снова услышала звонок.
Но не двинулась с места, ждала.

40.

Ждала, не двигалась, потому что звонок этот был похож, хоть и сама не знала чем, был похож на тот, что раздался в Судный день, когда Йона ушел уже, и Шмулик ушел, и настала краткая передышка между сиренами: одной — отгудевшей и другой — не прогудевшей еще.

Она стояла, как сейчас, у окна, и слышала тот звонок.

А перед этим по двору медленно прошагал Бени с солдатской сумкой через плечо.

Посреди двора он оглянулся и встретился с ней взглядом.

Тогда свернул к ее дому.

Позвонил снизу.

И теперь такой же звонок.

Почему?

Вряд ли это Бени, ведь не видела, чтобы он вернулся.

В тот раз она подошла к двери, подняла трубку и ничего не сказала, лишь услышала:

— Пусть хоть всех убьют, но я вернусь, — шептал внизу, в дверной микро-

фон Бени. — Вернись! Все равно я тебя возьму. Когда вернись... Жди!

Он все еще хотел ее силой взять.

Она бросила трубку, та сорвалась с пластмассовой вилки, ударилась об пол, подскочила, снова ударилась и треснула, а потом еще долго билась о стену, повиснув на пружинящем шнуре, и, должно быть, там, внизу, стоял усиленный динамиком грохот.

Она ничего не сказала.

Только тот звонок узнала, запомнила, словно кто-то вписал его, как гвоздем процарапал в складках мозга.

А может, не Бени?

Может, просто солдат загрубелой рукой жмет на кнопку звонка?

Может, Йона?

Может, Йона пришел с войны?

Жив-здоров, цел и невредим, даже не ранен, такой же, как тогда, в Судный день, когда ушел, надев защитную форму, ушел, как все — без провожання, без слез.

Может, больше не надо ждать чужой машины?

Может, Йона сам вернулся — живой, здоровый?

Господи...

Гос-по-ди!

Она кинулась в кухню, растолкав не успевших отскочить близнецов, схватила бутылки — красную, бархатную, и другую — с виски, побежала опять в гостиную, поставила напитки на стол, среди хрусталя и фарфора.

Отошла, полюбовалась.

Ничего, что молчал, за всю войну даже весточки не подал.

Ничего.

Не пропал, не сгинул.

Нашелся.

Нашелся?

Не пропал?

Нет, не его рука нажала кнопку звонка.

Вот опять.

Нет, не его...

Она подошла к двери, подняла надтреснутую трубку и услышала женский голос, пожилой женский голос, спросивший по-немецки:

— Здесь проживает фрау... мм... Сара, да?

Пауза.

— Здесь проживает герр Иоганн? Здесь?

Пауза.

— Можно войти? Я туристка, из Германии. Мне можно войти, да?

Пауза.

— Какой этаж? Шестой? Да? Шестой этаж?

Пауза.

— Я не надолго, нет... Можно?

Пауза.

— Но... Действительно здесь проживает герр Иоганн? Иоганн, да?

Пауза.

— Я, должно быть, разговариваю с фрау... мм... Сарой? Да?

Пауза.

— Я не надолго, нет. Можно, да? Правда, можно?

Разговор был начат.

И хорошо.

Не надо было все начинать сначала, уже шел разговор, когда Сара открыла дверь, чтобы впустить гостью.

Можно было без особых усилий поддержать разговор.

Словно давно друг друга знали.

Не впервые встретились.

Они узнали друг друга еще до того, как поздоровались.

И видно, у обеих было такое чувство: они даже не представились. Разговор завязался и можно было не начинать сначала, а лишь продолжать, поддерживая его, и хорошо, и слава Богу, подумали обе сразу, пытаясь улыбнуться друг другу.

— Хоть бы предупредили... — сказала Сара.

— Да.

— Я бы встретила вас.

— Да, да.

— Вы остановились в гостинице?

— Да, да, в отеле, у моря.

— У нас теперь столько места, я одна осталась.

— Да, конечно. Одна?

— Одна.

— А...

— В армии.

— О да, в армии... На войне?

— У нас говорят — в армии.

— О да, так. На войне...

— На войне.

— Но ведь там стреляют?

— Да, стреляют.

— Иоганна могут убить?

Пауза.

— Боже мой...

Пауза.

— Боже... Но почему он должен быть убит здесь, в какой-то Азии?

— Не знаю.

— Почему он должен быть убит в какой-то дальней стране, где вечно печет солнце и летом не бывает дождя, а зимой — снега?

Сара молчала.

— Почему он должен быть убит в чужой стране, так далеко от дома?

— Почему далеко? Его дом здесь. Это его дом, — сказал Сара.

— Здесь? Действительно здесь? Он рожден в Баварии.

— Я тоже не здесь родилась.

— Вы еврейка.

— И он еврей. Не так ли?

— Это было несчастье. Божья кара.

— Таким уж он родился у вас, евреем.

— Над чужим горем грех смеяться.

— Он был хорошим евреем.

— Он мог быть таким же хорошим немцем.

— Он был доволен своей долей.

— Вы говорите — был... И раньше тоже сказали — был... Почему — был?

— Не знаю. Не знаю, почему я так сказала.

— Вы хотели сделать мне больно, да?

Сара не ответила.

— Да... О да! Вы злая, вы очень злая женщина.

— Неужто злая? — то ли гостью, то ли себя спросила Сара.

Гостья молчала.

Они сидели в глубоких мягких креслах, перед гостиним столиком, сидели и разговаривали, будто в самом деле были давно знакомы, и ничего удивительного, если вдруг, не сообщив заранее, даже не позвонив, не предупредив по телефону, заглянула гостья, зашла на минутку поболтать, выпить чашечку кофе, чашечку хорошего черного кофе, который Сара приготовила в два счета, словно ждала, знала, что гостья забежит на минутку, раз-два — и приготовила, благо кофейник под руками и мигом закипел, лишь отмахнулась от близнецов, снова попавшихся ей в кухне, смолола кофе, раз-два — и готово, теперь две женщины болтали, сидя в мягких, уютных креслах, и она не стала поднимать жалюзи, им хорошо было в полосатом сумраке, где ветер пошевеливал жалюзи и по стене, по картинам ходили полосы света и тени, зеленела масляная трава, пестрели цветы и шелестели листья деревьев, — можно было видеть и слышать этот шелест.

— Разве я сказала — был?

— Да, вы сказали.

— Даже не знаю, почему я так сказала.

— Вам нравится издеваться надо мной. Вы отняли у меня сына, лишили мою страну примерного гражданина, хорошего немца превратили в еврея и еще издеваетесь теперь, вы очень нехорошая, злая женщина, исключительно скверный человек, но меня вы не обманете...

Она медленно подняла чашку, пригубила кофе, глубоко втянув ноздрями его пьянящий аромат, и продолжала:

— Не обманете... Я знаю, вы ждете Иоганна — я вижу накрытый стол и Marnier, его cherry.

Не получив ответа, гостя продолжила:

— Ему дали отпуск? Ведь война уже на исходе.

Пауза.

— Он возвращается домой?

Пауза.

— Вы ждете его?

Пауза.

— Он придет сегодня?

Пауза.

— Я увижу его? Увижу?

Пауза.

— Я с ним встречусь?

Пауза.

— Я смогу обнять своего единственного сына?

Пауза.

— Почему вы молчите? Неужели вам еще мало, не достаточно издеваться надо мной? Разве можно так обижать, смертельно пугать меня только потому, что я хочу, чтобы он был немцем, ибо он и есть немец, и я совсем не хочу, чтобы он был евреем?! Только поэтому? Только потому, что природа сыграла с ним такую шутку? Нельзя смеяться над чужим горем, если Господь карает человека и кара эта столь внезапна и непонятна. Разве можно так? Разумеется, вы ждете Иоганна! Неужели сейчас, когда все еще идет война, неужели вы можете сесть с кем-нибудь другим за стол, уставленный хрусталем, фарфором, и пить французский ликер, любимый напиток Иоганна?

Сара слушала.

Она буквально ловила каждое слово, и когда гостя умолкла, чтобы перевести дух, она хотела ответить, объяснить ей — слово за словом, просто, ясно:

— Я злая женщина. Очень злая. Я плохой человек, я знаю. Но я не издеваюсь. И не пугаю вас, нет, не пугаю в самом деле. Почему я должна глумиться? Почему я должна пугать вас? Потому что надо мной глумятся? Потому что меня до смерти пугают каждый день, каждый час, минуту каждую? Нет. Нет! Я не знаю, жив он или нет, но, должно быть, его уже нет в живых, да, наверно, его убили, нету больше. Что мне делать? Издеваться поэтому? Над собой глумиться? Был Йона, мой Йона, никакой не Иоганн, и был счастлив, он был счастлив со мной. На свете мало таких счастливых, и не его Господь наказал, если это наказание — уродиться евреем. Может, Бог наказал вас, не знаю, может, вашего мужа? Может, вы провинились, или если не вы, так он? Кто может знать? Разве вы все знаете? Он был простой солдат и погиб на Восточном фронте? А может, это не так, может, он был убийца, если Господь послал ему обрезанного младенца-еврея? Послал как наказание, да. А может, он был праведник, и мы не знаем, может, это не кара вовсе, может, это дар Божий? Ну не дар ли — из лона своего произвести на свет потомка истребленного племени? Чем не дар Божий?

Но ничего не сказала, не объяснила гостье.

Ничего.

— Нет, — сказала Сара. — Не смеюсь я, нет, хоть, может, я и злая, но не глумлюсь над вами, упаси Господь, что вы! Я сказала — был? Был, был, здесь был, дома. В отпуске был солдат, приходил домой. Ненадолго. Вчера вечером был и сегодня утром. Ели, пили вместе, любили. Что, нельзя?

— Нет, я ничего не сказала...

— И снова жду. Хоть он теперь долго не вернется. Я знаю, долго. Разве я виновата? Я не виновата, что вы опоздали. Разве это моя вина?

— Нет, вы не виноваты... И я тоже... Первым же самолетом вылетела из Франкфурта. Самым первым. И прямо к вам. Только вещи в отеле бросила, и к вам. Может, если бы не в отель сначала...

— Все равно б не успели, — сказала Сара.

Она уже не смотрела на гостью. Тонким носовым платком та утирала глаза, и Сара отвернулась. Отвернулась и долго глядела в стену, хотя не было на той стене ничего интересного — ни масляных деревьев, листьев или цветов, ни игривых переливов света и тени, только два серых снимка — самолет и девочка.

Она обернулась, услышав смех гостьи.

Старая женщина смеялась, она смеялась, не в силах сдержать себя, и сквозь смех говорила радостным голосом, в котором еще слышались остатки слез:

— Почему я плачу? Ну скажите, почему я теперь плачу? Ну, опоздала. Опоздала, что поделаешь. Но если был он дома, если вы ели, пили вместе, любили, — Боже мой! — стало быть, он жив. Жив! Почему же я плачу? Ну скажите, ради Бога, скажите мне, старой дуре, скажите, милая, ну, ради Бога, скажите: почему я плачу? Жив...

Разве я говорила — нет?

Говорила?

Так убеждала себя Сара, закрыв глаза.

Конечно.

Кто окликнул ее вчера?

Вчера вечером?

На дворе?

Когда было темно, и он посветил фонариком, и она увидела его грудь, волосатую, как у Давида.

Ахаке леха,

Ахаке леха бэ-соф а-дерех...

Так пела известная певица.

Сара слушала песню и не замечала, что брюки на нем узкие и короткие, и он мог бы выглядеть смешным, но он не был смешон, он совсем не казался ей смешным, этот пожилой солдат.

Они молча стояли друг перед другом, и она чувствовала, как он

взглядом, словно рукой, скользит по ее распущенным волосам, по лицу, груди.

Хорошо, что в тот вечер он пришел домой.

Боже, как хорошо, что он вовремя пришел!

Только что из больницы, она все еще была в застиранном халате — первом, попавшемся под руку, когда сбросила утром свой, залитый кровью, и схватила этот, слишком короткий и узкий: верхняя пуговица не сходилась, и нижняя — тоже.

Халат... Может, все из-за того халата?

— Ты меня знаешь? — спросил пожилой солдат.

— Знаю. Да, знаю, — ответила она.

Она была рада, так рада, что он пришел домой в тот самый вечер, когда она стояла у входа в подъезд, только что из больницы, с растрепавшимися волосами, в застиранном, с двумя незастегнутыми пуговицами, халате.

— А Иоганн... на севере? — спросила гостья.

— Йона? На севере? Н-нет... Нет.

— Когда началась война, я видела по телевидению... Нет, нет, не важно. Просто первые дни войны. Французская телепередача, ничего особенного. У вас тоже показывали? Первые дни войны на севере...

— Нет, — ответила Сара. — Не показывали.

Сара знала, что именно волнует гостью.

Конечно же, та боялась за сына: если живой или мертвый, здоровый или раненый попадет в руки врагов, то прежде, чем голову отрубить, не отрубят ли ему руки, ноги или еще что-либо?

— Йона на юге, — сказала Сара. — И всегда был там. Никогда не бывал на севере, только раз, зимой, когда мы поехали в отпуск, а я боялась скатиться с горы на лыжах, и он еще надо мной смеялся.

— Он хороший, — сказала гостья. — Он очень хороший мальчик.

Он и счастлив был как мальчишка, этот немец-еврей, еврей-немец, этот человек.

Недолго, правда.

Она стояла в девятнадцатой палате, прислонясь к стене, не чуя ни рук, ни ног, только что из операционной, где хирург четыре с половиной часа лепил, укладывал осколки кости, сшивал растерзанные мышцы, латал кожу и вылепил, сложил-таки правую ногу заново, только левую ампутировал, отрезал ниже колена, но и на левой восстановил коленный сустав, починил, создал заново ногу до икры.

Его доставили на вертолете с севера.

Он был удивительно похож на Бени, и она не могла понять, как это может быть, что он чужой.

Она стояла у стены, не чуя ни рук, ни ног от усталости, и смотрела на тихого пациента, лежавшего молча, закрыв глаза, в девятнадцатой палате.

Стояла и смотрела.

Ему отвели просторную одноместную палату, хоть он еще ничего не

сознавал, не видел, не чувствовал, не понимал, он спал, бледный такой и похожий на Бени. Точь-в-точь Бени, и тоже солдат, только чужой.

И она спросила, стоя вот так, прислонясь, привалясь к стене, не чуя ни рук, ни ног, она спросила его:

— Успел ли ты, пока был еще цел, не ранен, успел ли ты отрубить Йоне руки? Или ноги? Или еще что-либо? Или хоть голову отрубил сперва? А? Если б сперва хоть голову... Ты сделал это?

И замолчала.

Потому что стало темно в глазах, и она вся сжалась, стиснула кулаки, испугавшись, что прямо тут упадет без чувств, грохнется замертво от того, что четверо суток не смыкала глаз, ни днем, ни ночью не выходила из больницы.

Помолчав, собравшись с силами, она вновь спросила:

— А может, Йона был проворней тебя? Может, он сумел тебя опередить, придавив тебе ноги гусеницами танка? И ты так и не занес над его головой острый нож, приклад или штык? Может, Йона опередил тебя?..

Тут прозвенел звонок.

Звонили снизу.

И звонок был опять похож на тот, на Бенин, когда он, уходя на войну, сказал:

— Пускай хоть всех убьют. А я вернусь.

Кто там? Кто же это?

Когда позвонили снова, она встала с кресла и, ничего не говоря, пошла к двери.

Подняла трубку и услышала женский голос.

Ее спросили, просто спросили, та ли это улица, тот ли дом и здесь ли живет она, Сара.

Ответила не сразу.

Только почувствовав, что снова дышит, может шевелить губами, сказала:

— Да.

Ведь она не видела чужой машины, не слышала, как подъехали, затормозили, ничего.

Смешно!

Столько ждала, прислушивалась, и вот проворонила, а они уже тут как тут. Она молча прижимала к уху надтреснутую трубку: слышала, как шелкнул замок — открылась дверь подъезда, и снова шелкнул — закрылась: они были уже внутри, шли к лифту.

Она выпустила трубку из рук, и та повисла, качаясь на шнуре-спирали.

Хотела подбежать к черной шкатулке магнитофона, чтобы включить свою музыку, но увидела гостью, которая все еще сидела в гостиной.

Она была не одна.

И не включила магнитофон.

Это была ее и только ее музыка.

Она видела, как старая женщина встает с кресла, слышала, как та говорит:

— Я пойду...

Гостья хотела сказать что-то еще, но не сказала, не ушла, потому что увидела лицо Сары — не такое, как было раньше, незнакомое, странное лицо.

Сара качала головой.

И руками, — вытянув руки, ладони выставив, — не давала гостье уйти, просила остаться.

И старуха опять села в кресло, испуганно озираясь, ни о чем не спрашивая.

Так и сидела, а Сара как стояла, так и продолжала стоять, пока не послышались голоса, стук захлопнутой двери лифта и звонок.

Теперь звонили отсюда, с лестничной площадки.

Сара не могла включить музыку, так как была не одна в доме, и не стала ждать, когда позвонят еще раз.

Тут же пошла и открыла дверь.

На пороге стояли четверо, и Сара подумала: людей не хватает, кто на фронте, кто другим занят — война ведь, и все такое.

Она впустила их.

Женщина с потертым чемоданчиком, ее она где-то видела, ну да, конечно, медсестра, коллега ведь.

Девушка-солдат уже не плачет, только глаза пугливо расширенные.

И другая девушка — офицер.

Седобородый мужчина в черной шляпе.

Три женщины и всего один мужчина, не хватает людей, конечно, все на войне, еще не вернулись.

Она закрыла дверь, те, незваные, стали рассаживаться кто куда.

Старая гостья оглядела всех по очереди, задержавшись на мужчине в черной шляпе.

Потом еще раз взглянула на него.

А когда он снял шляпу и остался в черной ермолке, от которой замечен был только краешек, она увидела рыжие волосы, поседевшие на висках, и охнула:

— Боже мой!..

41.

— Боже мой... Боже... Господи Боже мой, — как бы про себя сказала старая женщина, — не может быть... Невозможно... Быть этого не может!

И не могло.

Разве могло такое быть?

Нет, не могло!

Как звать того человека, она не знала, у него ведь не было имени, только номер13, две последние цифры были 13, но когда изредка вспоминала о нем, он представлялся ей все таким же рыжеволосым, как тогда, только с

бородой, успевшей поседеть, потому что столько лет минуло, она старела, должен был и он постареть, поэтому оброс бородой, и борода все больше седела с годами, пока не стала совсем белой, а потом и виски подернулись инеем. И лицо покрылось морщинами, конечно, лоб, щеки, шея, и мешки под глазами, и волосы на груди тоже поседали, и глаза голубые выщвели, потускнели. Прошли годы, десятки лет.

Неужели десятки лет?

Да, десятилетия.

А с годами старится человек.

Человек...

Так и звала его, потому что не было имени.

Правда, кроме номера, на нем был еще знак еврея — звезда со словом Jude. Еврей. Так и требовалось его звать — Еврей, der Jude.

Ей было странно, неловко называть его так. Пробовала иначе — Тринадцатый — Dreizehn — der Dreizehn, что звучало не менее странно, смешно и даже немножко страшно, потому что она была суеверна, и число тринадцать ее пугало, а так как Мужчиной звать его тоже было нельзя, потому что он был номер, только номер, как было сказано, — и сказано достаточно ясно, она при других никак не называла его, а про себя звала Человеком.

Mensch!

Разумеется, и это имя было не для него, потому что он был номер и только номер, так должно было быть, но другого имени, как ни старалась, не могла она подобрать.

И про себя добавляла — рыжий.

Тот Рыжий Человек.

Их, несколько человек, пригнали из ближайшего лагеря к ним в деревню и раздали по дворам для работы, мужчины ведь были на войне, и ей, молодой соломенной вдове, достался тот Рыжий Человек.

Сказать по правде, — нет, не сразу стала звать его Человеком, а позже, может, и не многим позже, но все равно не сразу.

Когда он переступил порог ее дома, отвела его в мансарду, узкую комнатку на чердаке, с одним окном, тоже узким, и скошенным потолком, сужавшимся вместе с черепичной крышей.

Половина мансарды была завалена старой рухлядью, а сбоку стоял узкий деревянный топчан.

Тогда еще никак не звала его.

Не знала, как называть.

Der Jude?

Der Dreizehn?

Der Der?

Тот Этот?

Да и не был еще он для нее человеком, только номер13 с шестиконечной звездой и словом Jude, вот и все — разве это человек?

Но как-то вечером, после тяжелой дневной работы, она случайно вошла в ванную.

Да, да, совершенно случайно.

Она так устала, намаялась за день, что не слышала, как брызжут тонкие струйки душа, она хотела вымыться, только вымыться и больше ничего, устала так, что головы не могла поднять, где ж ей было заметить оконце, еле светившееся над притолокой двери ванной?

Ничего, совсем ничего не думая, толкнула она дверь ванной, хотела умыться только. А он ничего не слышал, стоял, еще намыленный, под тонкими струйками, как под дождем, почти касаясь рыжей головой лейки душа.

Нет, не неделю, больше пробыл он у нее, потому что пришел бритый наголо, а теперь, она видела, голова поросла рыжим ежиком, рыжим как пламя.

Вода несла мыльную пену вниз по худому телу, растекаясь между торчащими ребрами и огибая три розовых рубца на спине.

Конечно же, надо было захлопнуть дверь ванной, и бежать, и бежать оттуда, но она в первый раз увидела его голым, без полосатой робы, без шестиконечной звезды и надписи, увидела его ребра — человечьи ребра, острые человечьи плечи, человечью спину, руки, бедра, ноги, твердо упиравшиеся в мокрые цветные плитки пола.

Под душем, повернувшись к стене, не слыша скрипа открывшейся двери, стоял голый человек, а она вошла, не зная, что он там, что моется, голый, она случайно толкнула дверь, измученная за день.

И не так уж худ он был: думала, кожа да кости, а нет, отъелся человек за недельку-две: что имела, тем и кормила его, ел сколько влезет.

Разве будешь жалеть работнику, что трудится от темна до темна?

Он, должно быть, почувствовал ее взгляд.

Обернулся вдруг.

И она увидела мужчину, рыжеволосого мужчину с небритым лицом, волосатой грудью, запавшим животом и набухшим членом.

Может, он мылся и думал о ней, стоя под водяными струями?

Или не о ней?

Но о ком же думать ему, как не о ней?

Не было других, только он да она в большом запущенном доме.

Она без стеснения разглядывала его, застывшего под душем.

— Господи, — сказала она. — Ну не чудо ли...

Шагнула вперед и увидела его голубые глаза, широко раскрытые, подернутые дымкой.

Он что, боялся?

Стеснялся ее?

Желал?

А может, от страха, от стеснения и желанья?

Или от одиночества?

Разве он не был так же страшно одинок, как она?

Разве нет?

Она прижалась щекой к его груди и почувствовала тепло живого тела, мягкое, влажное тепло и твердо обнимающие руки, а она уж забыла, как руки могут обнимать, не помнила, что так бывает.

— Боже мой... — шептала она, не чувствуя, как слезы льются, льются, не останавливаясь. — Боже, Боженька... Я так соскучилась по теплу! Истосковалась по теплу человеческого...

Был уже поздний вечер, темно вокруг.

В доме тоже ни капли света, даже слабую лампочку в ванной, и ту выключила. Им-то свет был не нужен, и не ждали, что кто-либо придет: жандармы были, проверили, да, собственно, и не проверяли уже как следует ни утром, ни вечером, достаточно ей было крикнуть:

—.....13 в хлеву!

—.....13 в погребке!

—.....13 в огороде!

Да не думала она ни об охранниках, ни о ком другом и выключила свет не со страха и даже не по привычке — темноты ей хотелось, большой, глубокой, крошечной тьмы, и чтоб никого-никого кругом, только он да она, и чтобы в той непроглядной тьме еще крепче прижаться к нему, человеку, влажному, теплому и одинокому, как она сама.

Обнялись они и пошли, не споткнувшись ни разу, не наткнувшись на вещи или ступеньки, поднялись на самый верх, в мансарду, словно кто-то светил им.

Так хотели, и было так.

И они любили друг друга высоко над землей, под самой крышей, на скрипучем деревянном топчане, но никто не слышал, и сами не слышали того скрипа.

Он гладил всю ее, ласкал как любимую женщину, как возлюбленную свою.

Не знала она, что мужские руки, твердые, жесткие, могут быть такими нежными, ласковыми.

— Боже, Боже мой... — шептала она.

И ничего, что не говорил он.

За все время слова не произнес, молчал теперь, и позже всегда молчал, и лишь уходя оставил ей несколько слов, написанных на клочке бумаги.

Может, был немой от природы?

Но что за важность, разве это мешало ей?

Разве слова ей были нужны?

Да и кому они нужны?

А если не молчала она, то не молчала про себя, сама с собой разговаривала, ни с кем другим, даже с ним не говорила.

— Боже мой! — шептала она. — Господи Боже мой... Какое счастье...

Они тихо лежали потом, высоко, под самой крышей и смотрели на

скошенный потолок, белеющий при свете луны, глядевшей в узкое окошко мансарды, и она уже ничего не говорила, счастливая и смятенная, поняв, что в ту ночь стала женщиной.

Она повернулась к нему, этому рыжему человеку, который тоже не спал, а молча лежал, глядя на сужавшийся кверху белесый потолок, и прижалась к нему, прильнула, зарылась в него лицом, так что было невозможно дышать.

— Что ты сделал? — спросила она. — Что ты со мною сделал?

Он, как всегда, молчал.

Только улыбался, тоже счастливый, улыбался, не разжимая губ.

— Это было? — спрашивала она себя потом уже, когда осталась одна, забираясь в мансарду и лежа на скрипучем деревянном топчане.

— Это правда было? Или только приснилось мне? — спрашивала она, глядя на скошенный потолок, все так же белевший в лунном свете.

— Может, это был сон? Чудный сон? — спрашивала себя снова и снова.

Старая женщина сидела в мягком, глубоком кресле и неотрывно глядела на рыжего человека, дожидаясь, когда он заговорит, потому что каждый сказал уже хотя бы несколько слов, и женщина с потертым чемоданчиком, и девушка-солдатка, и другая, постарше, может быть, офицер, только он один молчал, понутив голову.

Ей очень хотелось подойти, расстегнуть его пиджак и посмотреть, есть ли под пиджаком номер, который оканчивается знакомыми цифрами.

Хорошо, если бы человек вдруг сам расстегнул пиджак: было жарко, тут, наверное, всегда жарко, в этом крае пустыни.

И еще он мог заговорить.

Ему же не весь язык вырвали, половину лишь, так что за столько лет он мог научиться говорить, у него было уйма времени. Не так ли?

Сон ведь.

Сон!

Разве может это быть явью, если тридцать с лишним лет было сном, пусть чудесным, прекрасным, но только сном...

— Еще кофе? — спросила Сара, и гостя очнулась.

42.

— Хотите кофе? — предлагала Сара гостям.

И гости не смогли отказаться, согласились выпить по чашечке кофе.

Теперь кофе надо было сварить, и она медленно двинулась в кухню.

Спешить было некуда и незачем, все уже сказано, больше не о чем говорить, вот только чашечку кофе, черного кофе выпить за круглым низким столиком гостиной, насладиться добрым кофе и молча разойтись, больше ничего не сказав друг другу, лишь попрощавшись, как положено, выходя из дома.

Как только они вошли в гостиную и сели за столик, Сара первой заговорила.

— Вы из кардиологического, верно? — обратилась она к сестре, единственному знакомому лицу.

— Да.

— Хорошо, что сегодня мне дали отпуск. А то б не застали, пришлось бы снова ехать, искать. Меня теперь нелегко найти, все время в больнице. Днем и ночью. И у вас в отделении тоже, да?

— Тоже...

Сара помолчала, потом спросила:

— Шмулик или... другой?

— Другой, — ответила медсестра.

— Не говорите о нем и не называйте имени. Хорошо?

Все четверо молча смотрели на Сару.

— Это мать, — сказала Сара. — Ни слова не понимает. Вы только имя не называйте. Ладно?

— Почему не понимает? — спросила солдатка.

— Ни слова? — спросила девушка-офицер.

— Ладно, мы не обмолвимся, — сказала сестра.

— Еще кофе? — спросила Сара. — Может быть, еще по чашечке кофе? Не откажитесь, Бога ради. Выпьем кофе, только и всего.

Она встала и направилась в кухню.

Спешить было некуда и незачем. Она медленно притворила за собой дверь кухни и прижала ее спиной.

Увидела близнецов, что сидели, сами с собой играя, за столом.

Они долго ждали.

Разве нет?

Терпеливо.

Притащили ей воду, сразу два ведра, и ждали теперь вознаграждения, потому что воды ведь не было, а нужна — посуду вымыть, и для кофе тоже нужна вода, они всегда знали, как помочь.

Теперь ждали своей награды.

Заслуженной.

Чем они хуже прочих?

Вот стоит она, прижавшись к белой кухонной двери, словно к стене.

Разница только, кто чем платит.

Франками?

Долларами?

Иенами?

Лирами?

Любовью?

Долгом?

Детьми?

Кровом и пищей?

Верностью?

Водой? Ведрами воды?

Надо было, конечно, надо было повести теперь близнецов в гостиную и лечь там с ними, сначала с одним, потом с другим.

Но в гостиной сидели гости, которые ничего не знали, не понимали, не могли отличить сон от яви.

Она еще крепче прижалась спиной к двери, словно к глухой стене, и покачала головой.

— Ступайте, — сказала братьям.

— Ступайте, — повторила она. — Домой идите.

Они молчали.

— Не хочу я, не нужна мне вода, — сказала она.

Они молча смотрели на нее.

— Сегодня я не хочу, не надо. Можете воду взять с собой. Забирайте свои ведра, не нужно мне. Уходите отсюда.

Они поняли, застегнули брюки и встали.

Она проводила их до порога и захлопнула дверь за ними.

А гости, ничего не замечая, молча сидели в гостиной.

Она вернулась в кухню, чтобы приготовить кофе.

И вдруг рассмеялась.

Близнецы ушли, оставив два полных ведра, и вода пришлась очень кстати, потому что кран был открыт, но из него даже не капало.

Она зачерпнула из ведра и поставила воду на огонь.

Гостей угощать надо.

А что может быть лучше чашки доброго кофе?

43.

Цвели на картинах масляные цветы, а гости сидели в дневном сумраке и пили крепкий черный кофе.

Мертвая тишина стояла в доме.

Не было ничего живого — ни собачонки, чтобы тявкнула.

Ни котенка, чтобы мяукнул.

Ни какой-нибудь птички, чтобы хоть пискнула, что ли.

Только мысли, думы тявкали, мяукали, попискивали в голове, и у каждого свои, другие, хоть и похожие, небось, но разве услышишь, будто нету их — так тихо, лишь старая гостья качала головой, тяжелеющей от догадок: то склонится над чашкой кофе, дрожащей в руке, то встрепенется, глянет на рыжего человека и снова понурит голову.

Как это может быть?

Невозможно это...

Не было никакого Рыжего Человека, просто сон приснился, страшный, чудный, манящий сон.

Правда, не было того Человека!

А если был он, то не лучше ли было послушать врача?

— Майне либе фрау, — сказал тогда ей, еще слабый, бледной, врач, — слава Богу, вы родили мальчика, сына, да! Здоровый, хороший мальчик.

Однако... я должен сообщить вам... Нет, нет, не волнуйтесь... Да, конечно, было бы лучше подождать, пока вы окрепнете, но такой случай... так сказать, казус... если вы согласитесь, мы обязаны тут же... гм, гм... решить этот вопрос... да, да... медицине известны такие случаи, редкие, очень редкие, но чтобы здесь, у нас, в рейхе... О нет, сударыня, ради Бога, не думайте, что я порицаю вас, нет, нет, это никак не связано с проблемой расы, с генетикой, но только... ваш младенец родился... гм, гм... обрезанный... как жид... еврейчик родился, майне фрау. Вы хотите такого? Хотите забрать его, или... гм... предоставите нам... решить этот вопрос... Да, да, немедленно, пока ему еще нет и дня, пока он, можно сказать, еще не родился на свет, да и с виду он недостаточно развит, не слишком похож на девятимесячного, пожалуй, не доносили вы, я бы дал ему восемь с половиной месяцев, и то вряд ли... Но, разумеется, если вы хотите взять младенца, мы вам посодеествуем, фрау, удостоверим, что он чистокровный ариец и лишь случайно, — ей Богу, такой случай один на десять миллионов — абсолютно случайно родился, гм... евреем... Прошу прощения, но я обязан спросить у вас, ведь муж на фронте, и я не могу с ним связаться, стало быть, придется вам самой решать: берете ребенка или... гм, предоставите нам... Да, да, прошу извинить меня, майне фрау...

Зачем она не послушалась доктора?

Жила бы себе спокойно, пусть одна, без Фридриха, который так и не вернулся с войны, видно, другую нашел — не так ли? — пусть ни Фридриха, никого, зато тихо, мирно, и ничто не погнало бы ее в эти края, и никогда бы не встретила этого рыжего господина, который похож, так похож на того Человека и молчит, как тот.

Да, да, и молчит, как тот, о Господи!

Хоть бы ушли, исчезли все эти люди, которые ни с того, ни с сего явились, сели здесь и сидят.

Хоть бы ушли они!

Исчезли!

Как тот Человек, что исчез однажды ночью, оставив на аккуратном застланном топчане ее записку сестре с просьбой приютить человека и серебряную цепочку, которую сама надела ему на шею, а поверх записки и цепочки своей нашла бумажку со словами: "А ЕСЛИ МЕНЯ ПОЙМАЮТ? НЕ ЖДИ ДО ВЕЧЕРА!"

Неужели она не думала, что его могут поймать?

С ее цепочкой, с запиской...

Цепочку тут же надела себе на шею, вся дрожа, а записку сожгла, спустившись вниз, и пепел, горячий еще, растерла собственными ладонями.

И не стала ждать до вечера, как собиралась, а прямо утром отправилась навстречу жандармам, пошла искать их, боясь, что голос дрогнет, и она не сможет выговорить привычное:

—.....13 в погребе.

—.....13 в огороде.

—.....13 в хлеву.

Может, дрогнул бы голос не от страха даже, а потому, что не было больше Человека, исчез как сон, только сон и остался.

Встретила, перехватила жандармов на полпути и сказала им, сказала, не таясь, без дрожи в голосе:

— Нету ...13! Исчез! Нигде его не могу найти!

Потому что в самом деле искала и не нашла.

А жандармы, спустив собак, нашли его?

Сон ведь!

Не было ничего, лишь сон!

Дрожащими худыми пальцами она потрогала цепочку на своей шее и вдруг улынулась.

Разве могло случиться, чтобы ее цепочка очутилась на шее этого рыжего человека?

Нет!

Потому что не было его, не было никогда.

И не мог он быть отцом ее ребенка, нет!

Ведь спустя неделю-две или больше — кто упомнит, разве в войну считаешь дни? — Фридрих приехал на побывку, целых две недели был дома, и они любили, любили друг друга днем и ночью, и тогда лишь она познала Фридриха и полюбила его как женщина.

Тогда же забеременела, и благополучно выносила младенца, и лишь как наказание — за чьи же грехи, о Господи! — как Божью кару родила на свет еврейчика.

Но разве он был не сын ей? Хоть и несчастный жил.

А может, умер счастливый? Если умер.

Родился евреем и умер как еврей.

Может, счастливый?

Или нет...

А вдруг?

Она подняла голову и огляделась.

Никого не было, в гостиной только она и Сара.

Ей очень хотелось спросить:

— Мы одни здесь сидим, пьем кофе? Никто не заходил сюда? Не было чужих?

Но застеснялась, испугалась самой себя.

— Все ушли? — спросила.

— Ушли, — ответила Сара.

— Они... про Иоганна сказали?

— Что? — переспросила Сара.

— А у вас... тоже есть сын?

— Да, есть.

— Один?

— Единственный.

— И тоже воет?
— Да.
— Может быть, это ошибка?
— Может быть... — повторила за ней Сара.
— Может, не на ту улицу, не в тот дом попали... Улицы такие похожие здесь и дома похожи, да?
— Да, да! Очень похожи! Как близнецы.
— А может, говорю... почудилось нам... Может, никого здесь не было, не заходили чужие люди.
— Правда? — Сара подняла голову. — Я и сама спросить хотела...
— Только мы... вдвоем... Сидим, пьем кофе. Не так ли?
— Только мы... вдвоем... Конечно! Только мы, не так ли... — сказала Сара и, помолчав, спросила: — Как вы узнали?
— Я женщина... Старая женщина, — ответила гостья.
Они простились.

Сара стояла, глядя вслед старой женщине, которая исчезла, скрылась за углом соседнего дома, будто не было ее.

Она стояла у окна.

Стояла, прижавшись лицом к стеклу.

И видела полиция, который лежал, уже не качаясь больше.

Он встал, застегнул брюки и сменил второго, который держал руки матери.

Теперь он прижимал к земле ее заломленные руки.

А второй полицией спустил брюки и лег на нее.

И стал подниматься и опускаться, как первый. Сперва медленно, а потом быстрее, быстрее.

А парень за деревом, старым, толстым, с потрескавшейся корой, стоял и смотрел во все глаза.

Он ждал, караулил, не спуская глаз и, наверное, даже не моргая.

И странно, он не только сам был похож на Бени, но и солдатская форма была на нем, притаившемся за деревом.

В первый раз.

Такого еще не видела.

Она вздрогнула.

44.

Вздрогнула и отшатнулась, отпрянула.

Потому что кто-то в самом деле прятался за колонной дома напротив: она видела зеленую солдатскую форму, которая то появлялась, то исчезала за бетонной колонной.

А потом и лицо увидела.

Небритое, темное, с немигающими глазами.

Там, притаившись за колонной, как за деревом, стоял Бени.

Неужто заметил ее, приникшую к стеклу?

Увидел?

Она отшатнулась от окна, и Бени усмехнулся.

Может, прав он был?

Может, знал, что говорил, уходя на войну?

Может, знал он?

Недаром усмехается теперь, широко улыбается, сверкая белозубым ртом.

Скалит зубы, здоровые, крупные.

Увидел, значит.

Конечно.

Она отшатнулась, отпрянула и, повернувшись, метнулась в спальню. Задышавшись, распахнула окно, рванула на себя оконную сетку и замахала руками, призывая солдата.

Но солдат спал.

Не видел.

Не слышал.

Не чувствовал.

Спал беспробудным сном.

Тогда она поманила близнецов.

Разве ушли они? Да нет, не ушли совсем.

Сидели на краю бассейна и смотрели на солдата, который спал, забравшись в дальний угол, на ее солдата, который спал, беспробудно спал на дне бассейна.

Близнецы заметили.

Они встали и, держась за руки, медленно двинулись к ее дому.

— Слава Богу... Идут, слава Богу, — выдохнула Сара.

Шли, приближались братья.

Спасенье.

Спасенье ли?

Она опять замахала руками.

— Солдат! — кричала она беззвучно.

И крик этот шел из глубины души:

— Солдат!

Махала руками, звала:

— Солдатик...

Он ведь близко, рядом, можно рукой подать.

Даже в зеркале, большом зеркале ее спальни отражались серые бетонные стены с трубами по бокам и сбегавшее вниз голубое дно.

Там, на сухом, безводном дне и прикорнул он, забившись в угол.

Сидел в глубине, широко раскинув ноги и привалившись спиной к стене: матерчатая фуражка съехала на глаза, вещмешок и винтовка на коленях.

Спал солдат.

Не видел ее рук, махавших, плескавших, вытекавших из окна, точно

белые речки, которые к устью сужаются, разбегаются протоками, уходят в землю, из земли и взявшись.

Не слышал исторгнутый ею крик.

Спал.

Как убитый.

Может, и впрямь убитый?

Она усмехнулась.

Ему, наверно, другая снилась.

Солдат ведь.

На войну отправился.

Та что же тут удивляться?

Она не стала вставлять сетку и закрывать окно, а вернулась в гостиную ждать, когда близнецы позвонят снизу, чтобы сразу открыть им.

Все-таки хорошо.

Пусть близнецы. Пусть двойни эти.

Когда прозвенел звонок, она сняла надтреснутую трубку, нажала кнопку и услышала, как щелкнула задвижка вниз, как открылась и снова закрылась дверь подъезда.

Так и стояла перед дверью.

Ждала, пока подыметесь лифт.

И когда лифт подошел, она не дожидаясь звонка, распахнула дверь.

Распахнула и застыла, оцепенев: перед ней были трое — два близнеца и Бени.

А близнецы опять с водой явились.

И где только ведра взяли?

В самом деле, где братья каждый раз находят ведра? Откуда берут их, приходя к ней?

Ни разу не подумала: откуда ведра.

На этот раз ведра были одного цвета — желтые, таких еще не приносили, и полные, как обычно.

Желтые ведра приблизились к порогу, и она посторонилась.

А когда посторонилась, все трое ввалились внутрь, и Бени захлопнул дверь.

Только тут она очнулась, испуганно огляделась, но было не убежать, не скрыться, и она лишь отступила на шаг, не зная, что ей делать.

Можно было только кричать, звать на помощь.

И она звала, кричала.

— Давид! — кричала про себя.

— Йона!

— Солдат!

— Шмулик!

И в глазах темнело от этого беззвучного крика.

А Бени смотрел на нее так же, как вчера Ахмед.

45.

Может, во всем виноват был чужой халат.

Слишком короткий, узкий, верхняя пуговица не сходилась и нижняя тоже, и белели длинные ноги — гладкие, длинные, словно шли от шеи, а под шеей — высокая, глубоко открытая грудь, она-то и не давала застегнуться верхней пуговице.

А может быть, халат ни при чем.

Еще позавчера, а может, и раньше, едва лишь стали затягиваться раны, только раньше она просто не замечала этого, но позавчера глаз не сводил с нее Ахмед, все пялился, призывая, прося, упрасывая.

Она пыталась уйти от этого взгляда.

Ничего не говорила.

А когда подала ему пить, он протянул свою темную руку с длинными, тонкими беловатыми пальцами, коснулся ее локтя и скользнул вниз, погладил, но она лишь отвела его руку и ничего не сказала.

Ничего.

А потом, когда перевязывала последнюю не закрывшуюся рану на бедре, видела, как вздымается простыня, но притворилась, будто не видит.

Надо было поторопиться, и все.

Быстро-быстро перевязать его и выйти из девятнадцатой палаты.

И она заторопилась.

Он опять протянул руку, и кончики пальцев легли ей на грудь.

Она отстранилась и замедлила движения, перестав спешить.

Теперь уже совсем не спешила больше.

Медленно подняла его ногу.

Стала медленно, туго наматывать бинт.

Медленно прижимала ногу его к бедру, накладывая виток за витком, словно гладя.

И улыбнулась, когда он застонал.

И не отвернулась, потому что не стыдилась больше своей улыбки: пусть все смотрят, каждому могла показать ее, эту кривую улыбку.

И сказала, не шевеля губами:

— Женщину захотелось? А больше тебе ничего не хочется?

Кто знает, сколько рук и ног, сколько голов успел ты отрубить, прежде чем тебе ноги отдавили.

А теперь меня захотелось?

Что ж...

Она поглаживала ладонью туго намотанный бинт, а он стонал.

Он хотел женщину.

Что ж...

Она уходила из палаты, чувствуя всей спиной его жадный взгляд, и шла неспешно, медленно, плавно покачивая при этом широкими бедрами.

А что?

Не женщина разве?

Кто скажет — нет?

И мать.

И жена.

И любовница.

И блудница, когда надо.

И проститутка.

И шлюха, если сама того захочет.

Разве не женщина она?

Он, подвывая, глядел ей вслед.

Она слышала тот жалобный вой.

И радовалась.

Покинула девятнадцатую палату, даже не обернувшись.

То было позавчера.

А вчера, как только вошла, он так и впился в нее немигающим взглядом и уже не призывал, не просил, а брал, что хочет, не выпрашивая, силой, и она чувствовала его длинные пальцы на своих щеках, на шее, груди, на животе, и темные руки сжимали ее бедра и беловатые ладони зажимали рот и она уже не могла дышать и он навалился на нее как полицейский на мать у кирпичной ограды готовый раскачиваться подыматься и опускаться глядя на нее немигающими глазами самца который самку покрыл и давит топчет мнет ее, и она испугалась, не зная, как спасти себя.

Она страшно вскрикнула.

Ее взгляд упал на круглую палку, служившую для того, чтобы открывать штору, или окно, или еще что-либо, а может, и не для того совсем, кто знает.

Она пихнула ногой каталку с бинтами, лекарствами, со всем, что загоразживало ей путь, и та покатилась и, ткнувшись в стену, остановилась.

Тогда она обеими руками схватила, стиснула палку.

И ударила в то место, где, подрагивая, вздымалась простыня.

Она была, была наотмашь, то с одной, то с другой стороны, пока не выступило в том месте розовое пятно и не опала простыня.

Ей казалось, она слышала крик.

А потом стало тихо.

Она видела свесившуюся с кровати бледную голову с закрытыми глазами.

Но ей было неважно это.

Почему ей должно быть важно?

За окном застрекотал, приземляясь на площадку, вертолет с ранеными.

Только тут она опомнилась.

Еще дрожала палка, крепко стиснутая в руках.

Она бросила ее и покинула палату.

Шла по длинному коридору, расталкивая столпившихся людей и никого не узнавая, дошла до самого конца, шмыгнула там в темную, без окон кладовку и прижалась лбом к вороху свежих, прохладных простынь.

Стояла так в темноте, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, как бы паря, повиснув в воздухе.

И вдруг почувствовала руку на своем плече.

Тело свое опять почувствовала.

— Ты устала... — послышался знакомый мужской голос. — Устала...

И вторая рука опустилась на другое плечо.

— Иди домой и можешь завтра не приходить.

Она все еще молчала.

— Тебя подвезти?

— Не надо, — ответила Сара. — Я доберусь.

Она медленно повернулась к нему и припала лицом к тонкой синей куртке, надетой на голое тело, ей и в темноте было легко узнать его и его куртку.

— Он хотел меня, — проговорила она.

Доктор молчал.

Она чувствовала, как он пытается проглотить жесткий ком, застрявший в горле.

— Он насильно хотел меня... — добавила тихо-тихо, лишь бы высказать, выговорить это, и совсем не желая, чтобы он слышал.

Но он слышал.

И снова с трудом глотнул.

Он, конечно, мог не поверить.

Разве безногий инвалид способен изнасиловать женщину?

Но он поверил.

Взял в ладони ее лицо и ласково прикоснулся губами к ее губам.

— Все тебя хотят, — сказал он. — Такая уж ты, желанная.

— Неправда, — ответила она.

— И я тоже хочу тебя.

— Тогда же, когда и я, — сказала она.

— Неправда. Я всегда хочу.

— И сейчас?

— Да.

— Я тоже!

Она обхватила руками его шею.

— Люби меня, — шептала она. — Тут, сейчас, никуда не надо идти, давай любить...

Он крепко обнял ее, прижал лицом к своей груди, чтобы не видела, хоть было темно, как он краснеет, потом тихо сказал ей на ухо:

— Я не могу... я не мужчина сейчас... глаз не сомкнул... с самого начала войны...

— Нет, нет, неважно, — перебила она. — Это совсем неважно. Мне и так хорошо, только ты не уходи. Не оставляй меня одну, побудь еще.

— Я не уйду.

— Хорошо. Обними меня крепче. Можешь?

— Да.

Она уже не слышала.

Была далеко отсюда.

— Я хочу тебя, — сказал он.

Как потом сказал это Йона.

Он не мог говорить губами и говорил глазами, но она поняла его, хоть и не ответила тогда, под водой. А может, и ответила, сама не знает, никогда не спрашивала, ответила ли ему тогда. Она ответила потом, ночью, в палатке на берегу моря, далеко от всех и вся, где были только луна, ветер Синая, несущий песчаную мглу, и легкий песчаный скрип на зубах, и сухое першение в глазах — тоже от песка.

Его глаза сверкали, как золотистые звездочки морского ежа, того самого, который кольнул ее черным шипом, как иглой, что впиалась и сломалась.

Она протянула руки ему навстречу.

И не было никого кругом, только полная луна за пологом просвечивающей палатки, отливавшая серебром морская вода, пять золотистых звездочек с одним обломанным черным шипом на глубине и желтый песок.

Желтый, как эти ведра.

46.

Но не было рядом никого.

Не явился Давид.

Не откликнулся, не отозвался Йона.

Не прибежал Шмулик.

Не вернулся солдат.

И доктор был не здесь, а в больнице, и не мужчина он был сейчас.

Рядом были те, что были здесь.

Близнецы и Бени.

И вдруг ей стало легко, спокойно, даже смешно стало от того, что она чего-то боялась, трусила, хотела спасти себя от кого-то — от Бени, конечно. От него.

А зачем?

Зачем защищать себя?

Какая разница, сама ли ложишься, по желанию, или нет.

Какая разница?

Разве не все равно?

Ложишься.

И кто-то ложится на тебя.

Так надо ли, стоит ли противиться, разве не все равно, какая разница — так ли, этак, одно и то же, все то же самое, так почему нет, коль ему приспичило, пусть имеет, тебя не убудет, зачем противиться, отбиваться — со

всеми одно и то же, кончается одинаково, и ничего страшного, если с каждым одно и то же, какая разница, все то же самое, все то же. Одинаково начинается, одинаково кончается, каждый делает свое и уходит, вот и все. Смешно...

Смешно и только.

Ужасно смешно.

Что, не ложились она?

Впервые, что ли.

Смешно.

Ложились.

Не раз, не два.

Так не смешно ли?

Разве не стояла всю жизнь у глухой стены в Сен-Дени?

Не продавалась всю жизнь?

За любовь.

За верность.

За сына.

За воду.

За утоление печали.

За минуту счастья.

За миг блаженства.

Бог весть за что.

Почему же не отдаться за желание? Не ее, чужое.

Разве Бени не возделел ее всю жизнь, с мальчишеских лет?

Так что за разница.

Не смешно ли.

Смешно...

Перед ней стояли два полных ведра, ее ждали два близнеца и Бени. Лечь надо было лишь с тремя.

Что, не лежала разве с братьями-близнецами?

Лежала.

Ну так и еще один.

Не выдержит, что ли?

Выдержит, ничего страшного.

Сделают свое и уйдут.

И тихо будет.

Наконец-то никто не будет ей мешать.

Отдохнет денек, а завтра снова на работу. Может, ее больше не пустят в девятнадцатую. Мало что ли других палат? Вся больница забита ранеными — без рук, без ног, без глаз, без лиц, без кожи. Полным-полно.

Работы не хватит, что ли?

Хоть отбавляй.

Ночами не спи, работай только.

Война.

Опять война.

А если и кончилась, так разве это конец?

Всю жизнь война.

И перед этой войной была другая.

Война закончилась.

Так что, после нее будет по-иному?

Разве тебя часто спрашивают — чего ты хочешь?

Разве кого-то интересует — чего ты хочешь?

Разве тебе разрешат — чего ты хочешь?

Разве спросят?

Поинтересуются?

Разрешат?

Война — невойна, война, невойна-война.

Не выпить ли по этому случаю? Выпить совсем не помешает. Стол, правда, накрыт на двоих, но тарелок не понадобится, а рюмки она сейчас поставит, хватит их, есть, сейчас достанет из бара и поставит на стол еще две рюмки, и они вместе выпьют, и зазвенит хрусталь.

— Хотите выпить? — спросила Сара.

Братья ухмыльнулись, ослабились.

— А ты? — спросила она у Бени.

— Налей мне водки!

Он даже слюну глотнул от удовольствия.

— Водки... — повторила она, достав из бара бутылку с надписью на этикетке WODKA LUKSUSOWA 45° SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES GRANDES CAVES RICHON LE-ZION ET ZICRON-JACOB LTD PRODUCE OF ISRAEL и пару рюмок.

— Музыку? — спросила она.

Ответа не услышала, но по пути к столу включила радио.

Кто-то весело пел. Мужчина? Женщина? Да, пел залихватский мужской голос.

Она налила Бени полную рюмку.

Поколебавшись, и близнецам плеснула по целой рюмке.

Хотела пойти в кухню, принести красную бархатную бутылку для себя.

Но не пошла.

И себе налила водки.

А что?

Она даже ногой притопнула в такт удалой мелодии, но музыка вдруг оборвалась и уже в который раз сегодня послышался голос диктора — он сочился из соседних квартир, как вода сквозь поры, как воздух.

Она старалась не слушать и улавливала лишь обрывки фраз:

—...как сообщает агентство... две ракеты... направил свой самолет на... фамилия пилота уже известна... представители армии на пути к его родным... летчик — лейтенант...

Она успела выключить радио — и вовремя, ей опостылел, до смерти

надоел размеренный голос диктора, раз за разом повторявшиеся известия, не нужны ей никакие фамилии, имена.

Хватит с нее.

Достаточно.

Ничего ей больше не нужно.

Сегодня у нее отпуск.

Она отдыхает, должна отдохнуть она, потому что завтра опять работа.

Она достаточно устала за время войны, недоедая, недосыпая.

Будет, хватит с нее — сыта по горло.

Она подняла рюмку, глядя, как та искрится на свету.

— *Лехаим!* — сказала она.

Бени запрокинул голову и осушил свою рюмку.

Братья тоже выпили, хоть и поморщились.

И она пила, удивляясь, что водку как воду пьет, совсем как воду. Небольшими глотками, как пьют томимые жаждой ключевую воду, живую, прозрачно чистую, из чистого источника.

Разве не чистую?

47.

Надо было начать, хоть и не знала — как, с кого. Но тут увидела, что один из братьев штаны расстегнул и ждет.

Обрадовалась.

— Поди-ка, милый, поди ко мне, — сказала она. — Иди же!

И, подобрав подол, поспешно легла на ковер гостиной.

Близнец — на нее.

Он давно уже знал, что делать, и она, подняв голову, смотрела поверх его плеча.

Бени шагнул было к ней, но второй близнец выступил вперед.

Он стоял, готовый прыгнуть на Бени, выставив руки со скрюченными пальцами, озверившись, оскалив зубы.

Бени отступил.

Она, вздохнув, уронила голову на ковер и зажмурилась. Зажмурилась на секунду да так и осталась лежать с закрытыми глазами, пока первый близнец не кончил, и когда второй лег и стал качаться, подымаясь и опускаясь, она по-прежнему не открывала глаз, ни о чем не думала, одного лишь хотела: пусть близнецы после того, как потешатся с нею, пригнутся, вызверятся, и Бени в страхе отступит, убежит отсюда.

Только этого хотела она, хоть и знала: не будет так.

И действительно, открыв глаза, увидела, что Бени надвигается на нее, а близнецы стоят, переминаются у входа в кухню.

Ждут свои ведра.

А Бени уже стоял над ней, широко расставив ноги, и снизу казался великаном: вот-вот наступит и раздавит ее, как муху.

— Сука, — с высоты своей бросил Бени.

Она молчала.

— Гони к чертям этих выроdkов, — приказал он.

Она почему-то все еще надеялась, что близнецы кинутся на Бени и спасут ее.

— Ну! — рывкнул Бени, наступив на нее тяжелым солдатским ботинком. — Ты не думай, — добавил он, — мне что: сегодня жив, а завтра — кто знает. Война-то еще не кончилась, я только в отпуске — в отпуске, ха! — он засмеялся. — Ну!

Она махнула братьям, чтоб те ушли.

Они подхватили свои ведра — как пришли, так и ушли с полными. И дверь за ними хлопнула.

— Раздразнили только, а? — сказал Бени. — Зато мы с тобой побалуемся. У меня время до вечера, не плохо, а?

Он убрал с нее ногу, и теперь она не видела его глаз, но знала, что взгляд у него такой же, как у того, в девятнадцатой палате. И хотя он еще не дотронулся до нее, уже чувствовала его жестко щупающие руки на щеках на шее на груди на животе на бедрах лезущие между ног, и вот-вот готов был прорваться вопль, который застрял у нее в горле, чтобы вырваться, вылиться, наполнив собой всю комнату и весь дом, но она зажмурилась, стиснула зубы и проглотила этот вопль.

Ведь только что, недавно, говорила себе — и правда это — не все ли равно, какая разница.

Если с другими можно, почему с ним — нет.

Разве не то же самое.

Не так же начинается.

Не тем же кончается.

Стерпит.

Как-нибудь стерпит.

Недолго ведь.

Еще минута, и все. И кончено.

Она снова проглотила свой вопль и увидела лицо Бени — близко, рядом.

Он сидел у нее на груди и шептал, нагнувшись:

— Ты... мне... пососи сначала... Я столько лет ждал этого...

И сунул ей в рот.

Она чувствовала, что задыхается, теряет сознание.

— Что ж ты — блядь, а сосать не можешь!.. — выругался Бени.

Съехал ниже, лег на нее.

Она перевела дух.

Закрyla глаза и мысленно повторяла: все равно, все равно ведь, еще минуту, и будет кончено.

Но слова слабели, тускнели, она не могла поймать их, они исчезали за окном, возле которого она стояла, прижавшись лицом к стеклу.

Она видела, как второй полицейский тоже встал и застегнул брюки, и они ушли, а мать осталась лежать, не шевелясь, не двигаясь, будто впала в сон.

И тогда от дерева отделился парень.

Посмотрел сперва в одну сторону.

Потом в другую.

И, пригнувшись, вбежал во двор.

А во дворе торопливо спустил брюки и лег на мать. Лег и стал качаться, поднимаясь и опускаясь, сначала медленно, а потом быстрее, быстрее, как те двое до него.

Она лежала, запрокинув голову, неподвижная, беспомощная, как мать.

И Бени стал медленно качаться, поднимаясь и опускаясь.

Его руки тискали ее грудь, и взгляд был тот самый — взгляд Ахмеда.

Изо рта у него текла слюна.

Он качался все еще медленно, но скоро начнет быстрее, быстрее.

Она снова зажмурилась, собралась с силами и выгнала, выбросила из головы ненужные мысли.

А когда в голове прояснилось и она почувствовала силу, вдруг извернулась, навалилась на Бени всем телом и руками как клещами стиснула его горло.

Он подергался, помахал руками, захрипел и стих.

Тогда она встала и широко распахнула дверь.

Потом вернулась и, схватив Бени за ноги, выволокла его на лестничную площадку.

И бросила там.

И вовремя.

Потому что услышала, как на дворе остановилась чужая машина.

48.

Не знала, подойти к окну или нет.

Подошла.

Прижалась лицом к стеклу.

Люди внизу осматривались, им еще надо было проверить, та ли это улица, тот ли дом, здесь ли квартира, в которой она живет.

Она не отходила от окна, но смотрела прямо перед собой. Смотрела в окно, дожидаясь, когда вернется мать, хоть это было ей строго-настроено запрещено, потому что ее могли увидеть. А увидят — придут и станут ловить ее, гонять по крохотной комнатке, где большому, взрослому человеку и повернуться негде, но будут гонять, ловить ее, и пускай даже раз или два она, такая маленькая, ловкая, проскользнет, прошмыгнет, как зверек, на четвереньках между широко расставленными солдатскими ногами, пускай забьется в самый дальний уголок, под низкую койку, все равно будут ловить ее, и если даже успеет юркнуть в свой тайник, то и там поймут: кто-нибудь из солдат запустит руку и вытащит ее, схватив за шею, руку или ногу, и тут же, на месте, разможат ей голову тяжелым сапогом или выбросят вон и раздавят там, на улице...

Но она не отходила от окна.

Уже не было ни матери, ни того парня, никого, было пусто, только тускло горели уличные фонари, и два полиция шли по мостовой.

Шли медленно, не спеша, поглядывая по сторонам.

И увидали ее.

И, не спуская с нее глаз, прибавили шаг.

Она стояла, прижавшись лицом к стеклу, и знала: вот сейчас войдут и скажут, что нет больше, нету Шмулика и не было никогда, не было, потому что больше нет его.

И куда ни забейся, куда ни скройся, вытащат за шею, руку, ногу и скажут, все равно скажут. И некуда деваться.

А ведь был он, был.

И дерево, то самое дерево, стояло на высокой песчаной дюне.

И поляна была под деревом, зеленый лоскут на желтом песчаном пустыре, и однажды на той поляне распустились мелкие красные цветы, и казалось издали, что под деревом зреют красные ягоды.

Они шли по ягоды с Давидом.

— Где ты хочешь? — спрашивал Давид, обнимая ее.

— Там, — отвечала она.

— Где там?

— Под деревом... на поляне...

Она была босая, в одной сорочке, и он тоже босой и голый.

Они шли, взявшись за руки, и не было вокруг никого, кроме них двоих, лишь песок, в котором вязли босые ноги, да тропинка, бежавшая за ними в лунном свете.

Они легли на траву, и трава обожгла студеной росой, потому что стояла осень, и они обнялись, и высоко вверху, над шелестящей кроной, мерцали звезды.

Может, скажете, и солдата не было?

Она оторвалась от окна и выбежала на лестницу.

Стоя на лестничной площадке, все нажимала и нажимала на кнопку лифта, который поднимался слишком медленно.

Услышала мерный стук и увидела близнецов, волокущих Бени вниз по лестнице.

Они тащили Бени за ноги, и голова его глухо билась о ступени.

Она показала на них пальцем и, как бы споря с кем-то, негромко сказала:

— Может, и братьев не было, а? Вот они, близнецы! Не было? Как же не было? Вот они, двоини, вот!

Она колотила кулаком в дверь, чтобы лифт шел быстрее вниз. А спустившись, кинулась во двор, проскочив мимо вышедших из чужой машины людей, которые все еще осматривались.

Побежала к бассейну.

— Солдат! — кричала она. — Солдат!

Вот здесь, в углу, на дне бассейна спал, отдыхал усталый солдат.

Но, подбежав, она увидела, что бассейн полон воды, и ни души вокруг, не у кого спросить, где же он, солдат, может, видели солдата, только что ведь был здесь, спал на дне бассейна солдат, отдыхал в углу — где же он?

Она заглянула с одного, с другого края бассейна, обежала со всех четырех сторон, но никого не нашла, только мутные лужи по краям.

А на поверхности воды плавал солдатский вещмешок.

Зеленый пустой мешок.

И все.

И некого спросить, не было даже братьев-близнецов.

Она вернулась.

49.

Сидела в широком мягком кресле, опускаясь в него все глубже, глубже, прижимаясь к нему каждым суставом, каждой клеточкой, и оно обнимало, как добрый друг.

Раздался звонок.

Она не спешила открывать.

— Были... — тихо повторяла она.

Шмулик.

Давид.

Йона.

Солдат.

Были братья-близнецы. Они тут еще, рядом, где-то возле дома, достаточно выйти, и найдешь.

И она была с ними.

Разве нет?

И, того и гляди, еще родит.

Родит?

Родит? Таких же близнецов? Монголоидов этих?

— Нет... не надо, — взмолилась она. — Не хочу я...

Снова звонили в дверь, но она не вставала с кресла.

— Хорошо, — сказала она. — Пускай по-вашему. Не было. Никого не было. Хорошо... Но был ведь... сон... хороший... плохой... милый... страшный... светлый... как звезды... лазурный... как небо... желтый... как песок... Был... сон...

И она включила магнитофон.

Романтично, жалобно пела труба.

Черный негр с приплюснутыми губами вел мелодию.

Им придуманную, но свою, любимую.

Покойный черный король.

Надо было бы встать и танцевать, танцевать, ощущая босыми ногами холодные плитки пола и мягкую шерсть ковра, но она не могла подняться с глубокого мягкого кресла.

Она устала.
Hoso Koso.
Hoso... Koso...
Ho... so...
Звонил дверной звонок — не в такт мелодии негра.
Она так и не встала с кресла.
И трудно было понять — то ли уж не дышала больше, то ли просто спала,
намучившись.
Наверно, спала.

С литовского. Авторизованный перевод Феликса ДЕКТОРА.

КОНТИНЕНТ

Ежеквартальный литературный, общественно-политический и религиозный журнал.

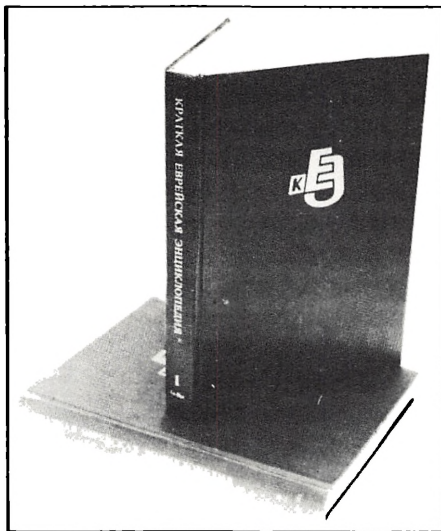
Главный редактор Владимир Максимов
Зам. главного редактора Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь Виолетта Иверни
Зав. редакцией Александр Ниссен

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Белл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлигг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловойская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Оз, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки 40 западногерманских марок.
Цена номера в розничной продаже 10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства: A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB, Bauerstr. 28, 800 München 40, West Germany.
Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630.
Postscheckkonto: München 147391-804.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ



КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

в шести томах

Главные редакторы:

ИЦХАК ОРЕН (НАДЕЛЬ), МИХАЭЛЬ ЗАНД

Еврейская энциклопедия на русском языке издается второй раз: первая вышла в Санкт-Петербурге в 1908 – 1913 гг. в издании Брокгауза и Эфрона в 16 томах. Новая еврейская энциклопедия на русском языке, издаваемая при участии лучших научных сил Еврейского университета в Иерусалиме, — поистине монументальный труд по еврейской истории от библейских времен до наших дней. Читатель найдет в ней биографии общественных и политических деятелей, ученых, писателей, деятелей искусств, внесших вклад в еврейскую и мировую культуру и науку; обстоятельные сведения о еврейской религиозной традиции, о каббале и хасидизме, о еврейской философии, литературе, искусстве. Подробно освещены события новейшей истории еврейского народа: возрождение еврейского государства, Катастрофа европейского еврейства во время второй мировой войны, положение евреев в диаспоре.

КЕЗ дает русскоязычному читателю объективные и находящиеся на современном уровне науки сведения по широкому кругу дисциплин, определяемых в своей совокупности как иудаистика, или наука о еврействе.

Том. 1. ААРОН — ВЫСОЦКИЙ. Том 2. ГАББАЙ — ИЗМИР. Том 3. ИЗРАИЛЬ — К. ЦЕТНИК (в печати).

ПОДПИСЧИКАМ "НАРОДА И ЗЕМЛИ" — ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ!

Два первых тома (с пересылкой) — 40 долларов
(вместо обычных 50)

Заказы на имя Society for Research on Jewish Communities
направлять по адресу: P.O.B. 8383, Jerusalem 91083, Israel

Выставочный зал — улица

— Я люблю, чтобы плакат был красивый, ясный, симметричный, — без всякого вступления начинает наш разговор Рафи Этгар. — Я вообще люблю порядок. Посмотрите вокруг. Иногда те, кто приходят в мою мастерскую, удивляются: неужели тут работают? Уверю вас — здесь работают, и еще как, но в конце рабочего дня мы наводим порядок.

Действительно, в мастерской Рафи Этгара все блестит, нигде нет разбросанных карандашей и красок, обрезков бумаги. На стене несколько старых афиш, несколько увеличенных кадров из фильмов 30-х годов, плакаты самого Рафи и отличный рисунок пером для афиши к спектаклю "Шинель" по Гоголю — множество одежек одна на другой, без человека, которому надо было бы быть внутри.

Сегодня Рафи Этгар — это не просто талантливый художник-плакатист, а небольшое предприятие, где две сотрудницы выполняют техническую работу. Сам Рафи утверждает, что ему нужно на плакат полдня, самое большее — день: "Я знаю, что если первый эскиз неудачен, то следующий будет еще хуже".

Рафи Этгар — заметный мастер на довольно тусклом фоне современного израильского плаката. Он начал работать самостоятельно 12 лет назад, окончив Академию искусств и прикладного искусства "Бецалель". Самые удачные его работы связаны со спектаклями иерусалимского театра "Хан". Какой-то журналист даже написал, что самое лучшее, что сделал "Хан" — это как раз побочный театральный продукт — афиша.

— Было время, — рассказывает художник, — когда я старался выполнять просьбы режиссера, но потом понял, что театральные постановщик и график мыслят по-разному: он — трехмерными образами сцены, а я — двухмерными представлениями. Поэтому выслушать режиссера, конечно, надо, но построить плакат надо по-своему. А кроме того, я думаю и о том, как будет смотреться мой плакат на афишном щите среди других объявлений и реклам, как воспримет его человек, сидящий за рулем машины или в автобусе, я борюсь с соседней афишей, с витриной магазина и с вандализмом того, кто решил заполнить плакат, просто сорвав его со щита.

— Работа над плакатом начинается в театре, но встреча со зрителем происходит на улице. Улица — ваш выставочный зал. Нет ли у вас стремления изменить израильскую улицу, повлиять на нее своими работами? — спрашиваю я.

— Я все время пытаюсь переделать улицу, — отвечает Рафи Этгар. — В последнее время это превратилось почти в болезнь. Когда я веду машину по городу, я все время мысленно навожу порядок и здесь. Мысленно перекрашиваю киоск, убираю уродливые ворота, отодвигаю дом, расставляю скамьи.

Видимо, не случайно на его рабочем столе лежит толстый альбом со всякого рода живописными работами на стенах домов, на кирпичных оградах или брандмауэрах. Их создали десятки художников во многих странах.

— А ведь все это — вчерашние трущобы, — говорит Рафи Этгар. — Мы в этом направлении здорово отстали. Даже если иметь в виду размер плаката. Он мал. У меня такое чувство, как будто я расклеиваю на улице почтовые марки. Для меня плакат начинается с размера два на три метра, а лучше бы побольше, как в парижском метро. Недавно иерусалимский муниципалитет просил меня подумать об этом, нельзя ли, например, изменить вид и размеры афишного щита. Деньги на это можно найти, если

Рафи ЭТГАР. Афиша к спектаклю иерусалимского театра "Хан" по пьесе Славомира Мрожека "Мессия пришел". На обороте: Рафи ЭТГАР. Афиша к спектаклю "Мольер" театра "Хан". На следующей странице: Рафи ЭТГАР. Афиша к спектаклю "Модильяни" Беэр-шевского театра. На обороте: Рафи ЭТГАР. Рекламный плакат абонента театра "Хан" на сезон 1980/1981 гг.

привлечь рекламодателей и предоставить им постоянное место на таких щитах для коммерческой рекламы.

А пока в тель-авивской галерее "Рихтер" открылась выставка, где Рафи Этгар показал свои плакаты, дополненные объемными деталями.

Перед портретом Модильяни на афише к спектаклю Беэр-шевского театра — объемная рука с красной гвоздикой.

— Мне казалось, вам ближе коллаж, — замечаю я. — Вон у вас сколько деток и цветочков из книжек викторианской эпохи.

Это почему-то задевает Рафи Этгара за живое.

— Я не могу ограничивать себя какой-нибудь определенной техникой. График-плакатист не может себе этого позволить. Технику мне диктует тема и ее решение. Точно так же я не могу отдавать предпочтение какому-либо цвету, а от какого-то отказаться. Это у художника, который пишет картины, могут быть "розовые" и "голубые" периоды, — говорит Рафи Этгар. — Если театр ставит пьесы Беккета и заказывает мне плакат, я не могу сказать: "У меня сейчас "розовый период". К Беккету это не подойдет".

Кстати сказать, Рафи Этгар признается, что работает главным образом над театральным плакатом, потому что в этой области больше творческой свободы, чем, допустим, в коммерческой рекламе.

— Если мне надо сделать плакат о шоколаде фирмы "Элит", то все ясно наперед: надо снять плитку шоколада покрупнее, чтобы был виден каждый орешек. В театральном плакате выбор решений и художественных средств шире. Я могу дать свою трактовку пьесы. Когда режиссер увидел мой эскиз афиши к спектаклю "Мессия явился", он вообще подумал, что это для другого спектакля. У него Мессии (их двое) похожи на микеланджеловского Моисея, такие величественные бородачи, а у меня — два шута. Я убедил его, что и так можно передать замысел пьесы.

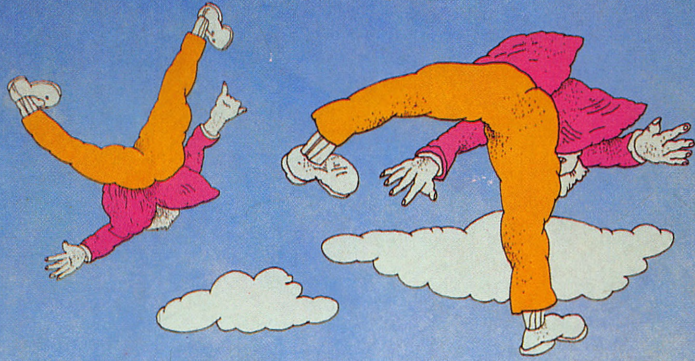
За желанием пользоваться различными техническими средствами у Рафи Этгара стоит и умение пользоваться этими средствами. Он прекрасно рисует и пером, и карандашом, и пастелью, чего в наше время от художника-плакатиста, оформителя или дизайнера не требуют. Плакат к 100-летию со дня рождения Давида Бен-Гуриона (оно будет отмечаться в 1986 году) это едва ли не академический рисунок цветными мелками, а плакат для Национального фонда Израиля (Керен Каемет) — коллаж: знаменитая кружка для сбора пожертвований, из которой появляется радуга.

— Почему я занимаюсь плакатом? — спрашивает Рафи Этгар. — Отчасти потому, что так получилось. Я знаю, что плакат должен навязать публике какой-то товар. Это может быть холодильник, или спектакль, или даже политическая идея. Но во всем этом деле я хочу получить свою долю удовольствия от работы.

Иосиф ЛИЩИНСКИЙ

תאטרון החאן מצג:

משיח בא משיח בא!



טוביה יואל



מאת: סלאבומיר מרוזק, נוסח עברי: אהוד מנור, בימוי: הלל נאמן, תפאורה ותלבושות: פרידה גולדברגר,



שחקני החזן מציגים את חייו של ז'אן בטיסט פוקלן

חלל חזן

מולייר

מחזה מאת פייר אסקארי ותיאטרון הסלמנדרה מצרפת
תרגום: ישראל אלירז\בימוי: יונתן מרזר\תפאורה ותלבושות: פרנסואז קוריאט בונ
תאורה: יעקב מרזל

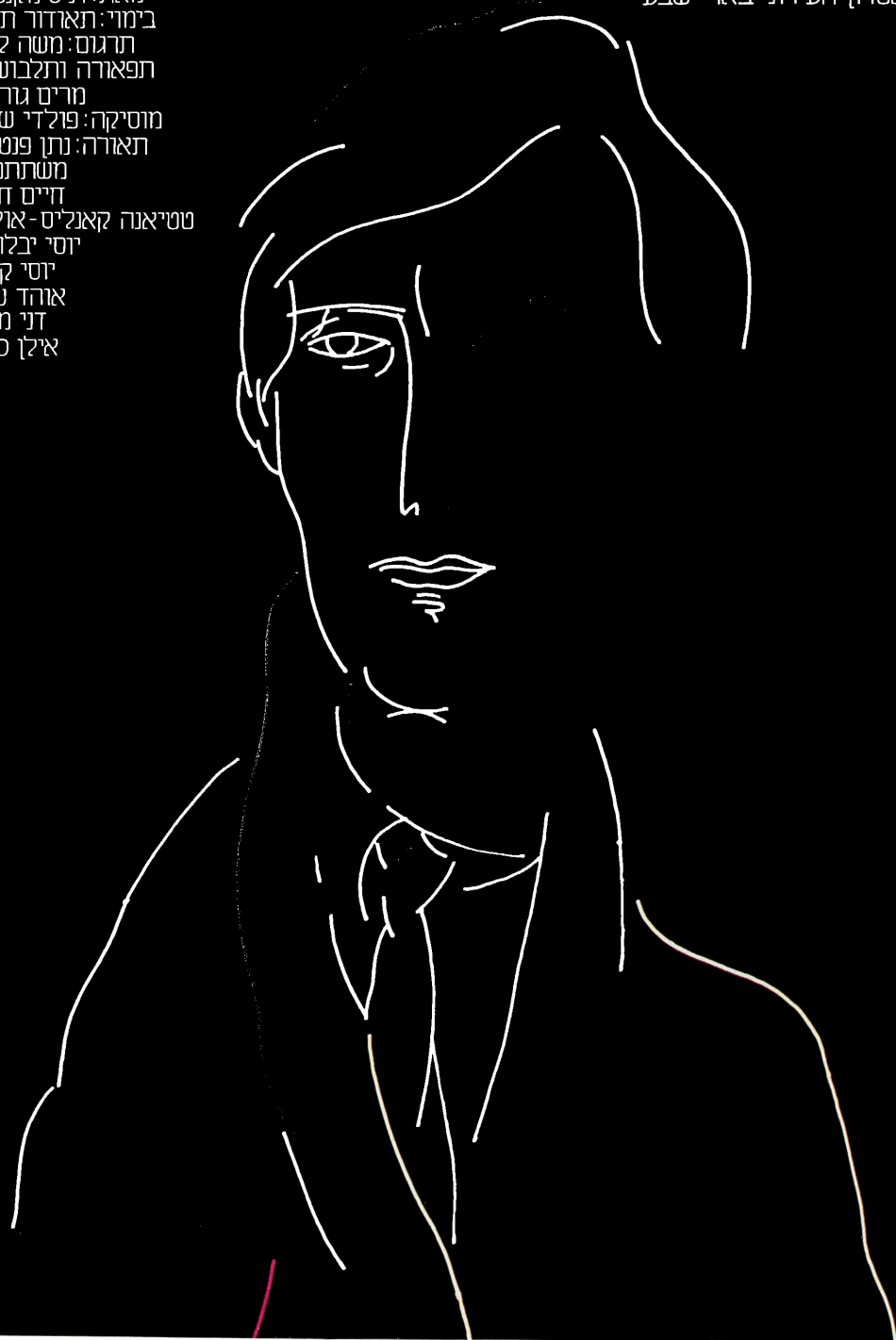
משותפים: אורי אברהם, אהרון אלמוג, סוהיל חדר, דני מוגה, אבינעם מור חיים,
נטע פלוצקי, שבתאי קוורטני, עליזה רוזן



מלודלי'אני

התיאטרון העירוני באר-שבע

מאת: דניס מקנטייר
בימוי: תאודור תומא
תרגום: משה ליבר
תפאורה ותלבושות:
מרים גורצקי
מוסיקה: פולדי שצמן
תאורה: נתן פנטורין
משתתפים:
חיים חובה
טטיאנה קאנליס-אולייד
יוסי יבלונקה
יוסי קאנץ
אוהד שחר
דני מוגה
אילן כרמי



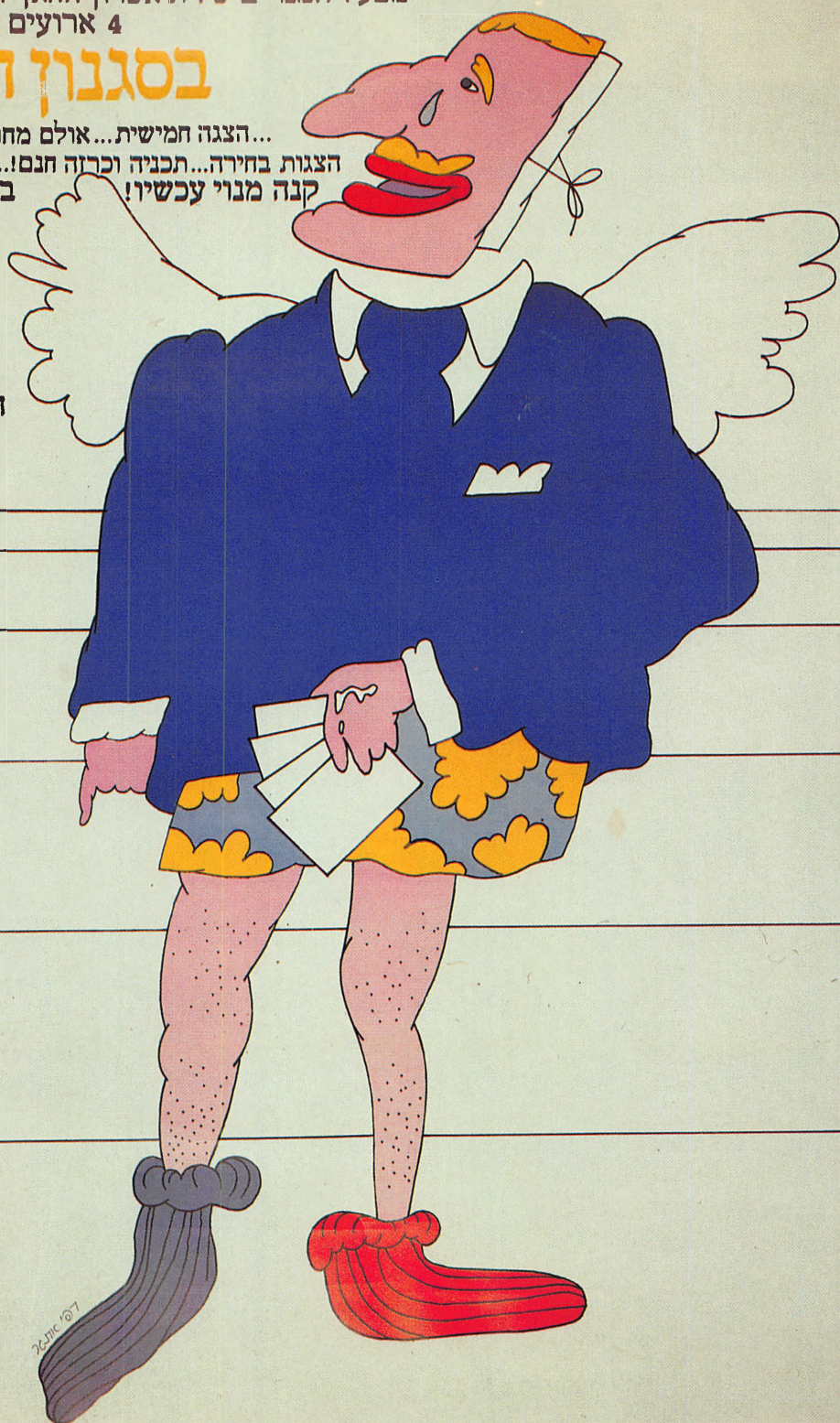
חווייה חדשה!

מפעל המנויים של תיאטרון החאן לעונת תש"מ
4 ארועים תיאטרוניים

בסגנון חדש!

...הצגה חמישית... אולם מחודש ומפואר...
...הצגות בחירה... תכניה וכרזה חנם!... ועוד... ועוד...
קנה מנוי עכשיו! בקופת החאן

במשרדי
הכרטיסים
בועדי
העובדים,
בהסתדרות
הסטודנטים.



Эдуард КАПИТАЙКИН

"Король ушел! Да здравствует король!.."

(Вольные размышления с диалогом)

У нас на радио в Иерусалиме хранятся записи Иды Каминской, последней признанной "королевы" театра на идише: отрывки из ее знаменитого спектакля "Миреле Эфрос" и несколько интервью.

В России ее знают и помнят по трагической роли старухи — владелицы мелочной лавки около синагоги в чешском фильме "Магазин на площади".

Ида Каминская — дочь великой еврейской актрисы Эстер-Рохл Каминской. Она с детства принимала участие в спектаклях еврейской передвижной труппы своих родителей, гастролировавшей по городам Литвы, Белоруссии, Польши. Как актриса Ида Каминская пошла по стопам матери. Она выступала в ее ролях, как бы перешедших к ней по наследству. Ее стихией были мелодрама и трагедия: Миреле Эфрос в одноименной старой пьесе Якова Гордина, Нора Ибсена, Кручинина в "Без вины виноватые" Островского, брехтовская матушка Кураж. Она была старомодна в своих вкусах и пристрастиях, Ида Каминская. Для своего выступления в Израиле она, например, выбрала забытую мелодраму "Глюккель фон Хаммельн", где играла роль немецкой еврейки XVIII века, выступающей против антисемитизма властей. В конце первого акта Глюккель — Каминская, окруженная членами своей семьи, выходила на авансцену, медленно поднимала руки, словно призывая к тишине и вниманию зрительный зал, и торжественно восклицала: "Я требую справедливости!.."

Она была старомодна, Ида Каминская. Старомодна в высоком смысле слова, ибо всегда защищала идеалы добра и справедливости, вечные идеалы классического искусства.

Ида Каминская много лет руководила Еврейским государственным театром имени своей матери, Эстер-Рохл Каминской сначала во Львове, потом в Варшаве. Этот театр и его первую актрису хорошо помнят в Ташкенте и во Фрунзе, где они были в эвакуации, во время войны. В 1968 году, в обстановке погрома, Ида Каминская покинула Польшу и отправилась сначала в Америку, потом — в Израиль, потом снова в Америку... Ни там, ни здесь ей не было удачи и счастья.

Четыре года назад актрисы не стало.

По старой доброй английской традиции хочется воскликнуть: "Король умер! Да здравствует король!" – "Королева умерла! Да здравствует королева!". Но, увы, сделать это невозможно. Нет новой королевы. Нет театра на идише в его прежнем величии и блеске. Нет нигде. И, что особенно печально, нет на еврейской земле – в Израиле.

Всем известно, что у еврейского театра на идише, который несколько лет назад отметил свое столетие, замечательное прошлое и славные традиции. Это прошлое и эти традиции связаны с именем родоначальника национальной сцены на идише Авраама Гольдфадена. С большой литературой: с пьесами Шолом-Алейхема и Переца, Шолома Аша и Гордина, Гиршбейна, Бергельсона, Галкина и Маркиша. С режиссурой Алексея Грановского. С основанным им московским ГОСЕТОм (Государственным еврейским театром), с Виленской труппой и с театром в Варшаве. С Каминскими, Михоэлсом, Зускиным, Иосифом Каменем и Шимоном Джиганом. С Шагалом, Фальком, Альтманом и Тышлером. Можно было бы перечислить еще много имен и названий. Но дело не в перечислениях. Все это история, у которой не видно продолжения.

Израильский театровед и театральный рецензент Мендель Коханский (ныне покойный) лет шесть назад опубликовал небольшую статью, наделавшую много шума. Называлась она "Умиравший театр?" и, хотя была снабжена для приличия вопросительным знаком, смысл ее не оставлял сомнений. Не умирающий театр, а умерший театр. Театр на идише мертв. Как писал Коханский: "Верно прослужив еврейскому народу свыше ста лет, он должен теперь занять почетное место в учебниках истории, в университетских курсах, в архивах. Но он не заслуживает того, чтобы его труп волочили по улицам".

Можно ли согласиться с подобным категорическим утверждением? Есть ли все-таки у театра на идише реальное будущее, ясные перспективы развития?

Эта проблема подробно обсуждалась на Первом международном конгрессе-фестивале еврейского театра в Тель-Авиве в июле 1982 года. Точки зрения, как водится, были разные. Некий парадокс заключался уже в том, что из двадцати с лишним спектаклей еврейских театров Америки, Англии, Франции, Канады, Израиля не было ни одного на идише! Даже молодой исследователь и энтузиаст еврейского театра на идише Мэл Гордон из Нью-Йорка, выступавший на конгрессе-фестивале со своеобразным спектаклем-лекцией "Михоэлс играет короля Лира", говорил только по-английски. Идиша он не знает.

В судьбе современного театра на идише таких парадоксов хоть отбавляй. Взять хотя бы то, что государственные театры на идише существуют только в Советском Союзе, Польше и Румынии.

Московский театр, приписанный к Биробиджану (кажется, так никогда там и не побывавший), я не видел. Слышал только, что для большинства его актеров текст ролей на идише писался русскими буквами для механического заучивания. Бедные актеры! Впрочем, платили им неплохо. Анекдот это или нет, но говорят, что, живя постоянно в Москве, они получали щедрые командировочные, как гастролеры из Хабаровского края.

Еврейский театр в Москве – пропагандистский собрат журнала "Советские геймланд".

Что представляет собой сегодня Еврейский государственный театр из Варшавы имени Э.-Р. Каминской, мы узнали во время его гастролей в Израиле три года назад.

Как всем известно, после 1968 года в Польше осталось всего несколько тысяч евреев. Так что Варшавский театр может рассчитывать лишь на весьма и весьма ограниченную

аудиторию. И сама труппа практически лишена притока свежих сил. Это, безусловно, накладывает отпечаток на всю жизнь коллектива.

Зал театра в Варшаве оборудован специальной аппаратурой для синхронного перевода с идиша на польский. И в самом коллективе немало актеров-поляков, которые изучили идиш в студии при театре или, подобно своим "старшим братьям" из Москвы, просто зазубривают текст наизусть. Театр полностью субсидируется государством и был бы давно закрыт, если бы не еврейские туристы из США, Англии, Канады, Франции, которые охотно платят твердую валюту за возможность совершить ностальгический экскурс в прошлое. И это – в Варшаве, которая когда-то была столицей еврейской культуры.

Неудивительно, что Еврейский театр из Варшавы – театр-музей. Он сознательно сохраняет традиции и облик бродячей еврейской труппы начала века. По его спектаклям легко представить, как играли "блуждающие звезды" во главе с Эстер-Рохл Каминской или ее дочерью Идой. Кажется, все веяния современной режиссуры обошли театр стороной.

Если же говорить о наших израильских, довольно многочисленных, эстрадных по преимуществу группах, играющих на идише, то о таких высоких материях, как режиссура или ансамбль, приходится начисто забыть. Ведь все они существуют на свой страх и риск, без субсидий и поддержки, и потому – для кассы – пускаются во все тяжкие. Как говорил сказочный Берендей о скоморохах в "Снегурочке" Островского: "Кувыркайтесь, ломайтесь, дураки!".

Написав все это, я почувствовал, что зашел слишком далеко. Мне явно не хватает оппонента. И здесь я вспомнил, что несколько лет назад, готовя очередную передачу для радио, я беседовал о прошлом и будущем театра на идише с Леей Кениг.

Лея Кениг – сегодня признанная первая актриса Израильского национального театра "Габима". Она много лет говорит со сцены на иврите. И одновременно продолжает играть на идише вместе со своим мужем Цви Штолпером. Сказывается крепкая семейная закуска. Родители Леи Кениг были известными актерами на идише в Польше и Румынии. Она дочь Иосифа Каменя, ведущего актера знаменитой Виленской труппы.

Разговаривали мы часа четыре, не меньше. Прежде всего, Лея Кениг решительно заявила:

– Театр на идише умер? Это я слышу в Израиле каждый год. Чепуха! Кажется, все – конец. И вдруг – один спектакль, и успех, аплодисменты, сборы, зрители. Мы с мужем играем программу: Шолом-Алейхем, Мангер, современные сатирические сценки и скетчи. Играем постоянно. И в зале постоянно – тысячи зрителей. В Тель-Авиве, в зале "Гейхаль-а-тарбут", где Айзик Стерн праздновал свое шестидесятилетие, – три тысячи мест. И на наших концертах все они заняты. Так везде. В Израиле, в Бельгии, в Антверпене, где мы были в 1979 году. В Австралии, в Америке. В США приходят не только старики, много молодых лиц. Послушайте, то, что идет в Израиле на иврите, то, что пишут на иврите наши драматурги, это мало кого может заинтересовать в Америке, в Европе, даже если играть при наушниках, с переводом. А наши классики – Шолом-Алейхем, Перец или Ицик Мангер – интересуют до сих пор. У нас в "Габиме" восемнадцать лет назад поставили "Ди клейне менчелах" ("Маленькие человечки") Шолом-Алейхема и имели большой успех. И спектакль до сих пор сохраняется на афише. Играют три "Шмулика": Роденский, Ацмон и Сегаль. И что же, уже который спектакль, а зал полон.

Особенно – за границей. Люди приходят слушать Шолом-Алейхема, слушать идиш и смеются два часа подряд.

Я вам скажу: если я что-то собой представляю, то всем этим я обязана театру на идише. Здесь я научилась петь, танцевать, двигаться, произносить монолог, выпалить одним духом репризу, сыграть шутку.

Театр на идише – не современный театр?

А что такое сейчас современный драматический театр?

В Америке, например. В Европе. Это теперь не только слово. Это эстрада. Это балет. Это песня, это танец. Это мюзикл.

Еврейский театр на идише родился как народный мюзикл, как национальная оперетта. Я не критик, не театровед, но, по-моему, американский мюзикл появился из театра на идише. В Нью-Йорке было много театриков на идише, потомков труппы Гольдфадена, который переселился из России в Америку. Они играли еврейские оперетки, и по их образцам развивались первые мюзиклы.

Джордж Гершвин, родом из Одессы, хотел написать оперу, мюзикл на еврейскую тему. Но антрепренер, продюсер, не захотел. И Гершвин написал на негритянскую тему, но на еврейский манер – "Порги и Бесс". Это вообще было торжество "негритянского" искусства: музыка Гершвина, оформлял Судейкин, ставил Мамулян...

Вот вы говорите – пошлые оперетки! Но люди получают удовольствие, смеются и плачут. Вспоминают прошлую жизнь. Конечно, я не за пошлые оперетки, где действие начинается в Биробиджане, а заканчивается в Нью-Йорке. Я не за ностальгию только. Должен быть современный репертуар. Люди хотят видеть себя в театре на идише. Хотя видеть современную сатиру. Идиш словно рожден для сатиры и юмора. Мы с мужем всегда включаем в наши программы сатирические сценки на современные темы...

И тут я спросил у Леи Кениг: "А кто же будет писать эти пьесы на идише на современные темы? Где они, эти новые молодые Шолом-Алейхемы или, скажем, Башевис-Зингеры? Что-то не видно". Лея Кениг согласилась – не видно. Но будет спрос – будет предложение. Будет хорошая труппа – и драматург найдется. Словом, разговор опять перешел в абстрактный план. Прошло несколько дней (дело было в 1980 году), и в двух номерах издававшегося тогда в Тель-Авиве журнала "Время и мы" я прочитал пьесу русского писателя Фридриха Горенштейна "Бердичев".

Поверьте мне, я человек не сентиментальный. Но я смеялся и плакал. Это не ностальгия. Я никогда не жил жизнью героев "Бердичева". И мои родители не жили, разве что в далеком детстве: в белорусских местечках, откуда они после революции уехали в Петроград шестнадцати лет от роду.

Но в этой драме (как сказано автором: в трех действиях и 92 скандалах), в пьесе писателя еврейского происхождения и русской культуры, на наших глазах как бы обнажаются корни дерева. Еврейские корни большого семейного дерева. Пьеса написана на смеси русского и идиша. Один язык переходит в другой и наоборот.... На той смеси, на которой реально говорят жители бывшего еврейского, символически еврейского города Бердичева. Вернее, говорили. Но автор доказывает: говорят. Герои все время уходят от своих корней, от корней дерева, и все время к ним возвращаются, как внуки героини образца 1975 года – Алла Пейсаховна и Лада Пейсаховна Лейбензон...

Бальзак венчался в Бердичеве... Первый пласт пьесы – этнографический, речевой.

Почти Шолом-Алейхем пополам с Островским. То, как говорят, например, две сестры (по аналогии с Чеховым) – героини "Бердичева" Рахель и Злота – сочинить невозможно. Это можно только подслушать. И подслушать – только родившись в этой среде, причудливой среде еврейских домохозяек из коммунальных кухонь и еврейских революционерок, боровшихся с "гидрой сионизма". Была в Бердичеве, рассказывает автор, такая революционерка, которая боролась за правду. Ее так и прозвали: "Доня с правдой". И одна из сестер, старшая, больная и странная Злота, когда спорит с Рахелью, горячо возражает: "Я скажу как есть, как надо. Я Доня с правдой..."

Но это, как уже говорилось, первый, бытовой пласт пьесы. Бальзак венчался в Бердичеве... Снова по аналогии с Чеховым постепенно из бытовых разговоров, из семейной хроники протяженностью в 30 лет, из 92-х скандалов в пьесе Фридриха Горенштейна начинает проглядывать ее второй лик, глубинное, символическое содержание.

Один из многочисленных героев драмы, Виля, племянник двух сестер, а точнее, – явно и зримо стоящий за ним автор, объясняет, что такое Бердичев. Не город, не географическое понятие, а символ, смысл, корень, исток.

"Бердичев – это уродливая хижина, выстроенная из обломков великого храма. Вся эта уродливая хижина Бердичев человеку, приехавшему из столицы, действительно кажется грудой хлама, но начните это разбирать по частям и вы обнаружите, что заплыванные, облитые помоями лестницы, ведущие к покосившейся двери этой хижины, сложены из прекрасных мраморных плит прошлого, по которым когда-то ходили пророки..."

Не таков ли, как Бердичев, и сам язык идиш, многострадальный идиш, часто презрительно именуемый жаргоном? Не таков ли веселый грубоватый отпрыск его – театр на идише?

Но вернемся к моему диалогу с Леей Кениг...

ЛЕЯ КЕНИГ. В свое время в Израиле иврит боролся с идишем. Это большая и большая тема, очень серьезная, и сегодня мы о ней не будем говорить. Тем более, это уже совсем не актуально. Иврит и идиш в наши дни могут свободно сосуществовать рядом. Особенно в театре. Почему нет? Вы говорите, что некому играть? Нет молодых сил, их никто не готовит? На днях к моему мужу пришла молодая актриса, лет 24-х – 25-и, просит написать для нее пьесу на идише, хочет играть. И она не одна, поверьте мне. Будет театр, будет и студия, где будут учить на идише. Многие из молодых, кто не знает этого еврейского языка, пойдут туда. А вы знали иврит, когда приехали в Израиль? А я знала? Я учусь до сих пор, каждый день, каждый час.

Я. А если бы вдруг завтра появился современный театр на идише с хорошей современной пьесой (добавлю задним числом – с такой, например, как "Бердичев" Горенштейна), вы бы пошли в него работать?

ЛЕЯ КЕНИГ. Пошла бы не задумываясь. Театр на идише – моя жизнь. Только надо, чтобы кто-то начал. Не так уж много денег потребуется. Без большой рекламы. Небольшая, мобильная труппа, несколько "звезд", современный репертуар, и дело пойдет. Конечно, надо быть немножко *халуцим* – пионерами, энтузиастами. Кто начнет? И когда? Этого я не знаю.

Все познается в сравнении. Вспоминаю театральные встречи и впечатления прошлой советской жизни. В большом северном городе Петрозаводске вот уже в течение многих десятилетий существует и постоянно множит свою популярность Финский Государственный драматический театр, который, как правило, привлекает на свои спектакли, идущие на финском языке, 60–70 процентов русских зрителей. Это подсчитано точно. Или маленький литовский город Паневежис, куда мы ездили специально в театр Юозаса Мильтиниса из Ленинграда, Москвы или Риги. И, наконец, ГОСЕТ – еврейский театр в Москве, где многие зрители или не знали идиша, или вообще не были евреями. На мой взгляд, ГОСЕТ, театр Грановского, Михоэлса и Зускина, остается и по сей день эталоном, примером высокохудожественного и остро современного театра на языке идиш. И примером театра, всегда остававшегося, по национальной традиции, театром синтетическим, театром музыкально-драматическим. И почему бы театру на иврите, не имевшему корней и родившемуся, как известно, в лоне Московского Художественного театра, среди его многих студий не поискать не только в западном направлении, но и, образно говоря, в "бердичевском"?

Театр на идише не умер, а находится в летаргии, в состоянии временной спячки. Исчерпал себя старый театр на идише, играющий пошлые оперетки и мелодрамы столетней давности. Театр, находящийся на уровне XIX века, без режиссуры и ансамбля. Настоящему современному театру на языке идиш будущее обеспечено. Только это должен быть хороший театр! Мысль более чем простая. Дело лишь за теми, кто ее претворит в жизнь. Поэтому подождем покада торжественно восклицать: "Король умер! Да здравствует король!..."

Голда МЕИР

*Автобиография**

(Иерусалим — Нью-Йорк — Москва)

ПОСОЛ В МОСКВЕ

Мы прилетели в Москву через Прагу серым дождливым утром 3 сентября 1948 года. Чиновники советского министерства иностранных дел, встретившие меня на аэродроме, сказали, что сейчас добраться до гостиницы будет непросто, поскольку хоронят Андрея Жданова, одного из ближайших сотрудников Сталина. Так что первым моим впечатлением от Советского Союза была продолжительная торжественность похорон, сотни тысяч, — если не миллионы, — людей на улицах по дороге к "Метрополю". Это была гостиница для иностранцев, и она казалась пережитком другой эпохи. Огромные комнаты с хрустальными канделябрами, длинные бархатные портьеры, тяжелые плюшевые кресла и даже рояль в одной из комнат. На каждом этаже сидела строгая немолодая дама, которой полагалось сдавать ключи при выходе, но главное ее дело было доносить Госбезопасности о посетителях, хотя вряд ли она была единственным источником информации. Мы так и не обнаружили микрофонов в своих комнатах, хотя систематически их искали, однако старые дипломаты, аккредитованные в Москве, не сомневались, что каждое слово, сказанное в двух комнатах, которые занимали мы с Сарой и Зехарией, было записано.

Прожив в гостинице неделю, я поняла, что если мы немедленно не начнем жить "по-кибуцному", то останемся без копейки. Цены были невероятные, первый гостиничный счет меня буквально оглушил. "Есть один-единственный способ уложиться в наш тощий бюджет, — сказала я членам миссии, — столоваться в гостинице только раз в день. Я добуду продукты для завтраков и ужинов, а в пятницу вечером будем обедать все вместе". На следующий день мы с Лу Хадар купили электроплитки, распределили их по номерам, занятым нашей делегацией; посуду и ножи с вилками пришлось одолжить в

*Главы из книги, готовящейся к выходу в издательстве "Библиотека-Алия"

гостинице – купить это в послевоенной Москве было невозможно. Раза два в неделю мы с Лу нагружали корзинки сыром, колбасой, хлебом, маслом, яйцами (все это покупалось на рынке, чуть дешевле, чем в городских магазинах) и клали продукты между двойными рамами окон, чтобы не испортились. По субботам я готовила что-то вроде второго завтрака на электроплитке для своей семьи и холостяков, в том числе Эльги и Лу.

Пожалуй, эти походы на рынок ранним морозным утром были самым приятным из всего, что мне пришлось делать в течение семи месяцев пребывания в Советском Союзе. Ни я, ни Лу не говорили по-русски, но крестьяне на рынке были с нами приветливы и терпеливы, улыбками и жестами давали понять, что мы можем выбирать не торопясь. Я, как и почти все, была очарована вежливостью, искренностью и теплотой простых русских людей, хотя, разумеется, меня, как социалистку, поражало то, что я наблюдала в этом так называемом бесклассовом обществе. Я не верила своим глазам, когда, проезжая по московским улицам в сорокаградусный мороз, видела, как пожилые женщины, обмотав ноги тряпьем, роют канавы и подметают улицы, в то время как другие, в мехах и на высоких каблуках, садятся в огромные сверкающие автомобили.

С самого начала мои комнаты по пятницам были открыты для посетителей. Я надеялась, что местные люди будут, как в Израиле, заходить на чашку чая с пирогом, но то была наивная надежда, хотя традиция пятничных вечеров сохранялась и долго после того, как я покинула Москву. Приходили журналисты, приходили евреи и неевреи из других посольств, приходили заезжие еврейские бизнесмены (например, меховщики из Штатов), но русские – никогда. И ни разу – ни разу! – не зашли русские евреи. Но об этом позже.

Первым моим официальным документом было письмо к советскому министру иностранных дел г-ну Молотову с выражением соболезнования по поводу смерти Жданова, после чего я вручила верительные грамоты. Президент СССР, Николай Шверник, отсутствовал, так что церемония происходила при его заместителе. Не скрою, я очень нервничала. А вдруг я сделаю или скажу не то, что нужно? Это может иметь дурные последствия для Израиля. А если я разочарую русских? Мне никогда не приходилось делать ничего в этом роде, и меня переполняло чувство ответственности. Но Эльга меня успокоила, уговорила надеть ее жемчуга, и я в сопровождении Намира, Арье Левави (нашего первого секретаря) и Йоханана Ратнера (военного атташе) более или менее спокойно приняла участие в коротком ритуале, отметившем начало официального существования израильского посольства в СССР. Когда верительные грамоты были прочитаны, я сказала короткую речь на иврите (предварительно посланную начальнику советского протокольного отдела, чтобы был приготовлен перевод), а потом в мою честь состоялся скромный, довольно приятный официальный прием.

После того, как с основными формальностями было покончено, мне страстно захотелось установить связь с евреями. Я уже сказала членам миссии, что как только вручу верительные грамоты, мы все пойдем в синагогу. Я была уверена, что уж тут-то мы во всяком случае встретимся с евреями России; тридцать лет, с самой революции, мы были с ними разлучены и почти ничего о них не знали. Какие они? Что еврейского осталось в них, столько лет проживших при режиме, который объявил войну всякой религии и иудаизму как таковому, и который считал сионизм преступлением,

наказуемым лагерями или ссылкой. Но в то время как иврит был запрещен, идиш еще терпели, и была даже создана автономная область для евреев, говорящих на идише — Биробиджан, близ китайской границы. Правда, из этой затеи ничего не получилось, и после второй мировой войны, в которой погибли миллионы русских евреев, советские власти постарались, чтобы большая часть еврейских школ и газет не была восстановлена. К тому времени, как мы приехали в Советский Союз, евреев уже открыто притесняли — начался тот злобный, направляемый правительством антисемитизм, который пышно расцвел через несколько лет, когда евреи преследовались широко и беспощадно и еврейские интеллигенты — актеры, врачи, писатели — были брошены в тюрьму за "космополитизм" и "сионизм". Положение получилось трагическое: члены миссии, имевшие в России близких родственников, братьев, сестер, даже родителей, все время терзались, не понимая, можно ли им увидеться с теми, о встрече с которыми они так мечтали, ибо если откроется, что у тех есть родственники-израильтяне, это может закончиться судом и высылкой.

Трудная это была проблема; бывало, мы несколько дней подряд взвешивали "за" и "против": должен ли "икс" встретиться со своей сестрой, надо ли передать продукты и деньги старой и больной матери "игрека", — и, как правило, приходили к выводу, что это может причинить им вред и ради них же лучше ничего не предпринимать. Были, конечно, исключения, но я и сегодня не решаюсь о них писать, потому что это может быть опасно для евреев, все еще находящихся в России.

Теперь весь цивилизованный мир знает, что случается с советскими гражданами, если они игнорируют изуверские правила, с помощью которых руководители стремятся их себе подчинить. Но был 1948 год, время нашей, так сказать, первой любви, и нам было очень трудно понять и принять систему, в которой встреча матери с сыном, которого она не видела тридцать лет, да который к тому же член дипломатического корпуса и "персона грата" в Советском Союзе, приравнивается к государственному преступлению.

Как бы то ни было, в первую же субботу после вручения верительных грамот все мы пешком отправились в главную московскую синагогу; мужчины несли молитвенные покрывала и молитвенники. Там мы увидели сто — сто пятьдесят старых евреев, разумеется, и не подозревавших, что мы сюда явимся, хотя мы и предупредили раввина Шлифера, что надеемся посетить субботнюю службу. По обычаю, в конце службы было произнесено благословение и пожелание доброго здоровья главным членам правительства, а потом — к моему изумлению — и мне. Я сидела на женской галерее (в ортодоксальных синагогах мужчины отделены от женщин), и когда было названо мое имя, все обернулись и стали смотреть на меня, словно стараясь запомнить мое лицо. Никто не сказал ни слова. Все только смотрели и смотрели на меня.

После службы я подошла к раввину, представилась, и мы несколько минут поговорили. Остальные члены миссии ушли вперед, и я пошла домой одна, вспоминая субботнюю службу и тех немногих бедно одетых, усталых людей, которые, живя в Москве, все еще ходили в синагогу. Только успела я отойти, как меня задел плечом старый человек — и я сразу поняла, что это не случайно. "Не говорите ничего, — шепнул он на идише. — Я пойду вперед, а вы за мной". Немного не доходя до гостиницы, он вдруг остановился, повернулся ко мне лицом и тут, на прохваченной ветром московской улице, прочел мне ту самую благодарственную молитву — "Шехехияну", которую читал

раби Фишман-Маймон 14 мая в Тель-Авиве. Я не успела открыть рта, как старый еврей скрылся, и я вошла в гостиницу с полными слез глазами, еще не понимая, реальной была эта поразительная встреча, или она мне пригрезилась.

Несколько недель спустя наступил праздник Рош-а-шана – еврейский Новый год. Мне говорили, что по большим праздникам в синагогу приходит гораздо больше народу, чем просто по субботам, и я решила, что на новогоднюю службу посольство снова явится в полном составе. Перед праздником, однако, в "Правде" появилась большая статья Ильи Эренбурга, известного журналиста и апологета советской власти, который сам был евреем. Если бы не Сталин, истово писал Эренбург, то никакого еврейского государства не было бы и в помине. Но, объяснял он во избежание недоразумений, государство Израиль не имеет никакого отношения к евреям Советского Союза, где нет еврейского вопроса и где в еврейском государстве нужды не ощущается. Государство Израиль необходимо для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм. И вообще, не существует такого понятия – "еврейский народ". Это так же смешно, как если бы кто-нибудь заявил, что люди с рыжими волосами или с определенной формой носа должны считаться одним народом.

Эту статью прочла не только я, но и все евреи Москвы. И так же, как я, поскольку они привыкли читать между строк, они поняли, что их предупреждают: надо держаться от нас подальше. Тысячи евреев сознательно и бесстрашно решили дать свой ответ на это мрачное предостережение, и этот ответ, который я видела своими глазами, поразил и потряс меня в то время, он вдохновляет меня до сего дня. Все подробности того, что произошло в тот новогодний день, я помню так живо, как если бы это было сегодня, и волнуясь, вспоминая об этом, ничуть не меньше, чем тогда.

В тот день, как и собирались, мы отправились в синагогу. Все мы – мужчины, женщины, дети – оделись в лучшие платья, как полагается евреям на еврейские праздники. Но улица перед синагогой была неузнаваема. Она была забита народом. Тут были люди всех поколений: и офицеры советской армии, и солдаты, и подростки, и младенцы на руках у родителей. Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно две тысячи человек – тут же нас ожидала пятидесятитысячная толпа. В первую минуту я не могла понять, что происходит, и даже – кто они такие. Но потом я поняла. Они пришли – хорошие, храбрые евреи – пришли, чтобы быть с нами, пришли продемонстрировать нам свое чувство общей принадлежности и отпраздновать создание государства Израиль. Через несколько секунд они обступили меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на руках, снова и снова называя меня по имени. Наконец они расступились, чтобы я могла войти в синагогу, но и там продолжалась демонстрация. То и дело кто-нибудь на хорах (галерея для женщин) подходил ко мне, касался моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без парадов, без речей, фактически – без слов, евреи Москвы выразили свое глубокое стремление, свою потребность участвовать в чуде создания еврейского государства, и я была для них символом этого государства.

Я не могла ни говорить, ни улыбнуться, ни даже помахать рукой. Я сидела неподвижно, как каменная, под тысячами устремленных на меня взглядов. Нет такого понятия – еврейский народ, написал Эренбург. Евреям Советского Союза нет дела до государства Израиль! Но это предостережение не нашло отклика. Тридцать лет были разлучены мы с ними. Теперь мы снова были вместе, и, глядя на них, я понимала, что

никакие самые страшные угрозы не помешают восторженным людям, которые в тот день были в синагоге, объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. Служба закончилась, и я поднялась, чтобы уйти. Но двигаться мне было трудно. Такой океан любви обрушился на меня, что стало трудно дышать; думаю, что я была на грани обморока. А толпа все волновалась вокруг меня, и люди протягивали руки, и говорили: "Наша Голда!" и "Шалом! Шалом!", и плакали.

Две фигуры из всех я и теперь вижу ясно: маленького человека, все выскакивавшего вперед со словами: "Голделе, лебен золст ду, шоно тойво!" ("Голделе, живи и здравствуй, с Новым годом!"), и женщину, которая только повторяла: "Голделе! Голделе!", улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.

Я не смогла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмотря на запрет евреям ездить по субботам и праздникам, кто-то толкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с места: его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они простили мне мое нежелание ехать в Москву, недооценку силы наших связей. Простили мне то, что я позволила себе сомневаться – есть ли что-нибудь общее между нами. Но я не могла найти слов. Только и сумела пробормотать не своим голосом одну фразу на идише: "А-данк эйх вос ир зейт геблибен иден!" ("Спасибо вам, что вы остались евреями!"). И я услышала, как эту жалкую, неподходящую к случаю фразу передают и повторяют в толпе, словно чудесное пророчество.

Наконец, еще через несколько минут, они дали такси проехать. В гостинице все собрались в моей комнате. Мы были потрясены до глубины души. Никто не сказал ни слова. Мы просто сидели и молчали. Откровение было слишком огромным, чтобы мы могли это обсуждать, но нам надо было быть вместе. Эльга, Лу и Сара рыдали навзрыд, несколько мужчин закрыли лица руками. Но я даже плакать не могла. Я сидела с помертвевшим лицом, уставившись в одну точку. И вот так, взволнованные до немоты, мы провели несколько часов. Не могу сказать, что тогда я почувствовала уверенность, что через двадцать лет увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла одно: Советскому Союзу не удалось сломить их дух; тут Россия, со всем своим могуществом, потерпела поражение. Евреи остались евреями.

Кто-то сфотографировал эту новогоднюю толпу – и, наверное, фотография была размножена в тысячах экземпляров, потому что потом незнакомые люди на улице шептали мне еле слышно (я сначала не понимала, о чем они говорят): "У нас есть фото!". Ну конечно, я понимала, что они бы излили свою любовь и гордость даже перед обыкновенной шваброй, если бы швабра была прислана представлять Израиль. И все-таки я каждый раз бывала растрогана, когда много лет спустя русские евреи, приезжая в Израиль, показывали мне эту пожелтевшую от времени фотографию или ту, где я вручаю верительные грамоты – она появилась в 1948 году в советской печати, и ее тоже любовно хранили два десятилетия.

В Йом-а-кипурим (Судный день), который наступает через десять дней после еврейского Нового года, тысячи евреев опять окружили синагогу, на этот раз я оставалась с ними весь день. Помню, как раввин прочитал заключительные слова службы: "Ле-шана а-баа б'Ирушалаим!" ("В будущем году в Иерусалиме!"), и как трепет прошел по синагоге, и я помолилась про себя: "Господи, пусть это случится! Пусть не в будущем году, но пусть

евреи России приедут к нам поскорее!'''. Но и тогда я не ожидала, что это случится при моей жизни.

Вскоре я удостоилась чести встретиться с господином Эренбургом. Один из иностранных корреспондентов в Москве, англичанин, заглядывавший к нам по пятницам, спросил, не хочу ли я встретиться с Ильей Эренбургом.

— Пожалуй, хочу, — сказала я, — мне бы хотелось кое о чем с ним поговорить.

— Я это устрою, — обещал англичанин.

Несколько недель спустя, на праздновании Дня независимости в чешском посольстве, он подошел ко мне.

— Господин Эренбург здесь, — сказал он, — подвести его к вам?

Эренбург был совершенно пьян (как мне сказали, такое с ним бывало нередко) и с самого начала держался агрессивно. Он обратился ко мне по-русски.

— Я, к сожалению, не говорю по-русски, — сказала я. — А вы говорите по-английски?

Он смерил меня взглядом и ответил:

— Ненавижу евреев, родившихся в России, которые говорят по-английски.

— А я, — сказала я, — жалею евреев, которые не говорят на иврите или хотя бы на идише.

Конечно, люди все слышали, и не думаю, чтобы это подняло их уважение к Эренбургу.

Гораздо более интересная и приятная встреча произошла на приеме у Молотова по случаю годовщины русской революции, на который приглашаются все аккредитованные в Москве дипломаты. Послов принимал сам министр иностранных дел в отдельной комнате. После того, как я пожала руку Молотову, ко мне подошла его жена Полина.

— Я так рада, что вижу вас наконец! — сказала она с неподдельной теплотой, даже с волнением. И прибавила: — Я ведь говорю на идише, знаете?

— Вы еврейка? — спросила я с некоторым удивлением.

— Да! — ответила она на идише. — Их бин а-идише тохтер*.

Мы беседовали довольно долго. Она знала, что произошло в синагоге, и сказала, как хорошо, что мы туда пошли.

— Евреи так хотели вас увидеть!

Потом мы коснулись вопроса о Негеве, обсуждавшегося тогда в Объединенных Нациях. Я сказала, что не могу отдать его, потому что там живет моя дочь, и добавила, что Сара сейчас находится со мной в Москве.

— Я должна с ней познакомиться, — сказала госпожа Молотова.

Тогда я представила ей Сару и Яэль Намир; она стала говорить с ними об Израиле и задала Саре множество вопросов о кибуцах: кто там живет, как они управляются. Она говорила с ними на идише и пришла в восторг, когда Сара ответила ей на том же языке. Когда Сара объяснила, что в Ревивиме все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась.

— Это неправильно, — сказала она. — Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться с тем, что он об этом думает и пишет.

*Я еврейка.

Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сару и сказала со слезами на глазах:

– Всего вам хорошего. Если у вас все будет хорошо, все будет хорошо у всех евреев в мире.

Больше я никогда не видела госпожу Молотову. Позже Генри Шапиро, корреспондент Юнайтед Пресс в Москве, рассказал мне, что после разговора с нами Полина Молотова была арестована, и я снова вспоминала и тот прием, и военный парад на Красной площади, который мы видели накануне. Как я завидовала русским: ведь даже крошечная часть того оружия, что они показали, была нам не по средствам. И Молотов, словно прочитав мои мысли, поднял свою рюмку с водкой и сказал мне:

– Не думайте, что мы все это получили сразу. Придет время, когда и у вас будут такие штуки. Все будет в порядке.

Но в январе 1949 года стало ясно, что русские евреи дорого заплатят за прием, который они нам оказали, ибо для советского правительства радость, с которой они нас приветствовали, означала "предательство" коммунистических идеалов. Еврейский театр в Москве закрыли. Еврейскую газету "Эйникайт" закрыли. Еврейское издательство "Эмес" закрыли. Что с того, что все они были верны линии партии? Слишком большой интерес к Израилю и израильтянам проявило русское еврейство, чтобы это могло понравиться в Кремле. Через пять месяцев в России не осталось ни одной еврейской организации, и евреи старались больше не приближаться к нам.

С английского. Перевод Руфи ЗЕРНОВОЙ.

Шимон МАРКИШ

Пример Василия Гроссмана

(Фрагменты)*

Полезность примера определяется, по-видимому, его поучительностью, применимостью к опыту и кругу интересов тех, к кому пример обращен.

Жизнь и творчество советского писателя Василия Гроссмана, имя которого в его стране сегодня почти забыто, а за пределами Советского Союза прежде не было известно вообще, в высокой мере поучительны для самых различных людей. Дебютировав в начале 30-х годов как небезалаженный представитель своего литературного поколения, его политических и эстетических убеждений и практики, он стал первым доподлинно инакомыслящим в советской литературе, создав в романе "Жизнь и судьба" (закончен в 1960 году, опубликован по-русски в Лозанне в 1980-м, французский перевод подготовлен тем же издательством "П'Аж д'Ом") историософскую и художественную концепцию, **полностью** противостоящую официальной идеологии со **всеми** ее догмами и мифологемами. Его писательский путь отмечен не только почестями и достатком в начале, опалой и бедностью под конец, но и обстоятельствами исключительными или, во всяком случае, до той поры беспрецедентными: рукопись романа была арестована как опаснейшая крамола, а крамольник не только остался на свободе, но и продолжал печататься — и в те немногие годы, что ему осталось прожить, и посмертно. Через шесть лет после кончины Гроссмана, в 1970 году, на Западе вышла повесть "Все течет...", писавшаяся параллельно с романом и с той же (если не большею) беспощадностью и бескомпромиссностью судящая революцию, ее плоды и корни, ее творцов — Ленина и Сталина. Из тайной крамола сделалась явной, однако и тут имя Василия Гроссмана не исчезает вполне с книжных обложек и газетно-журнальных страниц, хотя по силе отрицания революции и созданного ею режима Гроссман сопоставим лишь с Солженицыным.

Как это возможно? Оплотность руководителей идеологии или разумная, целесооб-

* Полностью статья Ш. Маркиша будет опубликована в сборнике избранных произведений В. Гроссмана, который готовится к выходу в издательстве "Библиотека-Алия" (Иерусалим).

разная линия? Как ушли на свободу рукописи автора, не имевшего, по-видимости, никаких контактов с границей и, судя по воспоминаниям друзей и знакомых*, очевидным образом боявшегося этих контактов? Как, почему, в какие сроки совершилась эта метаморфоза — превращение убежденного революционера и верного, надежного защитника режима, созданного революцией, в контрреволюционера и последовательнейшего противника советской власти? Какова внутренняя связь между "Жизнью и судьбой" — второй и "подпольной" частью дилогии — и первой частью той же дилогии, романом "За правое дело", напечатанном в журнале "Новый мир" в июле—октябре 1952 года и сперва восторженно превознесенном как образец социалистического реализма в военной прозе, но сразу же вслед за тем объявленном вражеской вылазкой, идеологической диверсией? Есть ли вообще какая бы то ни было связь между Гроссманом, существующим в Советском Союзе официально, как довоенным, так и послевоенным, и автором романа и повести, вышедших на Западе?

Все эти вопросы и еще много-много других непременно зададут себе люди, профессионально или по-любительски интересующиеся советским обществом, его культурой, советской историей, социальной психологией и психологией творчества. Ответы на них, даже гипотетические, будут, вне всякого сомнения, чрезвычайно поучительны.

В числе аспектов примера Василия Гроссмана есть один, возможно и не из главных, но самый главный и самый важный для автора этих строк. Это еврейский аспект.

Уже с конца прошлого века в русскую словесность начинают проникать евреи. После революции проникновение это приобретает массовый характер. Сегодня в московском отделении Союза писателей, по меньшей мере, треть — еврейского происхождения.

Возможны, опять-таки по меньшей мере, два взгляда на этот процесс — внутренний, то есть взгляд проникших и продолжающих проникать, и внешний — коренной, русский взгляд. Последний колеблется в довольно широких пределах между двумя крайностями: еврейское нашествие погубило русскую литературу — прилив новых сил (сюжетов, идей и т. п.) благотворен. Обзор соответствующих высказываний, начиная от консервативной и либеральной прессы 900-х и 910-х годов и вплоть до нынешних дней (в самиздате, в эмигрантских изданиях), был бы, в свою очередь, поучителен.

Но автора этих строк занимает по преимуществу взгляд изнутри. Еврей по рождению, приобщившись к русской словесности, в большинстве случаев — речь идет о пореволюционной поре — ощущал себя **как писатель** вполне и совершенно русским, нисколько и ни в чем не отличным от прочих русских писателей. Бабель со своим еврейским самосознанием был исключением, правилом можно считать Каверина, или Долматовского, или Безыменского, или Крона — вне зависимости от степени их одаренности или известности. Если иные и вспоминали изредка ту среду, тот мир, откуда они вышли, это была своего рода стилизация, экзотический "местный колорит", с которым писатель — в отличие от Бабея — себя не отождествлял, на который смотрел со стороны, с русской стороны. Война и сопутствовавшая ей гибель шести миллионов евреев оживили чувство принадлежности к народу-мученику настолько, что оно, это чувство, пробилось в русскую литературу во многих и часто неожиданных точках; для примера можно назвать Павла Антокольского и Маргариту Алигер. Но партийно-государ-

ственная идеология к этому времени (1946 год) окончательно повернула от интернационализма к шовинизму, открыто выразившему себя в "борьбе с иностранщиной и низкопоклонством перед Западом", а затем (с 1949 года) — в антикосмополитической кампании. То, что официально именовалось "советским патриотизмом", было, по существу, русским шовинизмом. Манихейство тоталитарной идеологии неизменно требует конкретного символа, противостоящего идеалу, и таким "антиидеалом" вполне логично и разумно, в согласии с исторической традицией стало еврейское самосознание во всех его формах и любых проявлениях. Репрессии быстро вразумили неосторожных и неразумных, пробудившееся было чувство еврейской солидарности замолкло или забилося в самые потаенные уголки сознания.

В советской историографии есть термин "год великого перелома": так назвал 1929 год Сталин в статье, напечатанной к двенадцатой годовщине Октябрьской революции. Термин этот точен и верен (независимо от лживого содержания, которое вкладывал в него Сталин). Именно 1929 год переломил хребет и революции, и партии, и крестьянству, и всей жизни государства и общества, только-только начинавших укладываться на развалинах прошлого. Какой бы скудной, суровой и несправедливой ни была эта новая жизнь, та новейшая, что привел ей на смену "великий перелом", оказалась сверхновшеством — первой в европейской истории тоталитарной системой.

Точно так же "годом великого перелома" следует считать 1953 год. Смерть Сталина переломила хребет советскому варианту тоталитаризма. Какой бы нищей и уродливой ни выглядела жизнь Советского Союза сегодня, какой бы страх и неприязнь ни внушали советская агрессивность, экспансионизм, геронтократия, материальное и социальное неравенство, сеть привилегий, полицейский надзор, репрессии и проч. и проч., не замечать различия между Россиями брежневской и сталинской, развития и перемен последних без малого тридцати лет — неразумно и даже опасно. Едва ли не важнейшая из перемен — нарушение того единообразия во всем, которое было частью "символа веры" тоталитарного порядка вещей и официально именовалось "морально-политическим единством советского общества". Аморфная масса, в которую превращает общество тоталитарный режим, вновь начала кристаллизоваться; появились если и не зародыши плюрализма в западном понимании, то хотя бы возможность инакомыслия по отношению к "единственно верному" учению партии.

В этих обстоятельствах самосознание российского еврейства подверглось испытанию, из результатов которого широко известен лишь самый заметный — эмиграция. Что касается писателей, то если крайние варианты выбора остались прежними, число промежуточных позиций увеличилось, а горечь и острота реакций возросли. В этом последнем отношении очень характерны строки Бориса Слуцкого, появившиеся в самиздате где-то в середине 60-х годов и все еще, по-видимому, не проникшие в печать:

Созреваю или старею —
Прозреваю в себе еврея.

Я-то думал, что я пробился,
Я-то думал, что я прорвался —
Не пробился я, а разбился,
Не прорвался я, а зарвался.

Я читаюсь не слева направо —
По-еврейски: справа налево.
Я мечтал про большую славу,
А дождался большого гнева.

Я, ступивший ногою одною
То ли в подданство, то ли в гражданство,
Возвращаюсь в безродье родное,
Возвращаюсь из точки в пространство.

Эта горечь отторжения, неприятия довоенному поколению была незнакома.

Тот же Борис Слуцкий характерен и в другом отношении. Его живейшая заинтересованность еврейскими проблемами, еврейской трагедией, еврейским бесправием в сталинской и послесталинской России не вызывает сомнений: самиздатовский цикл его "еврейских стихотворений" известен очень широко и отчасти напечатан на Западе. Но как русско-еврейский поэт он почти никогда не сливается, не совпадает с русским поэтом Слуцким, не только существующим открыто, печатно, но и со знаменитым в свое время самиздатовским антисталинистом. Бабелевская бинокулярность видения* (еврей и русский — советский одновременно и на равных правах) сменилась раздвоенностью. У Слуцкого она не болезненна, еврейство и русскость идут параллельно, не мешая друг другу. У многих иных раздвоенность* ведет к ненависти или самоненавистничеству, или к истерическим клятвам в вечной преданности России; особенно отчетливо это видно у эмигрантов последней волны.

Возвратимся, однако, к примеру Василия Гроссмана. Путь этого писателя в указанном выше русско-еврейском контексте оказывается, при внимательном рассмотрении, моделью, по которой проверяются многие пути и судьбы. Именно с этой целью главным образом и под этим углом зрения в первую очередь пишется этот очерк.

.....
Вправе ли мы считать автора "Жизни и судьбы" русско-еврейским писателем?

Я думаю, нельзя сомневаться, что этот роман не был бы написан, не перенеси Гроссман ударов судьбы, которые выпали ему именно как еврею. Собственное горе, несправедливости, жертвою которых стал он сам, открыли ему глаза на чужое горе, на боль и муки жертв иных несправедливостей — и он написал **обо всем**, что увидели его глаза, освободившись от шор, и в истоке нового, универсального видения лежит его еврейская судьба. Я бы решился даже предложить это как термин — писатель еврейской судьбы. Таких много и в русской, и в других литературах, и не только в нынешнем веке, но и в минувшем. Писатель еврейской судьбы — это не просто человек еврейского происхождения, не просто еврей, который не скрывает своей национальной принадлежности и, может быть, даже терпел или терпит неприятности в связи с этой принадлежностью. Недавно в Москве умер известный публицист и первоклассный переводчик Лев Гинзбург. В посмертно напечатанных биографических записках он рассказывает, среди прочего, о поездке в какой-то город бывшей черты оседлости, откуда вышли его родители (сам он родился уже в Москве). Он попадает на старое еврейское кладбище. "Осколки старинных надгробий со стершимися письменами, вросшие в землю, напоминали

надолбы. Очевидно, под одним из таких камней лежал мой прадед, и от прикосновения к этой земле меня словно током ударило: впервые в жизни я так реально, физически ощутил связь поколений, величайшее таинство бытия, связующее предков со мной, а меня через моих детей с неведомыми мне потомками". Сопровождающий писателя местный человек, понятно, еврей, начинает рассказывать о прошлом, "обращаясь то ко мне, то к моим детям. А они стояли, усталые от дороги, от рассказов Миндлина, разомлевшие от солнца, которое припекало все жарче, и, дергая меня за рукав, тихонько просили: — Едем к морю..."*. Возможно, что и дети, состарившись, ощутят нечто подобное — в первый и последний раз в своей жизни, как их отец. Предки для него — не история, не **судьба**, а биология, ниточка **жизни**. Наверное, поэтому так естественно, искренне звучат строки, которые никогда не могли бы выйти из-под пера писателя еврейской судьбы: "Так шло время, шел к концу год 1952, бедный внешними событиями, полный предощущений перемен"*. Это о годе Пражского процесса, о годе — вершине антисемитского террора в сталинской России.

И напротив, не будь Гроссман писателем еврейской судьбы, он не смог бы подняться до той — без преувеличений — головокружительной, беспримечной силы, которая создала письмо Анны Штрум, повесть о смерти Софи Левинтон и ее спутников. И опять-таки дело не в происхождении, не в биологии. Возьмем для сравнения два очень разных романа последних лет, посвященные Катастрофе, — "Выбор Софи" Уильяма Стайрона и "Тяжелый песок" Анатолия Рыбакова: до гроссмановской силы русскому еврею Рыбакову так же далеко, как американцу Стайрону.

Но, с другой стороны, писатель еврейской судьбы и еврейский писатель — не одно и то же. Макс Брод был немецко-еврейским писателем, но к его великому другу, Францу Кафке, это понятие, по моему крайнему разумению, неприменимо. Русско-еврейский писатель — это голос русского еврейства, его самосознание и самопознание. "Жизнь и судьба" намного шире этих рамок. Самопознание ассимилированного еврея занимает в романе свое место, — и место достаточно важное; Виктор Штрум как характер, как тип — литературное открытие первостепенной важности, бабелевского масштаба. Своего рода открытием навыворот мне представляется старый чекист Каценеленбоген, сосед Крымова по камере на Лубянке, теоретик и поэт несвободы*, видящий в лагере универсальный и единственный путь ко всеобщему счастью. Хоть он и отрекомендовывает себя евреем*, автор этой рекомендации не разделяет. Он не сын своей матери, он не принадлежит ни к чему кроме карательных органов социализма в одной стране. Я уже говорил: еврейство, по Гроссману, — это выбор, акт воли, и Каценеленбоген сделал свой выбор, так же как Виктор Штрум — свой. Гроссман "закрывает" столь милый многим русским националистам образ еврейского палача русского народа. Если мы и в ответе за Каценеленбогена, то не как евреи, а как человеческие существа, как советские люди, наследники и потомки обитателей Российской империи, не больше в ответе, чем русские и татары, чем, скажем, Шостакович, или Михаил Булгаков, или сам Солженицын, вменяющий нам в вину Бермана и Раппопорта, Ягоду и Френкеля.

Все это, однако, лишь элементы, детали монументальной картины, эпоса нашего времени, мы можем сказать — советского эпоса, если под "советским" будем понимать не режим, а исторический период в жизни Российского государства. И не так существенно то, что общероссийское, советское, нееврейское занимает в картине

основную площадь, как то, что **художник** Гроссман — русский художник. В первую очередь он видит себя наследником Чехова и Толстого, первый и главный предмет его художнического внимания — Россия, ставшая Советским Союзом. Гроссман “Жизни и судьбы” — первый свободный голос советского народа, первая весть свободы и доброты, вырвавшаяся из зажатого террором рта. Голос еврея, но не еврейский голос. (Так же как Тувим говорил о крови евреев, противопоставляя ее “еврейской крови”.)

* * *

После ареста Главной книги Гроссману оставалось жить три с половиной года: он скончался от рака 14 сентября 1964 года. Я не знаю деталей этого тягостного доживания, мучительного во всех отношениях эпилога жизни. Все наши исчисляемые по пальцам одной руки мемуарные источники сообщают, что он был одинок, подавлен до отчаяния, безвыходно беден, что он невыносимо страдал перед смертью. Я уверен, однако, что как не пропала “Жизнь и судьба”, так не пропадут и живые воспоминания о Гроссмане тех, вероятно, немногих, кого он любил и кому доверял. А такие люди были, и первое тому доказательство — появление на Западе повести “Все течет...” через пять с лишним лет после кончины автора*. Чьи-то руки сохранили эти смертельно опасные для держателя странички, переправили их на волю. Будем надеяться, что из тех же рук (или из иных, близких к ним) выйдут на волю воспоминания, которые помогут нам лучше понять и мятежные книги, и мятежника-автора.

Важно иметь в виду, что отчуждение было взаимным: не только благополучные и здравомыслящие избегали “пасынка времени”, но и сам Гроссман рвал связи с преуспевающими, поспевающими за временем. Очень характерны в этом отношении мемуары Эренбурга: “В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез... Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: “А зачем мне приходиться? У вас свои дела, у меня свои”... Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой”. Дальше Эренбург — и это, если не ошибаюсь, единственное в советской литературе открытое упоминание о “Жизни и судьбе” — пишет: “Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими... Я увидел военных корреспондентов “Красной звезды” — пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не поддержали, не согрели?.. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Это старая история: судьба, видимо, не любит максималистов”*.

К вопросу о том, был ли Гроссман максималистом и что означает его максимализм, я вернусь в заключении своего очерка. Но совершенно понятно и без ссылки на максимализм, почему Гроссман вышел из круга фронтовых приятельств. В “Жизни и судьбе” он отважился на то, о чем еще никто и никогда не смел и подумать, и потому оказался в полном одиночестве — как Прометей, как Иов. Чем могли поддержать его,

согреть бывшие сотрудники по военной газете или сам Эренбург? Напрасно они мучались "мыслями" и угрызениями совести — незачем было бы им ходить к живому Гроссману. У них были делишки, у кого почище, у кого погрязнее, а у него — Дело. Тут уже и не о политике речь, и не о литературе, а о первоосновах нравственного существования, тут веет духом толстовской или гоголевской трагедии.

Именно в эту пору предельного одиночества дописывалась повесть "Все течет..."

Все, что известно об истории ее создания*, — это поставленные в конце даты: 1955—1963. Но сопоставление с "Жизнью и судьбой" и с фактами из жизни страны и автора, укладывающимися в указанные хронологические рамки, позволяет сделать немало любопытных наблюдений.

Время действия повести — 1954—1955 годы. После почти тридцатилетнего заключения в тюрьмах, лагерях и ссылках возвращается из Сибири Иван Григорьевич, которого автор называет "стариком" и который должен быть примерно ровесником автора: в первый раз его сослали в 1924-м или 1925 году, исключив из университета. В Москве он встречается со своим преуспевающим двоюродным братом, в Ленинграде — с еще более преуспевшим бывшим товарищем по университету, доносчиком, который в свое время его посадил. Потом он уезжает в какой-то "южный город", поступает слесарем в инвалидную артель. Здесь к нему приходит поздняя любовь, но через несколько месяцев его подруга умирает от рака. Вот и все, не считая заключительной главки — поездку героя в "приморский город, где под зеленой горой стоял дом его отца"*, в Сочи.

Действия, фабулы, по сути, вообще нет, есть несколько сцен, каждая из которых совершенно статична и каждая — сама по себе, не связана с другой.

Сюжетная невыстроенность подкрепляется, акцентируется обнаженно публицистическим характером всего текста: одна треть его — чистая публицистика, либо непосредственно авторская, либо формально прикрытая ссылкой на размышления Ивана Григорьевича. Вдобавок к этому в повесть включены три вставные новеллы, формально совершенно независимые от сюжета. Можно сказать, что перед нами скорее повесть-раздумье, чем повесть-повествование.

Раздумья Гроссмана в повести "Все течет..." — это, по сути вещей, углубленный комментарий к роману "Жизнь и судьба". Можно предположить, что он создавался сперва, так сказать, на полях романа, а затем, в последние годы, после ареста "Жизни и судьбы" — взамен похищенного, как бы в посильное восполнение невозвратимой потери. Нельзя исключить возможности, что он остался неоконченным. Последняя глава и, особенно, последняя фраза вроде бы и создают впечатление финального аккорда, но сцены на нейтральный сюжетный стержень можно нанизывать и дальше, пища для рассуждений автора (под маской Ивана Григорьевича или без нее) не иссякла.

За малыми и незначительными исключениями все темы, мотивы, идеи повести идут от "Жизни и судьбы": свобода, доброта, государство, национализм, время и его любимцы и пасынки, партия и ее доверие, террор, коллективизация... Часто идеи и темы развиваются, как и надо тому быть в комментарии, но не так уж редки и прямые повторы, и даже дословные совпадения, автоцитаты. Вот, например, чистый повтор: "История человечества есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается, прежде всего, в росте свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал

Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы"*.

А вот развитие, углубление: "В маленьком городке, живя у вдовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильнее стал ощущать смысл свободы. В житейской борьбе, которую ведут люди, в ухищрениях рабочих, добывающих ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за свою единственную трудовую выгоду, он угадывал не только желание жить лучше, досыта накормить детей и одеть их. В борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сваять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. И это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертной по обе стороны лагерьной проволоки"*.

Мне кажется, можно назвать четыре главных линии, которым следует Гроссман-"комментатор". Это — тюрьмы и лагеря, коллективизация, российская история, Ленин.

Хотя лагерь и тюрьма занимают очень важное и очень большое (по числу страниц) место в "Жизни и судьбе", повесть в этом пункте романа не повторяет нисколько. "Все течет..." предвосхищает "Архипелаг ГУЛаг". Часть лагерных глав вполне соответствует тому жанровому определению, которое дал своему труду Солженицын — опыт художественного исследования. Исследуются эволюция ГУЛага, разряды его обитателей, их типическое поведение в тюремной камере и в зоне, "душа и колючая проволока" (так назвал Солженицын четвертую часть "Архипелага"). Разумеется, тут те же отличия, что между эмбрионом и взрослою особью, но и сходство то же: тот же замысел, та же цель, та же — в потенции — сила обобщения и обвинения. Я думаю, что и метод был тот же — опрос уцелевших, сбор воспоминаний, метод очеркиста, метод документальной прозы, освоенный Гроссманом в годы войны. Но Солженицын полон гнева и убийственного сарказма, он неукротимый боец, он памфлетист. Гроссман, и особенно в позднюю пору жизни, и вдвое — после катастрофы с "Жизнью и судьбой", смотрит и говорит горько, устало, в нем больше снисходительности, отчасти презрительной, его вера и надежды зыбче, тон глуше и чувствительнее. Это особенно ясно заметно, если сравнить 8-ю главу из части третьей "Архипелага" ("Женщина в лагере") с главами 12—13 "Все течет...", которые в точности о том же самом — о женщине в лагере. Первая из них — попытка теории, вторая — пример, иллюстрация, вставная новелла о Машеньке Любимовой, "тихой Машеньке", севшей "за мужа" и в течение года проделавшей весь мученический путь лагерницы, от этапа до лагерного морга. Эта новелла о жизни, утасовающей по мере угасания надежды, написана в духе и ключе тихого причитания, придушенного воя плакальщицы. Так не написал (не захотел? не смог?) не только Солженицын, но и Шаламов и Евгения Гинзбург. Особый голос Гроссмана незаменим и необходим в многоголосье лагерного реквиема, и десяток страничек новеллы о тихой Машеньке стоят среди шедевров лагерной темы, рядом с тремя томами "Архипелага".

Об истребительной войне советской власти против крестьянства, известной под именем ликвидации кулачества как класса, в "Жизни и судьбе" упоминается много раз и по разным поводам, но особо ей посвящен лишь один, правда очень сильный и запоминающийся, но и очень короткий эпизод*. В повести крестьянская тема задана с самого начала, в первой же главе (молодой экономист осуждает "сельских лодырей":

“Ведь русские же люди! Не немцы... А работать не любят” — на что сосед экономиста по купе иронически отзывается: “Куда им, сознательности никакой, каждый день кушать хотят”*), и развитие ее идет ретроспективно, от сегодняшних последствий*, нынешней колхозной нищеты, апатии, убожества к причинам и корням, физическому и моральному убийству миллионов, слолившему дух крестьянства. Убийство это показано через воспоминания-исповедь бывшей активистки раскулачивания, с тех пор одумавшейся и раскаявшейся, квартирохозяйки Ивана Григорьевича и его возлюбленной. Ее рассказ в “первую любовную ночь” (глава 14) принадлежит к числу самых высоких, самых мучительных и, не побоюсь сказать, самых великих страниц, когда бы и где бы то ни было напечатанных о трагедии русского и украинского крестьянства.

Я уже говорил, что в “Жизни и судьбе” Гроссман сравнил гитлеровское “окончательное решение” еврейского вопроса со сталинской расправой над крестьянами. Та же мысль — и здесь. Но в романе она подана как прямое авторское рассуждение, суховатое, почти научное, а здесь оделась словами и интонациями отчаянного покаяния: “Я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить, как они после этого могли жить, неужели ни от людей, ни от Бога так и нет им суда? А ты сказал: суд над палачом один — он на жертву свою смотрит не как на человека, и сам перестает быть человеком... И я вспоминаю теперь раскулачивание и по-другому вижу все... Ведь как люди мучались, что с ними делали! А я говорила: это не люди, это кулаче... Чтобы их убить, надо было объявить: кулаки — не люди. Вот так же, как немцы говорили: жида — не люди. Так и Ленин и Сталин: кулаки не люди”. И еще: “В городе по карточкам рабочим по восемьсот грамм давали... А деревенским детям ни грамма. Вот как немцы, детей еврейских в газу душили — вам не жить, вы жида”**.

Гроссман решительно подтверждает, что Катастрофа русского и украинского крестьянства — его личная боль в той же мере, как и Катастрофа европейского еврейства. А ведь еще так недавно он сам, если и не участвовал активно в травле, то сочувствовал гонителям и обличал гонимых. В повести “Народ бессмертен” (первая публикация — газета “Красная звезда”, 1942 год, июль — август), писавшейся для газеты в крайне сжатые сроки и в трудных условиях, он все же нашел место для недобитого кулака-предателя, с нетерпением дожидającego прихода немцев*. Такие же кулацкие недобитки, тоскующие по царским порядкам, горящие по раскулаченным (“...сколько знаменитых богатых хозяев пропало, сколько угнали в тридцатом году...”*) и готовящиеся зажить в свое удовольствие под немцем, выведены с отвращением, с ненавистью в “Правом деле”*.

Две другие главные линии, которые я назвал выше, связаны самим Гроссманом: “Чтобы понять Ленина, недостаточно взглянуть в человеческие, житейские черты Ленина-политика, нужно соотнести характер Ленина сперва с мифом национального русского характера, а затем с роком, характером русской истории”*. Вот вкратце историософская схема Гроссмана*:

Мыслители и пророки России, ее сильнейшие умы и сердца воспевали русскую душу и предрекали ей великое будущее, но они не видели того, что русская душа — тысячелетняя раба. Именно потому избранником ее стал Ленин, хотя, “подобно женихам, прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров...”*. Размах, удаль, ненасытная страсть к воле

— только поверхностные, обманчивые впечатления, которые производит русская душа, и так же обманчиво ощущение, что история России есть история “растущего просвещения и сближения с Западом”. На самом деле “развитие России оплодотворялось ростом рабства” — в прямую противоположность западному развитию. Самым революционным событием во всей русской истории было освобождение крестьян, потому что оно было покушением “на основу основ старой России — ее рабскую душу”. Ленин же только “способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатической души”, способствовал новой победе рабства над свободой. Никакой “загадочной русской души” не существует, потому что “какая же загадка в рабстве?” Если бы на месте русских оказались французы или англичане, они узнали бы ту же судьбу, потому что “всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души”. Ленин “во многом противоположен пророкам России”, но сходен с ними в том, что не различал свободы от рабства.

И в заключение схемы — горчайший вздох:

“Где пора русской свободной человеческой души? Да когда же наступит она?

А может, и не будет ее, никогда не настанет”.

Эта схема требует, по крайней мере, двух замечаний.

Во-первых, здесь нет и следа ненависти к России, здесь бесконечная жалость, рожденная любовью. Ни прежние, довоенные апологеты русской души и русской истории из числа эмигрантов (примером может служить профессор Иван Ильин*), ни новейшие, вроде Солженицына, не вправе были бы укорять Гроссмана в русофобстве.

Во-вторых, по сравнению с “Жизнью и судьбой” историософская позиция не изменилась. Иною, более скептической, чтобы не сказать пессимистической, стала только оценка исторической перспективы, взгляд в будущее, и изменение это вполне объяснимо личными испытаниями последних лет жизни Гроссмана.

Нисколько не противоречат намеренному в “Жизни и судьбе” и внимательный, подробный разбор ленинского характера и ленинской деятельности (глава 21), и главы о Сталине (23 и 24), где утверждается, что именно Сталин, “соединивший в себе азиата и европейского марксиста”, был истинным преемником Ленина, блистательно завершившим начатое Лениным дело*.

Это важно прежде всего потому, что и в романе, наивно предназначавшемся для печати, и в повести, писавшейся тайно, для себя, может быть, — для потомства, Гроссман один и тот же, в нем нет “двурушнического” раздвоения, которое так часто метит советскую инакомыслящую интеллигенцию, каким бы это инакомыслие ни было — либеральным, радикальным, консервативным, почвенным и т.д.

Со скепсисом, разочарованием связана, как мне представляется, новая жалость к человеку, — новая потому, что в ней не только “бессмысленная доброта”, но вполне осмысленная снисходительность к его природной слабости, граничащее с презрением сознание безосновательности его горделивых претензий. Она разлита или, скорее, разбрызгана — фразами, полужазами — по всей повести, но сконцентрирована в блестящем памфлете о доносчиках (глава 7).

Иван Григорьевич или сам автор — это остается нарочито неопределенным — задается вопросом: “Как быть с погубителями-доносчиками?” Четыре категории “иуд”, от посаженного и клеветавшего под пыткой до Иуды-мещанина из коммунальной

квартиры, Иуды-добровольца и стяжателя, проходят перед судом, и у каждого, даже самого низкого, есть свои смягчающие обстоятельства. Сексоты и доносчики не отрицают своей вины, но они требуют, чтобы ее разделили с ними все "соучастники сталинской эпохи", они требуют, чтобы обвинитель ответил на их вопрос: "В чем причина этой подлой, всеобщей, вашей и нашей, поголовной слабости, податливости?" И защитник на воображаемом процессе, или Иван Григорьевич, или снова сам автор, восклицает: "Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, минеральная, физико-химическая сторона человека... Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили... Человек обязан лично себе за мразь человеческую... Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти ворохи лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они, мерзки со своими добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: "Человек — это звучит гордо!"? Да, да, они не виноваты... нет среди живых невинных. Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье. Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?"*

Разумеется, есть в этом памфлете, в этом процессе сильный сатирический элемент, но суть не в сатире, а в признании и своей вины, в покаянии. У Ивана Григорьевича совесть чиста, он тридцать лет просидел и ни в чем не участвовал, но автор, советский писатель Гроссман, участвовал во всем, и в славном, и в срамном, и ему действительно стыдно и тяжело не за доносчиков только, но и за себя самого, за свой былой энтузиазм, близорукость, за свое преклонение перед родителем социалистического реализма и социалистического гуманизма Максимом Горьким, которому принадлежит "нехорошая шутка" о гордом звучании слова "человек"*

Маленькая книжка Гроссмана поразительно богата и смыслом, и художеством, и, хотя подлинное ее значение становится очевидным лишь в связи и в сопоставлении с Главной книгой, она могла и должна была стать событием первостепенной важности и сама по себе, — событием литературным, политическим, общественным. Но, к сожалению, не стала*.

Пора, однако, вернуться к главному для этого очерка — к еврейской стороне Гроссмана.

Она представлена в повести, и достаточно основательно. Счастливый перелом в карьере двоюродного брата Ивана Григорьевича связан с антикосмополитской кампанией 1949—1953 годов, и Гроссман подробно рассказывает о ее течении от первых антисемитских фельетонов до предпогромной атмосферы января 1953 года; рассказ занимает около половины 3-й главы и снова, как в "Жизни и судьбе", вводит антисемитизм в широкий социальный и исторический контекст. Так, об ожидавшейся волне погромов (в связи с сообщением о заговоре еврейских врачей-убийц) Гроссман пишет: "Как и все, что совершалось в стране, и это стихийное возмущение против кровавых преступлений евреев было заранее задумано, запланировано. Вот так же задумывались Сталиным выборы в Верховный Совет — заранее собирались объективки, назначались депутаты, а потом уже планово шло стихийное выдвижение кандидатов,

агитация за них, и наконец наступали всенародные выборы. Вот так же назначались бурные митинги протеста, взрывы народного гнева и проявления братской дружбы, вот так же за много недель до праздничных парадов утверждались репортажи с Красной площади: "В эту минуту я гляжу на мчащиеся танки..." Вот так же назначалась всенародная любовь к вождю, заранее назначались тайные агенты заграницы, диверсанты, шпионы... Вот так же назначались тексты писем, которые матери деревянными голосами зачитывали перед микрофоном, обращаясь к своим сыновьям-солдатам..."* Прекрасно, убедительно, но совершенно то же самое, что в "Жизни и судьбе". Настолько то же самое, что создается ощущение узнавания или даже отгадки. В романе один из коллег говорит Штруму, сделавшему свое замечательное открытие: "Вы Вениамин Счастливый"; в повести завистливый кузен Ивана Григорьевича думает: "Вот Мандельштам отмечен особым везением, какой-то Вениамин Счастливый в биологической науке..." Я уже приводил цитату о евреях, готовых вести на убойные пункты собственных детей, если этого потребует счастье родины. Высказывание это звучит несколько странно в романном контексте — речь там, по-видимому, идет об истреблении евреев гитлеровцами, при чем же тут счастье родины? Недоумение отчасти разрешается в повести, где после митинга, потребовавшего смертной казни для врачей-убийц, коллега-еврей объясняет двоюродному брату Ивана Григорьевича: "Вы считаете, что мне, еврею, неприятно клеймить этих извергов? Наоборот, именно мне особенно омерзителен еврейский национализм. А если евреи, тяготея к Америке, становятся препятствием в движении к коммунизму, то мне не только себя, родной дочери не жалко"*.

Это важно Гроссману, потому что в раздумьях двоюродного брата "афоризм" еврея повторяется: "Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей-жиденят он готов умертвить ради великого дела интернационализма"*.

Можно предположить, что перед нами следы параллельной работы над двумя текстами.

Однако не в том дело, что эта еврейская полуглава мало что прибавляет к "Жизни и судьбе". Гораздо важнее то, что и точка зрения, и центр внимания, предмет освещения в ней не еврейские. Она, по сути, не об антисемитизме, а о том, как реагирует на антисемитизм русский советский интеллигент средней порядочности и средних способностей, и не только на антисемитизм, но на любую инспирированную государством кампанию массовой ненависти, как охотно принимает ее и пользуется ею в своих интересах, как пугается и страдает, когда приходится задуматься о собственной роли во всех этих кампаниях ("Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость"*).

Спора нет, эта тема может быть вызвана к жизни еврейскими тревогами, еврейской судьбой, и в данном случае так оно и есть, но, сама по себе, тема не еврейская, а русская или, шире, советская.

Собственно еврейская тема и одновременно новый против "Жизни и судьбы" мотив представлены во вставной новелле о Леве Меклере (глава 19)*. Лирическая по строю и по слогу, как и две другие вставные новеллы повести, она рассказывает о "сыне печального и лукавого лавочника из местечка Фастов", которого революция довела сперва до кресла народного комиссара юстиции Украины, а затем провела по "всем кругам тюремного и лагерного ада". Добряк от природы, бескорыстный и самоотверженный до чудачества, он был готов на любую жестокость ради "грядущего мирового

царства". "Он в своей революционной принципиальности засадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии губчека. Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа — саботажника. Он в кротости своей был беспощаден к инакомыслящим". И вот революция, которая была его "матерью, нежной возлюбленной... солнцем... судьбой... посадила его в камеру внутренней тюрьмы, выбила ему восемь зубов; стуча на него офицерскими сапогами, матерясь, обзывая его пархатым, требовала, чтобы он, сын, возлюбленный апостол ее, признал себя тайным отравителем ее, смертельным ее ненавистником". Он оказался в положении дворняги, от которой хозяин хочет избавиться, гонит ее, бьет, а она с прежним обожанием, кротостью, преданностью плетется за ним, "потрясенная его внезапной, необъяснимой жестокостью", не понимая, что в ненависти обожаемого хозяина "нет бессмысленности, а все действительно и разумно" — в точности по знаменитой формуле Гегеля, которую дворняга-Меклер впитал с первыми каплями марковского молока и которая услаждала всю его жизнь. Хозяину не остается ничего иного как прикончить неотвязную дворнягу, и она подыхает, "так и не поняв простой вещи — хозяин покинул свой молодой дом хмеля и молитвы, переехал в дом гранита и стекла, и сельская дворняга стала ему нелепа, стала обузой, да не только обузой, стала вредна ему".

Откуда же в нем этот "могучий пламень" революционного, большевистского фанатизма, спрашивает Гроссман и отвечает не прямо, но вопросами на вопрос, неуверенными предположениями:

"Кто вложил в него душу борца? Пример Желябова и Каляева, мудрость "Коммунистического манифеста", страдания жившей рядом с ним бедноты?

Или это тяжкое пламя, эти угли таились в тысячелетней бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном иступлении талмуд-торы, в местечковой самообороне во время погрома?

Может быть, вековая цепь унижений, тоска вавилонского пленения, унижения гетто и нищета черты еврейской оседлости породили и выковали иступленную жажду, раскалившую душу большевика Льва Меклера?"

Я не думаю, чтобы эту неуверенность следовало считать риторическим украшением. А если принять действительными обе причины, то Гроссман действительно не знает, какой отдать первенство. Зато совершенно ясно и достаточно важно другое: Меклер — вариант уже известного нам по раннему Гроссману образа, это Факторович из "Четырех дней", вышедший живым из перипетий гражданской войны, чтобы сгинуть в великих чистках второй половины 30-х годов. Я подробно писал о Факторовиче, читателю остается только сравнить и убедиться, что перед нами в точности тот же самый характер, тот же самый неистовый дух в той же самой немошной плоти. Но теперь автор отдает себе отчет в том, сколько страшных дел натворил чахлый апостол революции, став хозяином жизни, сколько чужой плоти он умертвил — в прямом смысле слова; о восхищении или хотя бы уважении к его революционным добродетелям не может быть и речи.

За всем тем очевидно, что автору жалко дворнягу, жалче, чем Крымова в "Жизни и судьбе". Но совсем не потому, что Меклер еврей, единоплеменник. К историзму, о котором я говорил, стараясь объяснить отношение Гроссмана к фигурам "ленинцев" в

“Жизни и судьбе”, прибавилась жалость, брезгливое сочувствие слабостям человеческой природы, и уж если, как мы видели, какого-то сочувствия заслуживают даже доносчики, то как отказать в нем чистому сердцем революционному безумцу, палачу и страдальцу в одном лице? В предыдущей, 18-й главе, чисто публицистической (новелла о Лее Меклере — это как бы иллюстрация к ней), Гроссман рассказывает о том, как в “хаосе, нелепице, безумии ложных обвинений уходило поколение гражданской войны”*, и насчитывает в нем три разряда. Меклер принадлежал к первому — “разрушителям старого мира”, о которых сказано: “Они разрушили старый мир и жаждали нового, но сами не строили его. Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззлобны, это были сердца фанатиков, может быть, безумцев. Они ненавидели ради любви”*. В этом, в общем для них всех, — их суть и естество; не в том, откуда и почему они вышли, но куда пришли. Их всех, вне зависимости от рода и племени, уравнила сперва ненависть, стихия разрушения и бесчеловечность (“Всех их отличала энергия, воля и полная бесчеловечность”*), а потом смертная мука. Каждый из них мог бы повторить знаменитый бабелевский афоризм* из рассказа “Сын рабби”: “Мать в революции — эпизод” — и судить их, и жалеть, и защищать (если кому заблагорассудится) надо не как сыновей своих матерей, своей нации или расы, но как сынов, паладинов, юродивых Революции. Такова мысль Гроссмана.

И все-таки единственным живым и конкретным представителем этого сгинувшего поколения, всех трех его разрядов, он выбрал Льва Наумовича Меклера. Не русского, не грузина, не поляка — еврея.

В целом же еврейский элемент играет в повести намного менее важную роль, чем в “Жизни и судьбе”. Там, в романе, Гроссман высказал на этот счет все, что хотел и что мог высказать русский писатель еврейской судьбы. “Все течет...” так же полностью принадлежит русской литературе, как рассказ “Четыре дня” или дилогия “Степан Кольчугин”.

* * *

Гроссман продолжал работать до конца, до тех дней, пока рак и страдания не отняли у него последних сил. Борис Ямпольский рассказывает*, что осенью 1963 года Гроссман читал ему “грустный щемящий рассказ, впоследствии названный “Мама”, и еще один — “протокол записанный рассказ о старой большевичке”. Тема обоих — репрессии, сталинский террор; ни тот ни другой не увидели света. Николай Атаров в предисловии к посмертному сборнику, вышедшему в 1967 году, упоминает два рассказа, которых в сборнике нет, — “Сикстинская мадонна” и “Фосфор”. Я не читал этих рассказов; возможно, они были напечатаны, но утверждать этого с уверенностью я не могу, потому что просмотреть советскую периодику тех лет полностью мне не удалось. Между тем, как я уже говорил в самом начале своего очерка, полному запрещению Гроссман не подвергался: в 1962 году у него вышла книга рассказов и повестей под общим титулом “Старый учитель”, это были сплошь перепечатки старых текстов, но время от времени прорывались в журналы и новые. Я признаюсь в своей недостаточной

осведомленности, но еще больше — жалею о ней, потому что “Фосфор”, например, как видно даже из нескольких строк атаровского пересказа, имеет прямейшее отношение к моему главному предмету, к еврейской теме. В этом рассказе продолжается история инженера Кругляка, местечкового выходца, начатая в “Цейлонском графите”. Среди всех друзей и приятелей молодости рассказчика он оказывается единственным неудачником, зато никому из них Бог не дал столько доброты, сколько ему. Всю свою жизнь он только и знал, что помогать другим, ближним и дальним, и даже из лагеря, куда он попал после войны, он ухитряется послать несколько слов утешения рассказчику, писателю, которого насмерть бьет критика (дело происходит в начале 50-х годов) и от которого в страхе отшатнулись все.

Но доброта — это ведь из “Жизни и судьбы”! Все, созданное после Главной книги, должно быть соизмерено с нею, любая иная оценка будет безмасштабна и, следовательно, произвольна. Попробуем же под этим углом зрения взглянуть на посмертный сборник 1967 года.

Он назван “Добро вам” — по заголовку путевых заметок об Армении — и содержит кроме этих заметок семнадцать рассказов. Заметка от издательства на оборотной стороне титульного листа гласит: “Вошедшие в этот сборник рассказы замечательного писателя пока еще не приобрели столь широкой популярности, так как печатались главным образом лишь в литературных журналах”. Отсюда следует, что все тексты уже публиковались ранее, в периодических или книжных изданиях. Кто составлял и редактировал сборник, то есть отбирал тексты и “чистил”, цензурировал их, — неизвестно.

Пять рассказов написаны до войны, из них два (“Рассказик о счастье” и “Старый человек”) до войны же и были напечатаны. Два фронтовых рассказа (“На войне” и “Старик”) взяты из “Красной звезды” за 1942 год. Эти довоенные и военные публикации никакого интереса не представляют, это своего рода нейтральный балласт сборника.

Рассказ “Молодая и старая” (помечен 1938—1940 гг., впервые в журнале “Москва”, 1964, №9), по всей видимости, редакциям до войны и не предлагался, лежал в столе — слишком много в нем об арестах, со сдержанным осуждением, а кое-где — и с открытым, несдержанным. Правда, писался он в ту пору, когда Ежова сменил Берия, признавались некоторые ошибки и излишества великих чисток, а кое-кто даже и выходил на свободу. Но писать, говорить об этом во всеуслышание не следовало. Что Гроссман и прежде не был глух и слеп, неудивительно: как ни зажмуривайся, как ни зажимай уши, страх никого не обходил. Важно, что он попытался написать о терроре, как только террор начал спадать. И может быть, не менее важно внимание Гроссмана к новым хозяевам, не только к их работе, на которой они самоотверженно сгорают (как в первой половине 30-х годов — вспомним “Счастье”, “Жизнь Ильи Степановича”), но и к их быту, развлечениям, отдыху. Героиня рассказа — выдвигенка, бывшая колхозница, ставшая большим начальством в Москве. Она отдыхает в Крыму среди своих, таких же, как она, “ответственных работников”. Из этой среды новой пролетарской знати, поднявшейся на крови уничтоженного поколения гражданской войны, выйдет секретарь обкома Гетманов, едва ли не самый жуткий из вымышленных героев “Жизни и судьбы”.

Теми же годами помечен рассказ “Лось” (впервые в журнале “Москва”, 1963, №1). Вместе с “Несколькими печальными днями” (1940—1963, впервые в журнале “Новый мир”, 1963, №12) и “Обвалом” (1963, впервые в журнале “Москва”, 1966, №5) он

составляет трилогию, в которой на чисто бытовой, как будто ничем не связанной с вечными вопросами основе строится психологическая и философская коллизия высокого накала. Может быть, потому, что центральным событием во всех трех выступает смерть, хоть и естественная, хоть и в преклонном возрасте. Мне эти рассказы представляются замечательными. Те, кто не знает *“Жизни и судьбы”*, скажут: это лучшее, что написал Василий Гроссман. Но любой, умудренный и обогащенный чтением Главной книги и *“комментария”* к ней, согласится, что эти прекрасные страницы, скудные, угрюмые (по точному выражению Николая Атарова) и пронзительные, — лишь отблеск *“Жизни и судьбы”*. *“Бытовая”* проза Юрия Трифонова, ставшая одним из главных литературных событий 70-х годов, кажется вышедшей отсюда. Возможно, так оно и было, хотя бы отчасти.

Я не стану задерживаться на вещах, условно говоря, средних — любопытных по замыслу или (и) по исполнению, но подпорченных государственной идеологией [*“Авель (Шестое августа)”*, 1953, впервые в *“Литературной Москве”*, сборник 1, 1956], или чрезмерной рассудочностью (*“Тиргартен”*, 1953—1955, впервые в журнале *“Наш современник”*, 1966, № 7), или еще большею наставительностью, притчевой дидактичностью (*“Осенняя буря”*, 1960—1961; *“Птенцы”*, 1961, впервые в журнале *“Москва”*, 1966, № 5). Я перейду сразу к тому, что, на мой взгляд, главное в сборнике, что всего теснее связано с *“Жизнью и судьбой”*, с новым, преображенным Гроссманом, — к рассказу *“Дорога”* и очерку *“Добро вам!”*.

Короткий рассказ *“Дорога”* (1961—1962, впервые в журнале *“Новый мир”*, 1962, № 1) — это тоже своего рода притча, но особая — откровенно на манер и по образцу толстовского *“Холстомера”*: история итальянского мула на русских военных равнинах, а до того — на *“абиссинских красных каменистых дорогах”**, а еще раньше — дома, в Сицилии. Чудовищность мира, где война, Треблинка и ГУЛаг, нацизм и коммунизм состязаются в палачестве и душегубстве, становится еще чудовищнее *“остраненная”* взглядом невинной твари. Атаров прав, говоря, что *“нежно-пристальное внимание Гроссмана к “меньшим братьям” — животным”** рождено отвращением к расизму, к фашизму, только надо добавить — и к победившему в одной стране социализму. Мул Джугу из артиллерийского обоза — святой по сравнению с немилосердным человеком; это не от Гроссмана, это от Льва Толстого. От Гроссмана — разработка заданной темы, вариации, которых Толстой и представить себе не мог в *“благополучном”* XIX веке. Джугу — животное, бессловесная тварь. Но обожествленное государство, будь то гитлеровское, будь то сталинское, превратило в животных, лишило права на образ и подобие Божие, на дар слова миллионы людей, отправило их на бойню, на труд, неподъемный ни для лошади, ни для вола, ни для какого иного скота. Это — гроссмановское сравнение, оно упорно и многократно повторяется, и в первую очередь, — когда он говорит о Катастрофе, о евреях перед оврагами и рвами, перед дверями газовых камер. *“Нелепый труд, навязанный извне”* быстро становится *“привычным, а значит, законным”*, превращается *“в естественность жизни”**. Это о муле, но это в первую очередь о тех, кто за колючей проволокой, в гетто, в лагерях смиряется со своей участью. *“Начался падеж животных... Тела мулов оттаскивали в сторону от дороги... люди были к ним безмерно равнодушны, а мулы, казалось, тоже не замечали своих мертвых... но это только казалось, — мулы видели своих мертвецов”**. И это — о тех же узниках, об их первых

шагах к смерти, когда равнодушие палача естественно (снова "естественность жизни"!), а равнодушие жертвы — только кажущееся, за ним еще скрывается и страх за себя, и сочувствие к другому. Но вот равнодушие становится всеобъемлющим, всесильным, тотальным: "На него шло огромное равнодушное наступление. Колоссальный мир равнодушно наваливался на него... и Джу ответил на огромное равнодушное наступление, готовящееся уничтожить его, своим безмерным равнодушием". Он уже не ощущал "ни собственного тепла, ни удовольствия от пищи и покоя. Ему было безразлично, двигаться ли по обледенелой дороге... или стоять понуря голову... Он шагал рядом со стариком напарником... их безразличие друг к другу было так же огромно, как их безразличие к самим себе. Это равнодушие к себе было его последним восстанием". И когда начинается русское наступление, когда гибнут и напарник, и ездовой и Джу остается один — ничто не меняется: "Мул стоял безразлично-покорный и не ждал свершения судьбы, — новая судьба и старая судьба были ему одинаково безразличны"*.

Равнодушие — ответ на сверхмуку, сверхзверство, страшный ответ, мертвящий и мертвый, но, увы, самый частый, массовый. Можно быть уверенным, что, когда Гроссман это писал, он видел перед собой не мула, а замордованного вконец человека — лагерного доходягу, живой скелет на улице гетто, колонну военнопленных.

Попадает в плен и Джу и снова тянет обозную телегу, только теперь русскую, и снова бьет его ездовой, но "сплошняк мирового равнодушия"* надламывается добротой — не человеческой, нет, но лошади-напарницы, такой же тощей и замученной, с такими же кровавыми ссадинами на шкуре. "Когда обоз остановился, и ездовой распряг их, и они вместе поели и попили воды из одного ведерка, лошадь подошла к мулу и положила голову на его шею, и ее шевелящиеся мягкие губы коснулись его уха, и он доверчиво посмотрел в печальные глаза колхозной лошаденки, и его дыхание смешалось с ее теплым, добрым дыханием. В этом добром тепле проснулось то, что заснуло, ожило то, что давно умерло... Жизнь мула Джу и вологодская лошадиная судьба внятно им обоим передавалась теплом дыхания, усталостью глаз, и какая-то чудная прелесть была в этих, стоящих рядом доверчивых и ласковых существах среди военной равнины под серым зимним небом.

— А осел, мул-то, вроде обрусел, — рассмеялся один ездовой.

— Нет, глянь, они плачут оба, — сказал другой.

И правда, они плакали"*.

Атаров думает, что "мул осчастливлен... любовью"*, но мы-то знаем, что любовь здесь ни при чем, здесь иконниковская "бессмысленная доброта", которая неизмеримо выше любви. И плачут оба, каждый и над своей судьбой, и над судьбой другого, потому что вологодская колхозная лошаденка так же загнана, замучена и угнетена, как итальянский "фашистский" мул. Не в доброте ли друг к другу бедных и угнетенных спасение жизни и мира?

С этой сценой замечательно сопоставляется один эпизод из "Жизни и судьбы".

В разгар Сталинградской битвы два русских солдата прячутся в глубокой воронке от артиллерийского обстрела неслыханной силы. "Они лежали рядом — в старой и молодой голове жил желанный, милый свет, просьба о жизни. Этот свет, трогательная надежда были такими, какие горят во всех головах, во всех сердцах, не только человеческих, но и в самых простых сердцах зверей и птиц... Климов нащупал грубую

рабочую руку старого ополченца и пожал ее, и ее ответное, доброе движение на миг утешило Климова..." Когда же обстрел прекращается, Климов видит, что рядом с ним лежит немец. Разведчик Климов не боялся немцев, он всегда умел опередить врага, выстрелить или ударить ножом на секунду раньше. "Но сейчас он растерялся, его поразило, что, оглушенный и ослепленный, он утешался, чувствуя немца рядом, что руку немца он спутал с поляковской рукой. Они смотрели друг на друга. Обоих придавила одна и та же сила, оба они были беспомощны бороться с этой силой, и, казалось, она не защищала одного из них, а одинаково угрожала и одному и другому... Жизнь была ужасна, а в глубине их глаз мелькнуло унылое прозрение, что и после войны сила, загнавшая их в эту яму, вдавившая мордами в землю, будет жать не только побежденных"*. Все трое молча, не глядя друг на друга, не помогая друг другу, вылезают из воронки и расходятся.

Нет ли в слезах мула и лошаденки, сумевших, в отличие от людей, пожалеть и ободрить друг друга, того же "унылого прозрения"?

Очерк об Армении стал причиной последнего столкновения Гроссмана с властью, с государством. Вот рассказ Бориса Ямпольского*:

"В последние годы жизни он написал "Записки пожилого человека" (путевые заметки по Армении), произведение, на мой взгляд, гениальное, из того класса, что "Путешествие в Арзрум". "Записки" были набраны и сверстаны в "Новом мире" и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. "Записки" пошли в разбор...

Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в "Новом мире" двумя-тремя абзацами.

— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.

— Да, — сказал я, — там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.

Он ничего не ответил, смолчал...

Через несколько лет после его смерти "Записки", скальпированные, кастрированные, были напечатаны в "Литературной Армении"... их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты".

Бывший ответственный секретарь "Нового мира" Борис Закс дает несколько иную версию*: цензура потребовала снять "страничку о еврейском народе", составлявшую параллель к рассуждениям о судьбах армян.

У меня нет возможности проверить ни ту, ни другую версию. Со временем, я надеюсь, это выяснится, потому что гроссмановский очерк довольно широко ходил в самиздате. Что же до различий между журнальной ("Литературная Армения", 1965, №6 и 7) и книжной публикациями, то во второй сделаны — по сравнению с первой — две большие, по несколько страниц, купюры. Обе — о "культе личности": Сталин, его исполинская статуя над Ереваном (ее сорвали с пьедестала танками на следующий после поездки Гроссмана в Армению год), террор 30-х и 40-х годов, армяне в камерах ереванской тюрьмы и в лагерях за Полярным кругом и выжившие, вернувшиеся, сохранившие веру в людскую доброту. Понятно: в 1967 году брежневская "стабилизация" была уже в разгаре и говорить публично об изъятиях героической сталинской эпохи более не рекомендовалось. Заодно выброшен рассказ о двух русских семьях, перебежавших из

Турции в Советскую Армению. Поступок и патриотический и трогательный (автор, Гроссман, заплакал, слушая этот рассказ), но, возможно, сама тема незаконного перехода границы показалась составителям и редакторам книги соблазнительной для советского читателя и потому неудобной. За всем тем в обоих купюрах нет ничего вызывающего, чрезмерно острого, особенно — по тем временам, когда Гроссман писал свои путевые заметки. Иначе говоря, писались они не в стол и не для потомства, а для печати, то есть с оглядкой на цензуру и с учетом катастрофы, постигнувшей “Жизнь и судьбу”. А стало быть, разумно предполагать, что и “страничка о еврейском народе” не содержала ничего крамольного, безусловно запретного.

Имея все это в виду, но не располагая “страничкой”, способны ли мы ответить — или хоть попытаться ответить — на вопрос, почему Гроссман так упорно отказывался от каких бы то ни было купюр. Я думаю, что да. Этот очерк был завещанием Гроссмана*, а купировать собственное завещание было бы нелегко даже заядлому соцреалисту.

Очерк (буду называть его так, потому что неизвестно, какое название принадлежит самому автору; я читал его впервые около двадцати лет назад, в самиздатовской машинописи, под заголовком “Баревзес”, то есть армянское приветствие было использовано не в переводе, а в русской транслитерации) помечен годами 1962—1963. Пребывание Гроссмана в Армении относится к ноябрю—декабрю 1961 года. Очень скоро после ареста романа (напомню, это было в феврале 1961-го) стало ясно, что других репрессий можно не опасаться: время было самое либеральное за весь период хрущевского правления, в октябре 1961 года состоялся XXII съезд партии с новыми разоблачениями сталинизма, с выносом сталинской мумии из мавзолея. В такую пору не только упрятать Гроссмана за решетку, но и запретить ему печататься было невозможно. Зато с деньгами было совсем плохо, хуже некуда. Десятилетняя работа пропала, что означало не только моральную катастрофу, но и финансовый крах. И Гроссман принимает предложение перевести по подстрочнику роман армянского писателя Рачия Кочар “Дети большого дома”. (В очерке и автор назван по-другому, и содержание романа изменено.) Получив необъятный подстрочник в Москве, он уезжает работать в Дом творчества Союза писателей Армении, и в 1962 году русский перевод “Детей большого дома” выходит в Ереване. Такая практика — заполучение в переводчики с так называемых “национальных” языков известных русских писателей, по тем или иным причинам нуждающихся в заработке, — дело обычное.

Меньше всего пишет Гроссман о своей работе, хотя и именует себя “переводчиком”. Но это самонаименование появляется в ироническом контексте, причем ирония направлена на автора. Такая самоирония появляется у Гроссмана впервые, он всегда относился к себе в высшей степени серьезно, но напоследок, оглядываясь на прожитое и проделанное, улыбается — с грустным сочувствием.

Он пишет обо всем самом важном, что было в его жизни и его книгах.

О народе, о “теле народа”, которое является его взору не на помпезных площадях, а во внутренних двориках с пеленками, нижним бельем и простынями, сохнущими на веревках, на деревенских улицах, на крестьянской свадьбе.

О простых людях, которые совсем не просты, которые ему милее, и ближе, и дороже всех сильных мира сего, о малограмотном мужике, чья вера чище и пламеннее веры высокоудрого католика.

Об универсальности, наднациональности этой веры "в добро и доброту", без которой этот мужик не может жить и ради которой пойдет без колебаний на любую муку: "Тут уж не было ни Армении, ни России, не было мыслей о национальном характере, а была душа человека, вот та, что тревожилась, мучилась, верила среди каменных осыпей и виноградников Палестины, та душа, что по-человечески хороша и в пензенской деревне, и под небом Индии, и в заполярной яранге — ведь хорошее всюду есть в людях, потому что они люди"*.

О бедности*, своей и других, например, Мандельштама и Туманяна, о целомудренной, трогательной, отзывчивой бедности крестьян, о бедности, соединяющей слабых и удрученных и отделяющей их от хозяев жизни.

О Мандельштаме, о его поэзии и вообще о русской поэзии.

Об искусстве — много и подробно, защищая разноликие "миры живого образа и подобия", отвергая "мир фанеры, жести и папье-маше", создаваемый "расторопными официантами".

Об отшельничестве нового времени, двадцатого века, о "бездне, что лежит между судьбой отшельника во имя тайной правды и судьбой проповедника и пророка этой правды"*.

О том, "сколько горя причинил я людям, вероятно, больше, чем люди причинили мне"*.

О смерти — о гибели единственной и неповторимой "вселенной, живущей в душе создавшего ее человека"*, и о своей, близкой уже, смерти.

О народе-мученике, который рассеян по всему свету, но нигде и никогда не забывает своей земли и своих потерь: "Они плакали не потому, что сын женился и уходил от матери, они плакали потому, что неисчислимы потери, страдания, выпавшие на долю армян, потому, что нельзя не плакать о страшной гибели близких людей во время армянской резни, потому, что нет в мире радости, которая могла бы заставить забыть народное страдание, забыть родную землю, лежащую по ту сторону Арарата"*.

Это об армянах, о чужом народе.

И конечно, о своем народе-мученике, о евреях. Тем более и тем естественнее, что параллель между этими двумя народами-изгнанниками проводится сама собой и непосредственно ощущается обоими. Тем более, что перед глазами все время стоит Арарат, гора не только армянская, но и библейская, а стало быть — еврейская.

С внешнего сходства — с удивительного разнообразия внешнего облика у армян и у евреев — и с упоминания о тех, кто "писал Библию" и чьи глаза смотрели "на эту снежную, голубовато-белую, сияющую под солнцем гору"*.

Гроссман и начинает. Но не история и еще того менее форма носа или разрез глаз заботят его. Его забота — это память об убитых и тревога за уцелевших.

Вот он думает об овце, с которой повстречался на улице поселка, об ее глазах. "Вот такими безразличными, отчужденными глазами смотрели бы обитатели гетто на своих гестаповских тюремщиков, если бы гетто существовало пять тысяч лет и каждый день на протяжении этих тысячелетий гестаповцы отбирали старух и детей для уничтожения в газовых камерах"*.

Вот он едет через Семеновский перевал, которым "в 1928 году проехал Максим Горький". Но Горький лишь упомянут, больше о нем ни слова (так упоминают в

завещании постылого родственника, оставляя ему один франк, или один шекель, или один рубль, чтобы уязвить и унижить его), — дальше, в вызывающем контрасте к молчанию о Горьком, идет подробный рассказ о тете Рахили Семеновне, эвакуированной сюда во время войны из Одессы, о ее доброте, безропотности и приветливости, о том, что она рано овдовела, что один ее сын "был репрессирован в 1937 году и умер в тюрьме, не хотел признаться, что отравлял колодцы", другой погиб на фронте, дочь покончила самоубийством, "а все ее родные, близкие, друзья, оставшиеся в Одессе, погибли страшной смертью в деревне Доманевке, куда немцы вывезли на казнь девяносто тысяч одесских евреев"*.

Горе и доброта простой еврейки Рахили Семеновны и сами по себе неизмеримо больше, важнее славы великого пролетарского писателя. Но они умножаются уж и не знаю во сколько крат, когда Рахиль Семеновна возвышается до символа — до библейской Рахили: "Вот и старая эвакуированная женщина Рахиль Семеновна, спокойно ли, мирно ли спала она здесь, не плакала ли по ночам?.. Плачет Рахиль о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет..."*

В первый и последний раз в своей жизни Гроссман цитирует Библию — это из "Книги пророка Иеремии"*, глава 31, стих 15. (Узнал ли простодушный, как правило, цензор цитату или, скорее, попался на удочку — приписал авторство Гроссману и все отнес на счет осиротевшей Рахили Семеновны — и только?) О чем же, о ком плачет новая Рахиль, вечная мать народа, "еврейская мама"? О тех, кто вышел дымом из труб нацистских крематориев, и о тех, кого унес ГУЛаг, и о тех, кто сам лишил себя жизни, затравленный насмерть, как упоминаемая во "Все течет..." женщина-фармацевт в разгар "дела врачей", как, может быть, и дочь Рахили Семеновны, — обо всех и повсюду погубленных детях своих. Вместе с нею, ее слезами плачет Василий Гроссман, русский писатель еврейской судьбы, он сливается с нею, он сам — Рахиль, плачущая о детях своих.

Но, пожалуй, самое основное сказано под конец, "под занавес", чтобы прозвучало особенно весомо и запомнилось надолго.

В глухой горной деревне за свадебным столом к автору обращается старый плотник: "Он говорил о евреях. Он говорил, что в немецком плену видел, как жандармы вылавливали евреев-военнопленных... Он говорил о своем сочувствии и любви к еврейским женщинам и детям, которые погибли в газовнях Освенцима. Он сказал, что читал мои военные статьи, где я описываю армян, и подумал, что вот об армянах написал человек, чей народ испытал много жестоких страданий. Ему хотелось, чтобы о евреях написал сын многострадального армянского народа. За это он и пьет стакан водки.

Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне. Кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовнях и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистники слова презрения и ненависти: "Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил".

До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мной в сельском клубе”*

Русский писатель еврейской судьбы хочет немногого. Чтобы не зажимали кричащий от боли рот, не прикидывались, будто прошлого не было, а нынешнее — радужно и безоблачно (ведь “человеконенавистники”, “слова презрения и ненависти” относятся к сегодняшнему дню, не к гитлеровцам, а к добропорядочным советским людям — это ясно каждому, кто умеет читать по-русски). И чтобы мы не были одиноки, обособлены в нашем особом горе и если не утешены, то хотя бы ободрены сочувствием и добротой других народов.

Но это немного было, а за немногими исключениями и остается опаснейшей крамолой, наглым бунтом в глазах не только тех, кто стоит у власти, но и так называемых “правых” инакомыслящих, то есть русских националистов разных оттенков.

Все это совсем не значит, что Гроссман забывает о своей русскости или отказывается от нее. Одной лишь умиленной любви полутора страничек о деревенской России*, о русских избах и русских печах довольно, чтобы в этом не оставалось ни малейших сомнений. Русский писатель, занесенный на окраину империи, он славит и “неистребимое “русификаторство”, но только — “вольное и доброе... совершаемое Пушкиным, Добролюбовым, Герценом, Некрасовым, Толстым, Короленко”*

Повторяю: я не знаю, что и сколько вымарал из очерка об Армении цензор. Но хоть он и резал по живому, а все-таки живого не убил. Завещание Гроссмана, даже оскверненное цензорским карандашом, обняло и отразило всю его жизнь и судьбу. Жизнь, понятую с неукоснительной строгостью — как долг и служение. Судьбу, трагическую и высокую, которую он принял во всем ее трагизме, и лишь мы, прочитавшие Главную книгу, способны увидеть во всей ее высоте. А читатели Гроссмана в его стране, даже те немногие, что помнят и любят его, — когда-то еще смогут они оценить величие и горечь заключительных строк его завещания?

“Пусть обратятся в скелеты бессмертные горы, а человек пусть длится вечно.

Наверное, многое я сказал нескладно и не так. Все складное и нескладное я сказал любя.

Барвдзес — добро вам, армяне и не армяне!”

* * *

Виктор Шкловский в свое время объяснял, как сделан “Дон-Кихот”, Борис Эйхенбаум — как сделана “Шинель”. Даже если принять их объяснения полностью, остается темным главное: почему Сервантес и Гоголь — великие писатели, что отличает их от хороших и посредственных?

Литературные достоинства, а равно и пороки ощутимы непосредственно, объяснимы весьма условно и относительно, но недоказуемы, и тут слова традиционные (пронзительность, широта дыхания, уравновешенность композиции или, с другого края, утомительные длинноты, убогость мысли, стесненное дыхание) так же неубедительны и необязательны, как новомодные, вроде оппозиции или системы и подсистемы.

Но есть вещи менее субъективные, хотя в то же время менее литературные, о которых стоит поговорить подробнее.

Еще один знаменитый русский формалист, Юрий Тынянов, сформулировал тезис об "обратной экспансии литературы в быт"* . Он имел в виду следующее: в читательском восприятии биография писателя иногда сливается с его творчеством, с созданными им героями, и возникает "литературная личность" — своего рода миф Байрона, Пушкина, Лермонтова, который обычно далеко не совпадает с "подлинником" и живет собственной жизнью.

К этому я хотел бы добавить, что биография писателя, как подлинная, так и в особенности мифическая, часто приобретает художественную завершенность, сама становится как бы произведением искусства, в котором все оправдано и ничто не устранимо. Житейское благополучие или счастливый конец в жизни Осипа Мандельштама, восьмидесятилетний Пушкин, мирно умирающий в своей постели в окружении внуков и правнуков, оскорбляли бы, возможно, наше эстетическое чувство.

Если жизнь и судьба Василия Гроссмана обратятся в "миф", — а для этого есть все основания, — к галерее русских "литературных личностей" прибавится фигура редкой мощи и красоты. Осенью 1963 года Гроссман сказал Борису Ямпольскому: "Меня задушили в подворотне"* . Так чувствовал реальный человек, Василий Гроссман, из плоти и крови, и иначе и быть не могло. Но спустя двадцать лет страдания и отчаяние человека преобразились, говоря высоким слогом, в венец славы мученика, побежденный и раздавленный — в победителя. И в обратной перспективе совсем по-иному видятся и осмысляются и поведение, удивлявшее очевидцев своею наивностью, и некоторые особенности нрава, не всегда приятные все для тех же очевидцев.

В частности, его одинокая и совершенно безнадежная, безумная даже, борьба с властями за Главную книгу представляется сегодня не безумием, а подвигом, великим примером. Среди разрозненных и случайных заметок Василия Шукшина нашли запись: "Восславим тех, кто перестал врать"* . Гроссман не только перестал врать первым, он первым отказался от лживых и лицемерных "правил игры", от двуличия, двусмысленностей, хитрых намеков, оборонительных союзов с редакторами-единомышленниками и наступательных — против цензоров-врагов. Подвиг одинокого храбреца, "задушенного в подворотне", выше, чище, святее удачных солженицынских страгем, подробно и с торжеством расписанных в "Теленке". Литературе мораль, возможно, и противопоказана, но "литературной личности" — нисколько.

В "мифе" Гроссмана его еврейству будет принадлежать важнейшее место. Среди многого иного будущие "мифологи", вероятно, припомнят стих из Третьей книги Торы, из "Левита", где Господь заповедует Моисею: "...не лгите..." (глава 19, стих 11), — и станут возводить к нему гроссмановскую жажду правды.

Я не хочу участвовать в мифотворчестве и не пойду так далеко. Я лучше напомним приведенный несколькими страницами выше разговор с Борисом Ямпольским. На упрек Ямпольского, что напрасно он не пожертвовал несколькими абзацами в очерке об Армении, Гроссман ответил: "Вы это говорите как писатель и как еврей?" Вот две его сущности, слитые неразрывно, как две ипостаси, и определяющие все — и на уровне быта, и на уровне литературы.

Русский писатель и еврей.

Русский писатель еврейской судьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 171

"...судя по воспоминаниям друзей и знакомых..." — В печати об этом рассказывает Наталия Роскина. См. Роскина, Наталия, Четыре главы, YMCA-Press, Париж, 1980.

К стр. 173

"Бабелевская бинокулярность видения..." — См. об этом мою статью "Русско-еврейская литература и Исаак Бабель" в книге: Бабель, Исаак, Детство и другие рассказы, "Библиотека-Алия", Иерусалим, 1979, стр. 319 сл. Английский перевод — в журнале "Commentary", November 1977. Французский перевод — в журнале "Cahiers du monde russe et soviétique", 1977, № 1—2.

"У многих иных раздвоенность..." — См., например, роман москвича Феликса Светова "Отверзи ми двери" (Les Editeurs Reunis, Париж, 1978) и стихотворения эмигранта Юрия Иоффе из цикла "Вне России", регулярно появляющиеся в различных периодических изданиях.

К стр. 174

"... — Едем к морю..." — Гинзбург, Лев, Разбилось лишь сердце мое, в: "Новый мир", 1981, № 8, стр. 113—114.

"...полный предощущений перемен". — Там же, стр. 134.

"...теоретик и поэт несвободы..." — См. Гроссман, Василий, Жизнь и судьба, L'Age d'Homme, Лозанна, 1980, стр. 588—591.

"...отрекомендовывает себя евреям..." — См. там же, стр. 440.

К стр. 175

"...через пять с лишним лет после кончины автора". — Повесть вышла полностью в издательстве "Посев"

(Франкфурт-на-Майне) в 1970 году. Две главы (7-я и 14-я) были напечатаны несколько раньше (но в том же 1970 году) во франкфуртском журнале "Грани", № 78.

"...судьба, видимо, не любит максималистов". — Эренбург, И., Собрание сочинений в девяти томах, т. 9, "Люди, годы, жизнь", "Художественная литература", М., 1967, стр. 410—411.

К стр. 176

"Все, что известно об истории ее создания..." — Не многое разъясняет и "Московское письмо": "Первый вариант (листа четыре) был написан до болезни, он был менее остр, чем окончательный, не было рассуждений о Ленине. После первой операции, когда вырезали у него почку, Василий Семенович вернулся к повести, расширил ее объем, а главное — ее содержание, увеличилось количество рассуждений".

"...стоял дом его отца..." — Гроссман, Вас., Все течет..., Второе издание, "Посев", Франкфурт-на-Майне, 1973, стр. 205.

К стр. 177

"...жизни есть эволюция свободы". — Там же, стр. 178.

"...по обе стороны лагерьной проволоки". — Там же, стр. 94.

"...очень короткий эпизод". — Жизнь и судьба, стр. 210—211. (Ершов, будущий герой и глава сопротивления в немецком концлагере, навещает до войны своего отца, воронежского крестьянина, раскулаченного и высланного на Северный Урал.)

К стр. 178

"...каждый день кушать хотят". — Все течет..., стр. 8—9.

"...от сегодняшних последствий..." — См. там же, стр. 83—84.

"...вам не жить, вы живы". — Там же, стр. 118—119, 126.

"...с нетерпением ожидающего прихода немцев". — См. Гроссман, Вас., Повести. — Рассказы. — Очерки, Воениздат, М., 1958, стр. 48—49.

...в "Правом деле". — Гроссман, Василий, За правое дело, Воениздат, М., 1955, Часть первая, гл. 60; цитата — стр. 239.

"...характером русской истории". — Все течет..., стр. 173.

"...историософская схема Гроссмана". — См. там же, стр. 173—183 (глава 22).

К стр. 179

"...профессор Иван Ильин..." — Иван Александрович Ильин (1883—1954), профессор Московского университета, правовед и философ, был, видимо, самым крупным и талантливым представителем русской монархической идеи в эмиграции (он был выслан из Советской России в 1922 г.). Опять-таки в качестве примера, но особенно яркого, укажу на две его поздние (1953 г.) статьи "Ненавистники России. I, II". См. Ильин, И. А., Наши задачи, Издание Обще-Воинского Союза, Париж, 1956, том II, стр. 532—539.

"...завершившим начатое Лениным дело". — "В Сталине, в его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности. В Ленине воплотилось русское национальное историческое начало, в Сталине — русская со-

ветская государственность. Русская государственность, рожденная Азией и рядящаяся под Европу, не исторична, она надисторична. Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделались содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию". Все течет..., стр. 189.

К стр. 180

"...за наше человеческое непотребство?" — Там же, стр. 70 — 71.

...о гордом звучании слова "человек". — Из монолога Сатина в пьесе "На дне" (акт 4): "Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!" В защиту Горького надо заметить, что эту ставшую хрестоматийной формулу Сатин произносит в пьяном и непотребном виде, так что есть все основания понимать "гимн Человеку" как ядовитый сарказм. Именно так и толковали его режиссер О. Ефремов и актер Е. Евстигнеев в спектакле московского театра "Современник" в 60-е годы.

"Но, к сожалению, не стала". — "Все течет..." вышла в 1971 году по-итальянски (миланское издательство "Мондадори"), в 1972 году — по-английски (ню-йоркское издательство "Харпер энд Роу"), по-французски (парижское издательство "Сток"), по-немецки (в том же "Посеве", который выпустил русский оригинал) и по-сербски (белградское

издательство "Обелиск"), в 1975 году — на иврите (тель-авивское издательство "Ам овед"), в 1977 году — по-шведски (стокгольмское издательство "Форум"). В Париже рассказывают, что агенты советского посольства скупали книгу по всем книжным магазинам и таким образом почти весь тираж был уничтожен и до читателя не дошел. Я не берусь объяснять причины того, почему повесть осталась сравнительно незамеченной, они мне непонятны. Мне кажется, что и сенсационная слава Солженицына не должна была заслонить "Все течет...", как не заслонила она, например, "Крутого маршрута" Евгении Гинзбург.

К стр. 181

"...обращаясь к своим сыновьям-солдатам". — Все течет..., стр. 26 — 27. Ср. в главе о Сталине: "Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема... Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства" (стр. 191 — 192).

"...родной дочери не жалко". — Там же, стр. 23.

"...ради великого дела интернационализма". — Там же, стр. 32.

"...многолетнюю покорную подлость". — Там же.

"...во вставной новелле о Лье Меклере (глава 19)". — См. там же, стр. 153 — 157; все дальнейшие цитаты — на этих страницах.

К стр. 183

"...уходило поколение гражданской войны". — Там же, стр. 152.

"...ненавидели ради люб-

ви". — Там же, стр. 148.

"...и полная бесчеловечность". — Там же, стр. 149.

"...бабелевский афоризм..." — Бабель, Исаак, Детство и другие рассказы, "Библиотека-Алия", Иерусалим, 1979, стр. 146.

"Борис Ямпольский рассказывает..." — Ямпольский, Борис, Последняя встреча с Василием Гроссманом, в "Континент", №8, стр. 143 — 144.

К стр. 185

"...на "абиссинских красных каменных дорогах..." — Гроссман, Василий, Добро вам!, Рассказы, "Советский писатель", Москва, 1967, стр. 20.

"...внимание Гроссмана к "меньшим братьям" — животным..." — Там же, стр. 7.

"...в естественность жизни". — Там же, стр. 20.

"...мулы видели своих мертвецов". — Там же, стр. 21.

К стр. 186

"...были ему одинаково безразличны". — Там же, стр. 23 — 24.

"...сплошняк мирового равнодушия..." — Там же, стр. 27.

"И правда, они плакали". — Там же, стр. 28.

"...мул осчастливлен... любовью..." — Там же, стр. 6.

К стр. 187

"...будет жать не только побежденных". — Жизнь и судьба, стр. 298 — 299.

"Вот рассказ Бориса Ямпольского..." — Ямпольский, Борис, ук. соч., стр. 141 — 142.

"...Борис Закс дает несколько иную версию..." —

См. Закс, Борис, Немного о Гроссмане, "Континент", № 26, стр. 361.

К стр. 188

"Этот очерк был завещанием Гроссмана..." — На это же, хотя и смутно (возможно, умышленно смутно), намекает Николай Атаров в предисловии.

К стр. 189

"...потому что они люди". — Добро вам!, стр. 259.

"О бедности..." — Это один из тех мотивов у позднего Гроссмана, которые сближают его с Андреем Платоновым. О близости Гроссмана к Платонову хорошо написано у А. Бочарова (Бочаров, А., Василий Гроссман, Критико-библиографический очерк, "Советский писатель", М., 1970, стр. 262 — 269, 287). Необходимо отметить, однако, что истоки и этого мотива лежат в "Жизни и судьбе", в первую очередь — в образе телефонистки Кати из сталинградского дома "шесть дробь один": см. "Жизнь и судьба", стр. 159 — 160. Ср. также цитату о Даренском в Калмыцких степях, приведенную на стр. 70, чисто платоновскую даже по интонации.

"...проповедника и пророка этой правды". — Добро вам!, стр. 239.

"...чем люди причинили мне". — Там же, стр. 237.

"...в душе создавшего ее человека..." — Там же, стр. 205.

"...землю, лежащую по ту сторону Арарата". — Там же, стр. 261 — 262.

"...сияющую под солнцем гору..." — Там же, стр. 207.

"...для уничтожения в газовых камерах". — Там же, стр. 216.

К стр. 190

"...девяносто тысяч одесских евреев". — Там же, стр. 235 — 236.

"...потому что их нет..." — Там же, стр. 240.

"...из "Книги пророка Иереми"... — Почти наверняка цитата вторичная, взята не из Ветхого завета, а из Нового (Евангелие от Матфея, 2, 18), где текст Иеремии приводится как "свидетельство

от Писания" об избииении младенцев в Вифлееме. Ср. оба текста, ветхо- и новозаветный, в русском синодальном переводе.

К стр. 191

"...услышанные мной в сельском клубе". — Там же, стр. 270.

"...полтора страничек о деревенской России..." — Там же, стр. 254 — 255.

"...Некрасовым, Толстым, Короленко". — Там же, стр. 212.

К стр. 192

"...тезис об "обратной экспансии литературы в быт". — В статье "О литературной эволюции", тезис 11. См. Тынянов, Ю., Архаисты инноваторы, Ленинград, 1929, стр. 44.

"...Меня задушили в подворотне". — Ямпольский, Борис, ук. соч., стр. 147.

"...кто перестал врать". — Шукшин, Василий, Вопросы к самому себе, "Молодая гвардия", Москва, 1981, стр. 251.

Майя КАГАНСКАЯ

Необыкновенный фашизм

I

Эту тему я получила прямо из рук Надежды Яковлевны Мандельштам. По виду она не отличалась от прочих самиздатских "шуршиков", которыми квартира Н. Я., свободная от постоя домашней живности, изобильно шелестела и вздыхала всеми своими углами.

Данный "шуршик" Н. Я. извлекла из-под кровати (в чем не было ничего необычного), протянула мне с выражением безразличия (случалось) и тревоги (а вот это уже было странно!) и велела:

— Читайте!

В правом углу листка в позе "Пролетарии всех стран..." стояло: "Смерть сионистским захватчикам!". Остальное было не хуже.

— Ну, как, — спросила Н. Я., — страшно?

Я призналась, что да, страшно.

— Ага, — торжествуя сказала Н. Я. присутствующим. — Майе тоже страшно.

Присутствующие полемически загалдели.

Структуралист сказал, что южане вообще чересчур впечатлительны, что он сам, пока жил в Киеве, — а жил он в Киеве до позапрошлого года, — тоже был нервный, поскольку южане, то есть он хочет сказать — украинские евреи, вернее, евреи, живущие на Украине, потому что Богдан Хмельницкий, хотя, с другой стороны, коллективизация, в общем, — понятно.

Его жена, северянка, ехидно заметила, что, поскольку я собираюсь в Израиль, я подсознательно ищущу, точнее, — коплю, то есть она хочет сказать, что я сама не до конца уверена, в общем, — понятно.

Врач-психиатр диагноз подтвердил и прибавил, что Н. Я. вредно волноваться, так что напрасно некоторые. Во-вторых, высказанные соображения не имеют отношения к обсуждаемому тексту, который обсуждению не подлежит, поскольку есть чистая паранойя, и у себя в больнице он такими и похлеще текстами зачитывается ежедневно,

поскольку антисемитизм — это разновидность мании преследования и требует соответствующего лечения.

Загнавший себя в угол и оттуда на всех дувшийся мандельштамовед-одиночка резко возразил, что листовка, безусловно, провокация ГБ, а люди, теряющие на нее время, теряют собственное достоинство, потому что идут на поводу и льют воду на мельницу.

Ему ответили. Ответили и тому, который ответил. Пока тревожили судьбы России, отцов церкви, Чаадаева и 16-ю страницу "Литературной газеты", — появилось между нами новое лицо. Лицо было духовное, симпатичное, высокого роста и сана, с хорошо отработанными чертами и манерами мхатовского героя в роли чеховского персонажа; оно распространяло благодушие и новогодний запах воска.

Верная намеченному сюжету, Н. Я. предложила и лицу ознакомиться с листовочкой. Его преосвященство вникали истоиво, сокрушенно вздыхая в процессе.

Вывод был неожидан: сие прелестное письмо — знак добрый; хорошо, что беси сбросили личину и выступают в своем истинном облике: Перуна призывают и прочую лешесть. Дело же язычества проиграно со времен Синайского (он одобрительно посмотрел на меня) откровения, вот когда антисемитствуют христиане — это воистину соблазн, ибо антисемитизм есть непреодоленный блуд языческий.

Н. Я. благодарно и успокоенно откинулась на подушку и отпустила гостей на волю их собственных интересов.

...Сколь соблазнителен антисемитствующий христианин (или христианствующий антисемит — пусть сами разбираются), — в том я убедилась на собственном опыте, дурачком и потому еще более обидном.

Однажды мои киевские приятели-художники, юные, нищие и возвышенные, попросили разрешения привести в гости и на подкормежку нового своего знаконца, присланного к ним их московскими друзьями, заполучившими его, в свою очередь, от своих псковско-новгородских или карело-финских друзей — не упомяну.

Этот, передаваемый по цепочке, как благая весть, знакомый знакомых был, по рекомендации моих знакомых, нищ, юн, художественно одарен и скрывался от преследований ГБ из-за участия в чем-то рукописно-православном.

Как не принять и не подкормить?..

...Тревожными зимними сумерками в дверь условно поскреблись три раза, и три таинственные фигуры с поднятыми до бровей воротниками шмыгнули через порог с лестничной площадки, служивое население которой именно в это время бодро обменивалось солью, луком и новостями.

Первым делом мои приятели затворили дверь на все засовы, ключи и цепочки, отключили телефон и заговорили шепотом. В отличие от суетящихся спутников незнакомец в движениях был нетороплив и обстоятелен: снял тулупчик, развесил на спинке стула пиджачок, извлек из-под косоворотки внушительный, под стать корпусу, крест, аккуратно пристроил его в ложбине меж богатырских грудных мышц — и пригорюнился. Был он статен, русоволос, бледен и нежен ликом, в голубых глазах имел выражение отрешенности.

Отпив и откушав, зарозовел и заговорил. О Судьбах России, об Отцах Церкви. О: Розанове — Флоренском — Достоевском. С цитатами и комментариями.

К концу обеда поспел еврейский вопрос. Моему раздумчивому гостю он представлялся

трудноразрешимым: вот, скажем, Гитлер уничтожал евреев — это хорошо. Хорошо, да мало: как уничтожить саму идею жидовскую? — вот в чем вопрос! И посмотрел на меня с надеждой.

Разумеется, нужно было его гнать. Немедленно. Спасая остатки чести (чай я еще не подавала) и не любопытствуя, в чем именно "жидовская идея" состоит.

Но как и куда гнать, если сразу за стенами моей десятиэтажной избушки начинаются леса дремучие, а в них стаями, дуэтами и в одиночку бродят серогебистские волки, того и гляди Красную Шапочку ухватят?! Что тогда скажут мои киевские друзья своим московским, московские — ленинградским, и как ленинградские посмотрят в глаза карело-финским?..

В общем, как сказал бы Ницше, если бы сказал: "Думающие! Бойтесь раздумывать, ибо раздумывать — это значит раздумать".

А на следующий день прибежали художники и пояснили: проживая среди осин и елей, их общий друг евреев, так сказать, в натуре, почитай, что и вовсе не видел, ненависть к ним имеет исключительно метафизическую, не корысти ради, но токмо волею; мою же, непривычно для него рельефную лицевую кладку приписал он, по невинности, местному, то есть южнорусскому происхождению, а голубые (тоже мои) глаза — общеславянскому. Так что намеренной обиды не произошло — произошла ошибка, а за хлеб и чай премного благодарен.

С тех пор я не доверяю людям с отрешенным взглядом и прочими признаками харизмы, а также объединению перед лицом общего врага, будь то КГБ, мировой коммунизм или сосрд-скандалист.

При моральной безразличности в пределах нормы рано, поздно, а то и сразу придется искать, с кем бы объединиться сегодня против тех, с кем объединялся вчера. Так что лучше вовсе не объединяться: индивидуализм — условие чистоты, чистота — залог здоровья.

Общий враг — столь же хлипкая основа дружества, как общий друг. В замкнутых сообществах (а в них мы жили и продолжаем жить) "друзья моих друзей" то и дело оказываются моими врагами. Дружить надо один на один, разговаривать — тоже: слово есть дар Божий и расходовать его следует осмотрительно.

Я не верю в целебные свойства диалога: понять другого (других) — нетрудно, трудно (и ни к чему) — принять. Антисемита у себя в доме, например.

Антисемитизм — религия, самый распространенный, могущественный и кровавый из культов с евреем в роли отрицательного Бога в центре и жертвами его злокозненных фантазий по краям. Антисемит — верующий, и пусть общается с единоверцами.

Разоблачать его глупо, ибо основания любой веры неуязвимы для критики, а вот распознать — полезно, чтобы случайно не оказаться с ним в одном "профсоюзе верующих" против атеистов, коммунистов, материалистов, гомосексуалистов и т.д. (совет, разумеется, предназначен для безразличных, — есть ведь и небезразличные).

Прогорклый русско-израильский опыт привел к тому, что сейчас я вообще избегаю диалогов с верующими в: Россию, Мессию, мировой заговор (все равно чей), Солженицына, свет с Востока, закат Запада, второе пришествие, третий завет, коммунизм, антикоммунизм, летающие блюдца, вертящиеся блюдца, астрологию, диету, переселение душ.

Личности, содержащие в голове одну-единственную миропасительную идею, подозрительны во всех отношениях и не пригодны для общения. По счастью, еще не перевелись люди, у которых много идей в голове и конкретное дело в руках, как то: водители такси, модельеры, ихтиологи, председатели Верховного суда. Если же вас не интересуют кройка и шитье, причуды икрометания и нравы судопроизводства, — можно помолчать, помечтать, побыть наедине с собой и своими.

У Надежды Яковлевны я была среди своих. Н. Я. и его преосвященство горячо убеждали меня — по прибытии на Святую землю — ни за что, ни под каким видом не отдавать арабам Синай (Н. Я.: "Там Бог говорил со Своим народом"). Я обещала.

Впритык к нам (комната мала, а теснота и есть обида) новенькая православная с газетным профилем (тут бы даже новгородский гость не ошибся) распекала русского-католика с батыевыми скулами. Католик отбивался папскими энцикликами, она доставала его Достоевским.

Пользуясь общей занятостью, Н. Я. воровато распечатывала вторую за вечер пачку "Беломора".

Вечер бурно перекатывался в обыкновенную незабвенную московскую ночь. В привычные всплески ее голосов, из которых самый тихий — Надежды Яковлевны — и тогда звучал громче всех. В эту ночь, в этом доме, где русские-католики, еврей-православные и еврей-евреи исповедовали, в сущности, один общий культ Мандельштамов — его и ее, — диссидентский фашизм показался чьим-то бездарным и неприличным розыгрышем. Какой Иван? Какой Самолвин?! Языческая провокация, кагебистский блуд, листок из больничной форточки!..

Короче, все примирились со мной, потому что я согласилась со всеми.

Напрасно.

II

"К каким опасностям приводит смешение с евреями, я могу показать вам на примере древних персов, которые были великим и могущественным народом, но потом смешались с евреями и теперь влачат жалкое существование в качестве армян" (Адольф Гитлер).

— Бред? Бред! Такой же, как самолвинская историография ("христианство — предбанник сионизма"): персы не смешивались с евреями и не превращались по дороге в армян, каковы армяне оттого и называются армянами, что всегда ими были.

Но к тому времени, когда Гитлер произнес эту фразу, оспорить ее можно было только оружием, опровергнуть — кровью.

Вообразите какой-нибудь берлинский или мюнхенский литературный салон году эдак в 28-м. Под окошком шумят воспетые Шубертом липы, распевает немецкая птичка-нахтигаль, полощется славная речка Изар. Хозяева-евреи ждут гостей-евреев. То есть все они, конечно, немцы, немецкие интеллектуалы и только так, по генетической случайности, в каких-то гробовых грессбухах записаны "немцами Моисеева закона". А это уже прямая глупость, никакого такого закона они не знают и знать не хотят: половина из них католики, другая — протестанты, а третья — и вовсе агностики. В

общем, гости съезжались на дачу. И один из них, представьте, вытаскивает вдруг "Майн кампф" или что-нибудь иное увлекательное в том же роде. А тут как раз намечается вечер памяти Гете. Или Бетховена. Или другого корифея. А этот шутник, который с "Майн кампф", начинает вдруг – в нарушение программы – зачитывать вслух цитаты. Ну, само собой, недоумение, растерянность, смех. Как вдруг выскакивает один нервный гражданин. Он, может, не из их компании и попал случайно, он, может, вообще зубной врач и поэтому ближе к реальной жизни, и лучше чувствует атмосферу этих, то есть тех дней, и понимает, что это не просто так – художественная литература, а кое-что похуже. И вот он начинает метаться по салону и вопить, что пришли последние времена и что он завтра же уедет в Швейцарию. И по дороге, маша руками, разбивает бюстик Бетховена или самого Бисмарка. Ну, тут, понятно, его все успокаивают, обращают внимание на грубые ошибки в великом и могучем немецком языке, допущенные цитируемым автором, который, конечно, скорее душевнобольной, чем что-нибудь другое, а сами, наверное, переглядываются и сожалеют, зачем они этого плебея-стоматолога пригласили в свое высокохудожественное общество. Тем временем тут же присутствует какой-нибудь стопроцентный ариец, то есть это он потом станет стопроцентным арийцем, а пока что он такой же, как они, только чуточку другой.

И вот этот профессор сравнительной палеонтологии, спокойным голосом перекрывая происходящий галдеж (в котором почти подсознательно отмечает нечто специфическое), этот уважаемый представитель точных наук и меломан авторитетно заявляет, что никогда такой великий народ, как немецкий, который дал миру столько таких гениев, как Гете, Гейне, Гегель, Гофман и Гофмансталь, который есть ведущий народ индоевропейской расы, который – не то что англичане и французы – есть всемирный народ, поскольку каждый отдельно взятый немец есть всечеловек (тут он приводит в пример Гельдерлина, помешанного на древних греках, и Шопенгауэра, помешанного на индусах), народ-страдалец, народ-мессия, короче говоря, – такой народ – ни-ког-да!..

Стоматолог немедленно вытирает слезы и отменяет Швейцарию, остальные радуются и приступают к намеченной программе, а в заключение дружным хором исполняют финал Девятой симфонии Бетховена, известный под названием "Обнимитесь, миллионы!".

Мы не зададим непосильной работы нашей не слишком перегруженной фантазии, если передвинем временную стрелку на несколько лет вперед и представим, что с этой компанией произошло.

Скажу сразу: уцелел один (не считая палеонтолога, который умер естественной смертью в тюрьме как нацистский преступник). Этот один проживал в Израиле (теперь он тоже умер), не выносил Бетховена, предпочитая ему Вагнера, и успел поделиться со мной воспоминанием о литературно-музыкальном вечере на берегах Ванзее. Сквозь его иврит усиленно пробивался ностальгический стиль Томаса Манна, я же смогла перевести этот устный мемуар только на язык Зощенко ввиду анекдотической типичности фабулы.

III

Я не упрекаю своих московских приятелей (и себя вместе с ними) в нехватке исторического воображения или, что то же самое, исторической интуиции.

Дело в другом: что обычно знает обычный советский интеллигент о фашизме? – Что он чума. Чума, в свою очередь, подразделяется на "черную" – итальянскую и "коричневую" – немецкую. Современная западная мысль весьма щепетильна в разграничении фашизма и нацизма (простейшее основание: фашизм иногда может обойтись без антисемитизма, нацизм – никогда), но советский гражданин по-прежнему именует фашистскими Италию Муссолини, Испанию Франко, Германию Гитлера и Португалию Салазара, тем самым за ними всеми закрепляя расизм, геноцид, доктрину мирового господства и т.д. Иными словами, фашизм мыслится как наличная политическая структура и практика тоталитарной власти. Ее идеологические истоки туманны, скудны и немногочисленны: "психология мелкого буржуа" ("взбесившегося"), понятно, антикоммунизм, "идеология загнивающего империализма", ну, еще "Ницше – предтеча фашизма", у наиболее осведомленных на сильном подозрении немецкие романтики, вообще – романтизм.

Этот недобор приводил (и приводит) к идеологическому дальтонизму даже тех, кто обычно проявляет достаточную либеральную чуткость.

В начале 70-х годов, еще в бытность свою советской гражданкой, посмотрела я дублированный французский фильм "Великолепный" с обаятельным Бельмондо в главной и привлекательной роли автора дешевых комиксов, проникнутого отвращением к своей работе и мечтающего о чем-то другом, светлом и чистом. Светлое и чистое воплощала белокурая барышня, соседка героя по дому. Темное же и нечистое сосредотачивалось в некой таинственной компании, оболыщающей и развращающей простодушную блондинку. Компанию составляли: потрепанный грузный мужчина с курчавой шевелюрой, полуголая негритянка и еще какие-то смутные не то гомосексуалисты, не то наркоманы, не то через черточку.

Герой – Бельмондо – в финале морально очищался, отъяв барышню в самый разгар оргии, учиненной компанией на барышнинной квартире. (Оргию показали удручающе скромно, но не исключено, что самое завлекательное вырезали.)

Фильм кончался оптимистически: целомудренным поцелуем Бельмондо и блондинки. В перспективе – за кадром – угадывались: законный брак, разрыв договора на производство комиксов с паразитом-издателем и вдохновенное сочинение героем чего-нибудь эдакого художественно-полноценного.

Как и положено французскому, фильм был изящен, красочен, остроумен, Париж неотразим в роли Парижа, Бельмондо – Бельмондо, моды в фильме были последние, а мотивы министерства культуры – понятные: и кассово, и классово, и волки-цензоры целы, и овцы-зрители сыты. И все бы славно, кабы не некоторые занятные подробности: возглавитель развратной компании – грузный мужчина с курчавой шевелюрой – был вылитый Эйнштейн. Не просто сходство, пусть и шаржированное, но подчеркнуто гротескная цирковая маска Эйнштейна (фамилия персонажа, помнится, тоже звучала соответствующе). Мало того: грудь злодея украшал внятных размеров маген-давид, а сам он был – по сюжету – автором нашумевшей книги о сексуальной революции. С учетом данного персонажа все в этой проходной кинобезделушке меняется и становится знаково и знакомо: расово-чуждый ("черный") элемент (евреи и негры) развращают "белый" (белокурый) туземный этнос. В образе Эйнштейна ("произвел революцию в физике") еврейство по классической и все еще товарной схеме отождествляется с

"разрушением основ" – революцией, а что в данном случае – сексуальной, – это и примета времени, и воспроизведение мифологемы: "еврейское чудовище покусается на арийскую красавицу", в результате чего обаятельный Бельмондо из персонажа комедии повышается до ранга французского Зигфрида, героического защитника национальной чести. Что идеально отражено в символическом интерьере последнего кадра: целомудренный поцелуй состоялся под портретом Франсуа Рабле и под звуки старинного клавесина, наигрывающего не то Рамо, не то Люлли, каковые Рамо и Люлли тоже национально противостоят предыдущему джазовому разгулу.

Повела меня на фильм близкая подруга, смотревшая его уже второй раз: конечно, не Феллини и не Годар, то есть не "окно в Европу", но мы и такими "форточками" не бросались.

Подруга моя была умница и либералка (в диссидентском смысле). Как почти все советские интеллигенты, она достигла подлинной виртуозности в расшифровке контекста и подтекста любого, включая кино-, текста. "Любого" надо понимать "советского". У меня перед ней было одно преимущество – национальное: я впилась в маген-давид. Она же не то чтобы его никогда не видела, не понимала значения и потому не узнала, – и видела, и знала, и узнала, равно как и "Эйнштейна". Узнала, но – не распознала, поскольку, во-первых, другой пепел стучал в ее средце, а, во-вторых (или потому), у нее не было ключа к общей символической концепции фильма. Я не знакома с его контекстом – культурно-политической раскладкой во Франции 70-х годов – и потому не категорически утверждаю, что фильм фашистский по содержанию и французский по форме. Может, наоборот, это пародия на фашизм, ироническая реплика в какой-то неизвестной мне полемике. Одно безусловно: если и пародия, – то в рамках фашистской знаковой системы.

Чужая душа – потемки, что и позволяет постигнуть чужую душу – индивидуальную и национальную, – ибо человек, по преимуществу, есть существо сумеречное. Из всех национальных душ самая загадочная – французская по причине ее прославленной ясности.

"Французам свойственно все оценивать с точки зрения разума" (Мериме о Стендале); знаменитое "Я мыслю, следовательно я существую", – это именно и только французская формула бытия. В силу чего Шарль Моррас, французский "почвенник", германофоб в начале, антисемит всегда и основоположник французского фашизма, ненавидел романтизм вообще и немецкий в особенности, видя в нем тлетворные последствия иудео-христианского декаданса. В предисловии к сборнику прованских мифов и легенд он писал: "Я хотел показать, как монотеистическое христианство уничтожает живую гармонию язычества, под знаком страдающего бога ночь распростерлась над миром".

Имея своим врагом немецкие протестантизм и романтизм как "дочерние предприятия" иудео-христианства, Моррас, естественно, вынужден был считаться с тем, что историческая религия французов – католицизм – носит метку той же родоначальной фирмы. Положение затруднительное, но Моррас вышел из него с блеском, по крайней мере, с точки зрения разума: католицизм, объяснил он, это уже не совсем (вернее, совсем не) христианство, поскольку за время своего пребывания среди французов пропитался и проникся народным мироощущением, галльско-греко-римским по происхождению, иными словами – "живой гармонией язычества".

Что и было особо ярко явлено в эпоху французского Ренессанса.

Только теперь мы по достоинству оценим последний кадр фильма: портрет Франсуа Рабле, благословляющий, как икона, воркующих влюбленных. Соединим этот кадр посредством монтажа с дифирамбами Ивана Самолвина европейским народам за героическое сопротивление, которое они оказали иудео-христианским захватчикам, ответив им ренессансным возвратом к своим собственным почвенным религиям. Самолвину, конечно, не хватает элегантной ясности Морраса, но разве это его вина?.. Перуны, Лады и Кашеи не похожи на Платонов, Овидиев и примкнувшего к ним Рабле, вследствие чего Иван Самолвин производит впечатление параноика, возможно, таковым не являясь, а советской власти приходится возложить на себя роль французского католицизма: пропитываясь и проникаясь славянским язычеством, освобождать Россию от иудео-христианского кошмара.

– Вот уж и машину назвали "Лада", а ресторан – "Перун", – не нарадуется Самолвин.

С той же проблемой, что и Моррас, – соотношением доисторического язычества с историческим христианством – столкнулся фашизм и по ту сторону Рейна. То есть, с одной стороны, там все с этим делом обстояло намного благополучней и даже шикарней: Валгалла, Тор, Вотан, Нибелунги, кровь и почва, лед и пламя, стихи и проза – и все под музыку Вагнера; немецкая культура изрядно потрудились на языческой ниве (чего все-таки не скажешь о культуре французской). Одной трагедии Генриха фон Клейста "Битва Арминия" (1808 год), повествующей о смертельной схватке древних германцев с древними же (классическими) римлянами, с ее символикой леса, топей, недр, звериных троп, с ее подчеркнутым неблагозвучием германских слов, тиранящих изнеженный слух латинян, но символизирующих непроходимость не только Тевтобургского леса, но и самой сумрачной германской души, – одной только этой трагедии – при правильном филологическом подходе – вполне бы хватило для выращивания нового германского мифа XX века. Но, с другой стороны, некуда было деться и от тысячелетнего германского христианства, да еще в опасной форме лютеранства, в котором так явственно слышится не просто присутствие еврейского Завета, но даже и как бы некоторое малоприятное превосходство его над Заветом христианским. (В Англии, в эпоху Реформации, это было явлено с обескураживающей наглядностью: солдаты Карла I шли в бой с развернутым, как знамя, Новым заветом, а солдаты Кромвеля – с Ветхим, опрокидывая естественное представление о революции и контрреволюции как об извечной борьбе нового с обветшалым.)

Немецкому фашизму повезло: необходимую, но рискованную работу по решительному отделению Нового завета от еврейского взяла на себя целая Тюбингенская школа протестантских теологов. Еще в конце XIX века тюбингенцы пришли к выводу: Христос, хоть и родился среди евреев, евреем не был, ничего общего с Богом Ветхого завета не имел и не от Его имени пришел в мир. Канонизированная христианской церковью неразрывная связь Ветхого и Нового заветов оказывалась весьма ненадежной, а связь арийского Христа с германской душой не только желательной, но и возможной. А поскольку, если говорить честно, в наличной действительности все обстояло как раз наоборот: христианство было массовой, то есть народной религией, а древнегерманское язычество – оперным спектаклем (слова Клейста, музыка Вагнера), – с помощью

Леопольд КРАКАУЭР. Вверху: Чертополох.
Внизу: С Иудейских холмов. Бумага, уголь. 1947.

Рисунки Леопольда Кракауэра (1890-1954)

Возвращение евреев из европейских стран в Эрец-Исраэль создало необходимость освоить свою древнюю и вновь обретенную родину в искусстве. Парадоксалист Оскар Уайльд высказал похожую мысль иначе: "До Тернера в Лондоне не было туманов". Другими словами, только Джон Тернер сделал лондонские туманы фактом искусства, понял и заставил понять всех остальных эстетику туманов на Темзе.

В этом смысле в Израиле особенно повезло молодому Тель-Авиву. Легкомысленные уроженцы Украины или Бессарабии чувствовали себя как дома на тель-авивском берегу, среди домов с балконами в Яфо или под еще не разросшимися сикоморами бульвара Ротшильда.

С Иерусалимом, с его четким и бескомпромиссным солнцем, с его грузом истории, обременяющим каждый камень, с этой точкой на земле, где встретились Средиземное море и пустыня, дело обстояло если не труднее, то сложнее. Легкомыслия было недостаточно, ирония была опасна. Иерусалим и Иудейские горы открыли для нас более других художники немецкой традиции, с ее отсутствием юмора и вечной — откровенной или подспудной — экзотичностью. Немецкий экспрессионизм 20-х годов помог им почувствовать вечную драму Иерусалима — драму природы, драму истории, драму отношений человека и Бога. Яков Штайнхардт передавал в гравюре на дереве сверкающий камень иерусалимских домов и плотные черные тени на узких улочках. Мордехай Ардон выразил свои ощущения в абстрактной, но такой ясной и понятной форме. Ицхак Данцигер — скульптор и дизайнер — изваял своего "Нимрода" из светлого местного песчаника, как бы соединив образ библейского охотника с пустынным пейзажем.

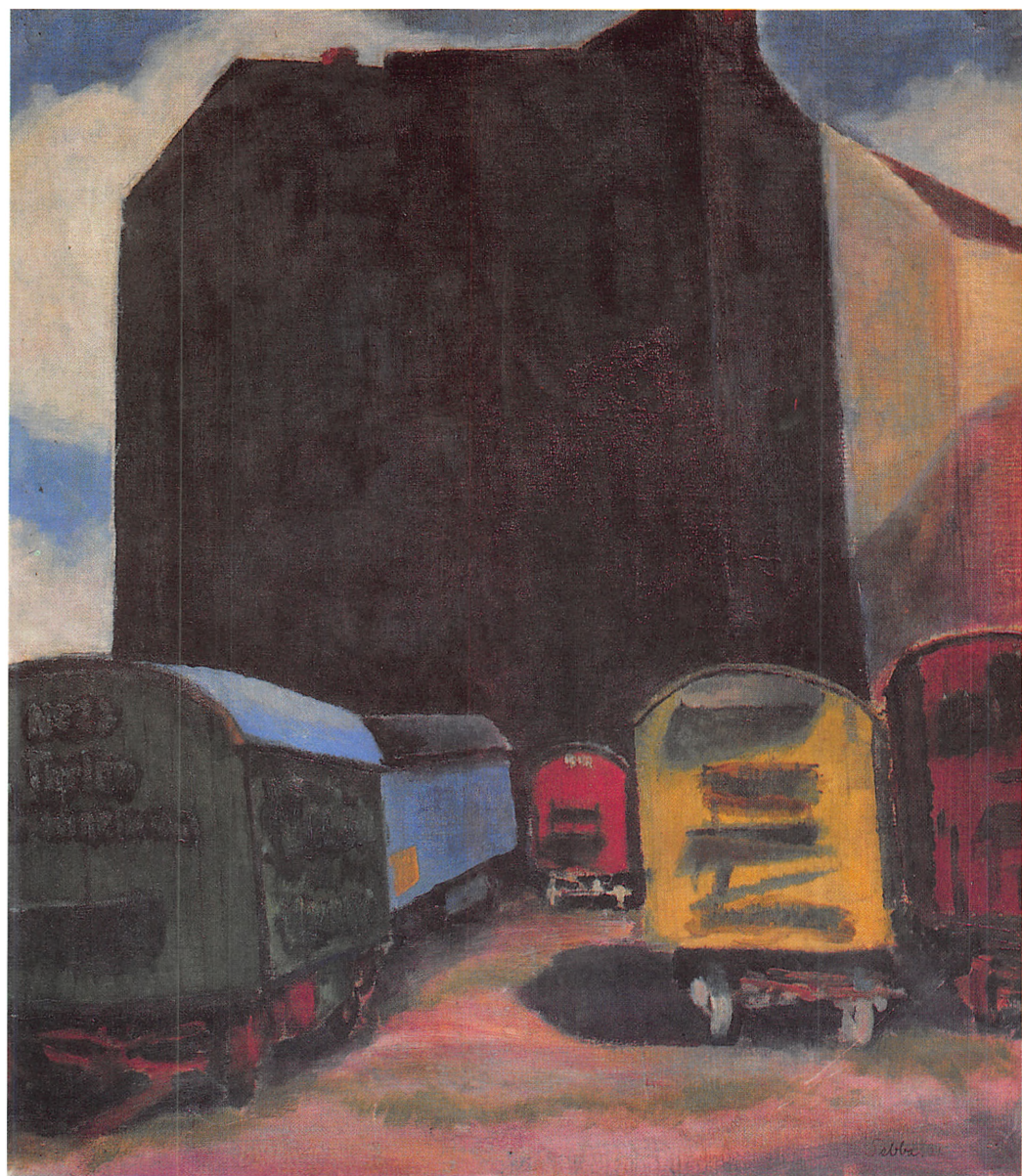
Истинными поэтами Иудейских гор стали Анна Тихо и Леопольд Кракауэр. Оба не живописцы, а виртуозные рисовальщики. Анна Тихо выросла в Вене, а Леопольд Кракауэр и родился там. Там же до первой мировой войны он учился архитектуре и гражданскому строительству. Рисунок был неотъемлемой частью его профессии, а для Леопольда Кракауэра к тому же и любимым занятием. В 1924 году 34-летний архитектор переезжает в Эрец-Исраэль и поселяется в Иерусалиме. Он проектирует здания для кибуцов. Те, кто был увлечен социальными экспериментами, как это обычно бывает, проявляли отзывчивость и к эксперименту архитектурному. Позже Леопольд Кракауэр занимался в основном городским планированием.

Большие по размеру, законченные и отделанные, как это было принято у старых мастеров, рисунки углем или черным мелом, возможно, самая прекрасная часть того, что оставил нам Леопольд Кракауэр. Что он рисовал? Горы вокруг Иерусалима, плавные очертания вершин и крутые каменные обрывы, обилие камня и скудость земли, кусты колючих кустов и отдельно стоящий кипарис или фиговое дерево. Десятки рисунков олив, того удивительного вида деревьев, в котором каждый экземпляр неповторим, имеет свое лицо и достоин портретирования. Могущие, скрюченные, а иногда и расщепленные стволы — целая биография. Технические средства Кракауэра-рисовальщика немногочисленны. Как было сказано, уголь, черный мел, иногда немного коричневой акварели. Цвет добавляет бумага — желтоватая для дневных пейзажей, зеленоватая-серая — для ночи. Зато сама линия бесконечно разнообразна. Нервная, извивающаяся линия вдоль ствола оливы и нежное прикосновение угля к шероховатой бумаге, чтобы передать тающие в ночной тьме контуры гор.

И еще один любимый мотив Кракауэра — колючки. Нарисованные отдельно, они обретают не меньшую монументальность, чем горы и оливы. Любопытно, что Кракауэр чаще работал не на натуре, а в студии, но ветви колючек всегда были перед ним, как бы связывая мир природы и мир художника.

Иосиф ЛИЩИНСКИЙ





тубингенцев эстетизм открыл дорогу варварству, и к политической власти национал-социалисты пришли в полном мифологическом вооружении.

Вопреки распространенному взгляду на фашизм как до кипения нагретый национализм, Моррас и его сторонники вовсе не были безоглядными шовинистами, во всяком случае, когда речь заходила о столь насущной и неотложной проблеме, как романтизм. Морис Баррес, единомышленник и сподвижник Морраса, выступая в 1912 году на юбилее признанного "отца романтизма" Ж.-Ж. Руссо, презрел нормы юбилейного приличия и мужественно заявил, что "ни он, ни его политические друзья не могут присоединиться к чествованию памяти человека, проповедовавшего необузданную свободу индивидуализма, господство капризного инстинкта, отрицавшего веками выработанные устои жизни, культурные блага и естественную дисциплину, на которой они покоятся. От Руссо пошла ужасная болезнь беспорядочного умничанья, прославления чувства, готовности к бунту во имя индивидуальной неудовлетворенности, — словом, худший вид революционного настроения, делающий необеспеченным существование культурного распорядка жизни". Итак, романтическому "инстинкту" жестко противопоставляется классическое слово "культура", один звук которого вынуждал Геббельса хвататься за пистолет.

Правда, пока немецкие романтики не победили на выборах, и они усердно занимались селекцией культуры, отчисляя из ее рядов проводников чуждого "латинского" духа с той же бескомпромиссностью, с какой французские классики чурались своих романтиков.

До 1933 года символом чуждости немецкому в немецком почитался Гете. — "олимпиец", рационалист, скептик, он называл романтизм "болезнью", а к великому немецкому патриоту Генриху фон Клейсту относился едва ли не с брезгливостью. Короче — типичный офранцузенный циник. Ему противопоставлялся чистый немецкий идеалист и спиритуалист Шиллер.

В конце 20-х годов в одном из германских университетов была даже защищена диссертация, в которой доказывалось, что Гете отравил Шиллера. Успешная диссертантка и автор ошеломляющего открытия — Магда Геббельс.

Но победители, если не всегда великодушны, то по крайней мере, экономней и хозяйственней радикальной оппозиции: культ Гете расцвел в гитлеровской Германии, воистину став "олимпийским". Нацизм тоже хотел "порядка" и "дисциплины", но, в отличие от французской версии, последние имели произрасти не из "культурных благ" и "веками выработанных устоев", но из глубины национального мифа (и характера), первозданного, инстинктуального, героически варварского, то есть в конечном счете, — "естественного".

Только для Барреса "естественное" — это культура, для немецких же его "братьев-врагов" — это инстинкт и чувство. Каждому, как говорится, свое.

Возможно, приди французский фашизм к власти, он тоже проявил бы снисходительность к Руссо и обнаружил в нем чисто "латинские" начала "культурного распорядка жизни": в фашистском мифе бессознательно-народное и сознательно-культурное образуют монолитное единство.

Но французский фашизм — "Аксон франсез" — возник в последней четверти XIX века, по счастью, так и не дорвался никогда до политической власти, хотя и оказал в свое время живейшее влияние на французскую культуру, в частности, на столь высоко ценимого в Советском Союзе Ромена Роллана. (Его также ценили и тоже высоко в

гитлеровской Германии.) В послевоенных советских поколениях Р. Роллан разделит судьбу другого "великого гуманиста" М. Горького – оба перешли в разряд не только нечитаемых, но и непочитаемых литературных теней. Если же кто из довоенных поклонников Роллана захотел бы узнать разгадку его обескураживающего антисемитизма – вот она: плодотворная близость к Моррасу.

Что ж до самого Шарля Морраса, – то он благополучно дожил до второй мировой войны и оккупации Франции, оккупацию приветствовал, пережил и после войны был судим как коллаборационист: острый галльский смысл и сумрачный германский гений примирились в его лице, объединенные ненавистью к иудео-христианскому монотеизму. Означает ли последний нестерпимую ночь романтизма или иссушающий день рационализма, – так и осталось тайной, впрочем, не столь уж важной: сегодня третий великий стиль европейской культуры – реализм – перехватывает из ослабевших рук "классиков" и "романтиков" эстафету борьбы с "жидовской идеей"; вместе с реализмом и ныне "ведущий народ индо-европейской расы" – русский – требует свою долю в "Золоте Рейна".

IV

В статье "Мировое значение М. Шолохова" П. Палиевский видит мировое значение М. Шолохова в том, что в его – Шолохова – творчестве "открывается гуманизм непривычного масштаба".

Непривычен, прямо скажем, не столько масштаб, сколько сам гуманизм в трактовке Палиевского, хотя, казалось бы, чем еще можно удивить советского человека, воспитанного на самых невероятных авантюрах этого ренессансного потомка ("революционный", "буржуазный", "пролетарский", "советский")?

Оказывается – можно: "...если что-нибудь поражает в Шолохове, то скорее пренебрежение к жестокости, отсутствие того, чтобы ей придавалось какое-нибудь значение..." Смело! Для подцензурной советской публицистики – прямо диссидентно: при всех метаморфозах "гуманизма", направленных, в сущности, на уничтожение содержания понятия, но сохранение его словарного употребления, жестокость могла оправдываться как "классовая необходимость" по отношению к "врагам", невозможная в обращении со "своими" ввиду безоговорочной нравственной предосудительности данного качества. Но чтобы с гуманизмом советского писателя, то есть "советским гуманизмом", сочеталось "пренебрежение к жестокости"?! – такого не бывало.

Где решается проблема гуманизма, – там, понятно, возникает проблема личности: "Этот мир (художественный мир Шолохова. – М. К.) ни секунды не колеблется перед таким понятием, как личность. Не отвергает ее и, без сомнения, чтит, но если надо свободно перешагивает... Идет одергивание, обламывание, обкатывание ее в колоссальных смещениях целого".

"Обламывание" и "обкатывание" допускают и даже предполагают летальный исход, в силу чего П. Палиевский вышивает на шолоховском полотне собственную философию смерти (ясное дело, не собственной):

"...смерть у Шолохова – это какая-то метла в жизненном доме. Так и представляешь ее не с косою, как сколько раз рисовали, а в виде нянечки или уборщицы. Ничего

недопустимого или устрашающего за ней не признается. Ну есть, нет, задержалась на время, пока не замусорилось — все равно ей придется пройти. Как ни странно, здесь у Шолохова осуществляется идея "предоставьте мертвым хоронить мертвых", и интерес всего совершающегося проходит сквозь них; тем более не по ним и не по смерти оценивается смысл происходящего или его результат. Все мертвое горит, выгорает до пепла, и языки этого пламени задевают, коречат живое. Но как будто для его же пользы, в исправление того, что оно не могло или не пожелало само в себе исправить, при этом постоянно выходя за пределы личного".

Ощутимая грамматическая абсурдность последней фразы (кто "оно", которое "не могло или не пожелало"? что "постоянно выходит за пределы личного"?) не только не лишает логики весь пассаж, но придает ему острый дополнительный смысл, который и есть главный. При неповерхностном чтении стилистика Палиевского обнаруживает странное пристрастие к формам среднего рода: "целое", "живое", "личное", "центральное"... В советском языке из форм такого типа бодро циркулирует лишь "диалектическое единство", "личное-общественное", в современном же русском языке они выступают, как правило, в скромной роли определений: "живое начало" (-ой человек"), "центральное отопление" (-ый комитет"), "целый день" (-ая буханка") и т. д. Ясно, что в словоупотреблении Палиевского "целое" тождественно "целостности". Предпочтение, оказанное первому из двух слов, объяснимо тем и только тем, что сознательно или бессознательно (последнее сомнительно) Палиевский превращает перечисленные абстрактные существительные в категории, свободно заменяемые местоимением "оно". Данное же местоимение сохраняет грамматическую невинность только в русском языке и для советского сознания. В западном же мышлении "оно" как раз и есть категория, введенная в культурный оборот фрейдовским анализом и глубинной психологией Юнга. В рамках этих пересекающихся концепций "оно" означает "коллективное бессознательное", таинственную область общечеловеческих, национальных, индивидуальных "архетипов", руководящих поведением отдельных людей, групп, сообществ, масс. Поэтому не будем путать "целое" Палиевского с нормативным советским коллективизмом, точно так же, как его "понятие личности", "перед которым не останавливается шолоховский мир", не имеет ничего общего с ритуальной советской диалектикой "личного и общественного", где "общественное" (общество) выше "личного" (личности), как целое больше (нравственное выше) части, но каким-то непостижимым образом ("диалектически") получается, что это математическое послушание способствует долгожданному расцвету личности.

Занятно другое: само по себе "коллективное бессознательное" не является оценкой, оно — факт, объект познания, как атом, гравитация или хромосома; нравственно же подсудным становится лишь на сознательном уровне — там, где переходит в доктрину поведения. Меж тем "целое" ("живое", "центральное") Палиевского, очевидно, равное стихийно-народному, "архетипно"-национальному носит боевито-позитивный характер; это категория не просто оценочная, но оценивающая. Причем оценивающая в полном, как будто, согласии с советским вероучением: "народ — источник всех материальных и духовных ценностей" (плакат); "народные массы — творцы истории" (учебник философии); "к народу поближе держись, сынок, народ — он всему основа" (худ. литература).

Именно скольжение на грани официальной риторики при ясном ощущении, что речь идет о чем-то совсем и устрашающе другом, сообщило в свое время выступлению Палиевского характер скандала. Черносотенцы ликовали, либералы же (евреи в особенности) единогласно и правильно утвердили: фашист. А ведь, если вдуматься, что такого нового и необыкновенного содержалось в рассуждениях о правоте народной стихии или народной сущности советской власти?! Настораживала страстность тона и свежесть аргументации. (Отвыкли за полвека.) Самый вызывающий знак разрыва Палиевского с официальными советскими заповедями – его философия смерти. В отличие от революционной метафизики, для которой смерть была признанным и даже необходимым моментом бытия ("Вы жертвою пали в борьбе роковой...", "Вихри враждебные веют над нами...", "Смело мы в бой пойдем... и как один умрем..."), – у метафизики советской отношения со смертью натянуто-пугливые. Вообще говоря, она отрицается. Не как факт – увы, невозможно, – а, так сказать, "в высшем смысле". Показательно, что среди окостеневших формул советского языка, властно охватывающих самые фундаментальные стороны существования человека ("строитель коммунизма"), общества ("светлое будущее всего человечества"), за смертью закреплена всего лишь одна бледноватый штамп: "Смерть вырвала из наших рядов...".

Нетрудно увидеть здесь склеротический след революционной героики, которая при нормальном протекании жизни превратила смерть в "образ врага" (классового), а факт смерти – в акт борьбы. В этой борьбе смерть временно (по типу "временных трудностей") одержала победу – "вырвала из наших рядов", – но не исключено, что в следующий раз "мы" кого-нибудь "вырвем" из ее рядов.

Известно, что советское общество испытало два потрясения своих религиозных основ: смерть Сталина ("бог умер") и разоблачение его "культа". На самом деле было третье, как и положено потрясениям, – потрясение: громоподобная фраза Н. С. Хрущева на одном из закрытых заседаний XX съезда: "Мы все смертны. Мы все умрем. Пусть же грядущие поколения знают правду". Вместе с правдолюбцем Никитой предали забвению и его пророчество о смерти, и советское общество снова погрузилось в свое вяло текущее бессмертие.

Но энергичный дифирамб смерти, проскандированный Палиевским – не реставрация революционного мифа, хотя тематически – в связи с "Тихим Доном" – говорится именно о революции и гражданской войне. Тождество темы лишь резче подчеркивает разность подходов. В революционной мифологии умирали (и убивали) во имя "любви беззаветной к народу", сам же народ оставался как бы незатронутым и незапятнанным в силу отведенной ему роли жизнеутверждающего источника "материальных и духовных ценностей". Те, кого приходилось убивать, именовались "врагами народа", то есть по той же логике – как бы врагами самой жизни. (Подчеркиваю: речь идет не о том, как оно было в действительности – ясно, что в действительности было не то, не так и вообще паскудно, – но о том, как действительность оформлялась, виделась или как хотелось, чтобы виделась.)

В патетике русской революционной мифологии "теодицея" русского народничества (народ прав, свят и богоподобен) причудливо сочеталась с основами иудео-христианского монотеизма, для которого смерть – безусловное трансцендентное зло, она не входила в божественный проект мироустройства, но проникла "явочным порядком" в результате

грехопадения человека. Если не понимать, что именно эта концепция – тайный антагонист, адресат и подтекст полемики Палиевского, то сам его текст начнет срывать в нелепость почти на каждой фразе. Например: "Ничего недопустимого или устрашающего за ней (смертью. – М. К.) не признается" (в "Тихом Доне". – М. К.). "Устрашающая" смерть – это понятно и допустимо, но "недопустимая"?! "Допустимой" или "недопустимой" смерть может быть только в такой системе представлений, где она подлежит моральной оценке, как и обстоит дело в иудео-христианской метафизике: смерть допущена, но недопустима, то есть существует, но не оправдана.

Однако в момент наивысшего полемического напряжения Палиевский не выдерживает – и подтекст прорывается в текст: "Ну есть, нет, задержалась, пока не замусорилось – все равно ей придется пройти". Как ни странно, здесь у Шолохова осуществляется идея "предоставьте мертвым хоронить мертвых..." Предписанное смерти действие – "придется пройти" – переводит неизбежное в желательное, гигиенически необходимое – вспомним исходную метафору Палиевского: "Смерть – метла в жизненном доме".

А почему "как ни странно"?.. Ведь Палиевский ссылается на один из самых жестоких евангельских императивов (хотя без указания на источник и перевирая его: в Евангелии – "Предоставьте мертвым хоронить своих мертвых"). А "странно", потому что концепция жизни и смерти в романе "Тихий Дон" – по мысли Палиевского – тотально противостоит традиционному гуманизму с его постоянной и робкой оглядкой на иудео-христианские ценности. Вот только в одном месте пересеклось; правда, место по смыслу подходящее, что и позволило цитатой окликнуть врага по имени.

Но и это не все. Размышления Палиевского явно переклещивают границы литературы и вторгаются в сопредельные области историософии и "философии жизни". А это значит, что "как ни странно", то есть незатронутость христианством и даже противостояние ему, – относится не только к "Тихому Дону", но к его и Палиевского главному герою – русскому народу. (Совсем как у Ивана Самолвина.) Поскольку же смерть не закреплена за одним романом, одним народом и одной эпохой, – провозглашенный Палиевским "гуманизм непривычного масштаба" призван объяснить и некоторые другие события нашего обильного смертью века. (Не забудем, что речь все время идет о "Мировом значении М. Шолохова"!)

"Все мертвое горит, выгорает до пепла, и языки этого пламени задевают, коречат живое. Но как будто для его же пользы; в исправление того, что оно не могло или не пожелало само в себе исправить", – развивает Палиевский свою апологию смерти на горячем материале "Тихого Дона". Правда, в "Тихом Доне" нет стихии огня как лейтмотивного образа – этот символ пробился к Палиевскому из какого-то другого пространства. (Какого – мы скоро узнаем.)

Но настораживает даже не смысловая, а чисто речевая сбивка: "Все мертвое выгорает до пепла". Есть устойчивая идиома "сгореть до тла", а вот "выгореть до пепла" не то чтобы неверно, а – коряво: автоматизм языка требует вместо "пепла" – "тла".

У меня нет ни прав, ни оснований заподозрить автора "Путей реализма" в нечувственности к родному языку. Напротив, его многочисленные языковые неловкости, странности и перепады я считаю вполне сознательными и идеологически осмысленными. Замещение идиомы "сгореть до тла" словосочетанием "выгореть до пепла" так же мировоззренчески значимо, как эпитет "недопустимая" в паре со смертью. По современному русскому

литературному языку "пепел" широко "развевался" в составе "крылатого выражения": "Пепел Клааса стучит в мое сердце". Популярность этой цитаты из "Тили Уленшпигеля" обеспечила газетная и журнальная публицистика, бесчисленно "разогревавшая" ею казенщину статей, памфлетов и очерков о немецком нацизме. Вероятно, впервые (и искренно) цитата вошла в языковой обиход в военное время, но вот, что в 60-е годы, в связи с серией судебных процессов над скрывавшимися пособниками оккупантов и модным тогда разоблачением западногерманского реваншизма и неонацизма "пепел Клааса" не "сдувался" с газетных полос, — этому я свидетель. Фабульная привязка — месть за сожженного на костре инквизиции отца — не была забыта, но перестала осознаваться. Это гарантировало фразе "рабоспособность" и превратило ее в лозунговый афоризм типа "Не забудем, не простим!". Но с несколько особым оттенком: в советском языке с его вытеснением и табуированием слов и тем, особенно еврейской, "пепел Клааса" (и просто "пепел") закрепился за Катастрофой.

Ни "Клаасом" — отдельной личностью, ни "классом" — социальной группой Палиевский не волнуем, предмет его забот — "целое": нация, народ. Смерть "гурьбой и гуртом" в мире "Тихого Дона", то есть в революционной России, оправдана установлением советской власти, по характеристике Палиевского "действительно новой, самостоятельной". Чем оправдан "пепел"?.. "Новым порядком"?

Я понимаю, что одно слово в качества аргумента выглядит сомнительно, и обещаю солидную доказательность на примере родственного текста объемом в несколько тысяч слов. Пока же скажу, что игра с огнем, "выгорающим до пепла", на меня лично производит куда более тревожное впечатление, чем дежурные антисемитские выпады Палиевского против: Исаия Лежнева-Альтшулера (по старинке — да еще в 1948 году! — рассматривал "Тихий Дон" с классовых позиций, за что и получил от Палиевского презрительный щелчок), Исаака Бабеля, чье изображение революции, в противовес шолоховскому национальному эпосу, Палиевский именует "глянцевитым лубком" и прибавляет в скобках: "в чем тоже была своя доля правды". Ясно, что "своя (то есть "лубочная". — М. К.) доля правды" относится не к теме — гражданской войне, но к жанру и автору: где для Русского — эпическая традиция, там для Бабеля — лубок.

Сам по себе антисемитизм Палиевского известен и удивить не может. Скажу больше: сам по себе антисемитизм (не Палиевского) не только не должен удивлять, но и особо нервировать — дело, так сказать, житейское, привычное. А если бы речь шла просто о нелюбви или даже остром отталкивании от некоторых наших специфических черт (каковые имеются), — то и вовсе понятное: мы-то сами, в отличие от Ф. Э. Дзержинского, тоже не готовы обнять весь мир своей любовью. К тому же привычка мыслить целокупными национальными образами — всечеловеческое культурное свойство, которым немало грешили и предшествующие более гуманные века: "Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье", — приговорил Фонвизин; французский историк Мишле откликнулся энергичней: "Россия — это холера", а Гейне никак не мог привыкнуть к тому, что такой скучный и лавочный народ, как англичане, породил Шекспира. В оправдание почитаемых мною классических культур напомню, что параллельно этому нелиберальному "фобству" имело место неоднократное влюбление в чужие народы и государства не без уязвления собственных: то Стендаль противопоставит французскую буржуазную скудость итальянским страстям, то Байрон в пику англичанам помрет от греческой лихорадки, то Гете пожелает своим

соплеменникам рассеяться по миру, подобно евреям, чтоб хоть немного цивилизоваться, а Томас Карлейль чуть не половину жизни потратит на пропаганду Гете среди равнодушных к немецкому гению бриттов и скоттов и т.д. Но с евреями всегда обстояло иначе: никто в них не влюблялся. "Еврейский угол" – самый неприглядный и затхлый в европейской культуре вообще и у отдельных ее гениев в частности. Ни нашими национальными свойствами, ни обобщающими свойствами человеческого разума этого не объяснишь.

Тем не менее, при всей иррациональности антисемитизма кое-что в нем все-таки поддается пониманию и объяснению: евреи затрагивают религиозные (а значит, и культурные) основы бытия народов, унаследовавших монотеизм, и нужно быть безнадежным метафизиком, чтобы признать эти основы менее существенными для истории, чем самозаводящуюся карусель "производительных сил и производственных отношений". Если европейские народы – дружа, враждуя, общаясь – создавали образы друг друга, то еврей изначально был погружен в миф, недифференцированный и неанализируемый, как и положено мифу. Миф творит мифический же "образ еврея"; миф, а не наблюдения, пусть и необъективные (Фонвизин о французах), или чувство, пусть и несправедливое (Гейне об англичанах, Достоевский о тех же французах, поляках, немцах, но – не о евреях!). То, что всегда превращало еврейское существование в фантомное и опасное, в XX веке привело к Катастрофе. Поэтому в интересах истины, душевного равновесия и прагматического здравомыслия полезно в каждом конкретном случае понимать, с каким антисемитским мифом мы столкнулись – традиционным или XX века.

...За четыре года до уяснения мирового значения Шолохова Палиевский раскрыл смысл "Последней книги М. Булгакова" ("Мастер и Маргарита"). Смысл этот – по Палиевскому – заключается не в Мастере и Маргарите, а в другой паре: Берлиоз – Бездомный, где Берлиоз до поры до времени обольщает и развращает Бездомного Ивана, но в счастливом финале Иван "возвращает себе собственное имя и от Бездомного начинает понимать, что существует дом, свое, через дом соединяющееся с общечеловеческим – с историей... что есть народ в этой истории, составивший и создающий его имя среди бесчисленных других, есть то растущее целое, которое не в силах разложить никакие Коровьевы и Воланды". Что концепция антисемитская, – это каждому, по крайней мере советскому, читателю понятно, поскольку каждый, по крайней мере советский, читатель точно знает, что Михаил Александрович Берлиоз – еврей. Спросите, откуда такая уверенность? – и одни – пограмотнее – разъяснят, что прототипом М. Берлиоза был небезызвестный Л. Авербах, другие скажут, что это очевидно, и точка. От этой-то точки, вернее, – пещки и пляшет Палиевский, уверенный в том, что его правильно поймут и безродные берлиозы и бездомные иваны. Его и поняли, но – неправильно, точнее, – не до конца: трактовка Палиевского не просто антисемитская, но именно фашистская. Достаточно сопоставить статью о Булгакове со статьёй о Шолохове, чтобы обнаружить одни и те же внелитературные категории, с помощью которых объединяются два романа, ничего общего между собой не имеющие: "целое", "чистка", "огонь".

"Нечистая сила", действующая в "Мастере и Маргарите", приравнена Палиевским смерти и в этом своем качестве выступает в уже знакомой нам функции очистительного огня. "Нечистая сила" при всем своем коварстве, говорит Палиевский, "только чистит и выжигает" либо слабое само по себе (Берлиоз), либо части "целого", зараженные слабым и внутренне подгнившие (у Палиевского содержится явственный намек на то, что таким подгнившим интеллигентом был сам Мастер, почему и погиб).

В связи с темой очистительного огня, от которого "все мертвое выгорает до пепла", вспомним истерические предостережения Ивана Самолвина о том, что евреи хотят загнать русских в газовые камеры. Что у Палиевского на уме (в подтексте), то у Самолвина на языке (в тексте), — общие навязчивые образы: евреи — смерть — огонь — пепел.

Глобальность концепции позволяет Палиевскому прочитывать художественную литературу по диагонали, межстрочно, внестрочно, но она же вынуждает найти для оказавшихся рядом Шолохова и Булгакова место в общенациональной культурной традиции. Занятие нетрудное, ибо волшебное "слово в законе" известно давно: реализм.

"Припоминается, что Россия реалистическая страна. Что здесь происходило обуздание романтизма, укрощение его претензий, часто трагическое, благодаря его силе, красоте и несомненной правде", — размышляет Палиевский.

О чем он говорит? О борьбе двух направлений — романтического и реалистического — внутри русской культуры? О противостоянии русской реалистической культуры иноземной романтической? Или о военной победе "реалистической" России над "романтической" Германией, победе "с надрывом", поскольку на той стороне была и "сила", и "красота", и "несомненная правда"?.. Меня настораживает "Россия" вместо столь, казалось бы, естественной здесь "русской культуры", а также "укрощение претензий": по законам советского языка, всеми оттенками которого виртуозно распоряжается Палиевский, — "претензия" устойчиво сочетается с "мировым господством".

...Насилие, террор, лагеря — это уже зрелый фашизм, если ему повезет, как в Германии, и "в борьбе обретет он право свое". Может и не обрести, как, скажем, французский фашизм. Но начинается фашизм везде одинаково: у книжных полок, в ночных спорах и "размышлениях над прочитанным", в отчаянных попытках приручить культуру к потребностям гибнущего общества, "бракосочетать" ее с реальностью для выведения "нового порядка" жизни.

Фашизм есть, прежде всего, пересмотр и селекция уже имеющегося, наличного культурного фонда. (Так Розенберг в "Мифе XX века" видел цель новой историографии в том, чтобы "заново пересмотреть и переписать историю человечества".)

Фашизм поэтому не закреплен за одним стилем или одним направлением, но опирается на тот, который традиционно признан наиболее сильным в данной национальной культуре: классичность — во Франции, романтизм — в Германии, в России — реализм.

На "путях реализма" и встретились анонимный "Иван Самолвин" с его "запиской из подполья" и известнейший литературовед и критик Палиевский, бывший либерал 60-х годов, ныне трудящийся "почвы и крови".

Михаил ХЕЙФЕЦ

Мост длиной в 120 книг

Переезд из страны в страну — драматическое событие в жизни любого человека, даже если он меняет заведомо худшие условия жизни на заведомо лучшие.

В Америке социолог Илья Левков провел опрос “новых американцев”. 88 процентов из них считали свое материальное положение в США лучшим или уж во всяком случае не худшим, чем прежнее, советское. На вопрос, довольны ли они тем, что в свое время приняли решение эмигрировать, 89 процентов ответили: “довольны” или “очень довольны”. Исследователь назвал этот процент “неслыханно высоким”. А между тем половина из этих “довольных” и “очень довольных” признались, что культурный уровень их жизни понизился в Соединенных Штатах по сравнению с советским.

Как же так? Ситуация эта выглядит парадоксальной. На Западе, включая и Израиль, бывшему советскому человеку, буде он пожелает остаться в рамках родной советской культуры, доступны любые книги и любые периодические издания, выходящие в Советском Союзе, в том числе и те, за которыми в России надо выстаивать длинные очереди, ради которых надо униженно обхаживать продавщицу из “Дома книги”. Можно слушать любую советскую радиостанцию, купить любую пластинку, сходить на новый советский фильм, а старый получить на видеокассете. А сверх того на Западе существует богатейшая культура русской диаспоры, накопленная за многие десятилетия, да плюс свободная пресса на любом из языков народов СССР. Если ж только эмигрант пожелает — вся мировая культура раскроется перед ним. Нет места, куда не мог бы он поехать, чтобы удовлетворить свое пристрастие к индийской философии, тибетской медицине или испанскому романсу. А он, эмигрант, стоит на берегу безбрежного моря мировой культуры и почему-то чувствует себя обделенным...

Русский еврей в Израиле эмигрантом себя не чувствует и не считает. Но в большинстве своем, даже при благополучном вхождении в новую жизнь, разделяет с эмигрантами чувство культурной обделенности. Почему?

Ответ “Из-за недостаточного владения языком” справедлив только наполовину. Во-первых, казалось бы, есть достаточно местной культурной продукции на русском

языке; во-вторых, обделенными себя чувствуют, увы, и те, что вполне справляются с языком. Почему?

Судите сами.

Сотрудница Эрмитажа, человек весьма эрудированный в европейском искусстве, не смогла пройти экзамен, чтобы получить место библиотекаря — она не ответила на простой вопрос о жизни Йоханана бен-Закая. В СССР она и имени-то такого не слышала. А в Израиле не знать Йоханана бен-Закая все равно, что в России обнаружить полную неосведомленность по поводу "Слова о полку".

Сам я недавно с большим аппетитом обсуждал с одним израильским математиком, бывшим питерцем, подробности соперничества Московского и Тверского княжеств, происходившего в XIV веке. Но зато в очень важной для меня статье перепутал израильского царя Йоханана Гиркана с Александром Янаем, другим израильским царем. Все равно, как если бы я в России ляпнул, что опричнину учредил Борис Годунов.

Объем знаний, позволяющий человеку ощущать свою личную причастность к истории и судьбе своего народа, то есть тот объем сведений, который только и создает **культурного** человека, в Израиле (или в Америке, или в Европе) оказался другой. И дело даже не в том, — хотя и в том, конечно, тоже — что историю древнего мира в советской школе умудряются преподавать, не упоминая об Израиле и Иудее. Что известно образованному советскому еврею, если он не специалист-историк, об истории сасанидского Ирана? Что он знает о Польше XV—XVII веков, в промежутке между битвой при Грюнвальде и восстанием Богдана Хмельницкого? А в Израиле это знает любой старшеклассник, потому что это важнейшие периоды в жизни еврейского народа...

Нельзя представить себе интеллигентного человека в Москве или Киеве, который предположил бы, что террориста Богрова подослал к министру Столыпину сам император Николай II. Но я своими ушами слышал от живущего в Израиле уже несколько лет писателя, что убийцу к Арлозорову направил соперник в борьбе за руководство Еврейским Агентством.. Давид Бен-Гурион.

Мне рассказывал учитель английского языка из Умани, с которым мы вместе проходили военные сборы, как здорово израильтяне применили военную хитрость против египтян в Шестидневную войну: в час мусульманской молитвы послали в атаку совершенно голых девушек с автоматами. Мусульмане, чтобы не оскверниться, закрыли лица; израильтянки их всех перестреляли — и так была прорвана египетская оборона. Ему об этом рассказывали на политзанятиях в Советском Союзе. Учитель был в восхищении от ловкости израильских стратегов. Для любого его здешнего коллеги поверить в такое военное планирование не проще, чем в то, что в Советском Союзе жены давно обобществлены...

При освоении нового пространства вдруг выяснилось, что старый культурный багаж недостаточен в новых условиях. Привыкнув считать себя образованными людьми, мы вдруг оказались в положении невежд и полужнаек. Отсюда и ощущение, что культурный уровень понизился. Между объемом знаний интеллигента из России и объемом знаний израильского интеллигента зияла пропасть.

Проблема эта обнаружилась уже при начале последней алии, десять лет тому назад. И

тогда же возникла идея построить мост через пропасть разных ментальностей, через провалы в области знаний. Особый мост — мост из книг. Так возникла серия "Библиотека-Алия". Сегодня в серии уже около ста двадцати наименований.

Вначале была пропаганда.

"Новому израильянину" предложили "джентльменский набор правильного сиониста": разумеется, сочинения Герцля, стихи Бялика, Черниховского и Альтермана, антологию "Еврейские мотивы в русской поэзии" (от Фруга до Светлова и Уткина), романы из "иудейской темы" Макса Брода и Говарда Фаста и т. д. и т. п.

Было ли такое начало удачным?

Сложно ответить на этот вопрос. Возьмите, например, роман, с которого началась "Библиотека-Алия", — "Эксодус" Леона Юриса. На сколько-нибудь развитый вкус это такая бульварная дешевка, что непонятно, как ее кто-то всерьез воспринимал. Но невозможно же спорить с фактами: всюду читали и всюду захлебывались восторгом! В Союзе, говорят, один из переводов романа сделали прямо в зоне строгого режима.

Зверски голодны были тогда советские евреи до любой информации об Израиле, и всякое даяние казалось им благом... В высокоинтеллигентном учреждении города Ленинграда утонченнейший интеллигент признавался: "Ведь текст такой, что в рот нельзя взять, а сижу над страницами и плачу..."

Вот почему автор в дальнейшем не решается претендовать на объективную оценку тех или иных книг серии, и вот почему читатель встретит лишь отрывочные и сугубо личные впечатления от многих книг и опять же сугубо личные представления об истории издательского организма, который называется "Библиотека-Алия". На большее я не претендую.

Ну, например, знакомясь с книгой Т. Герцля (том 13 "Библиотеки"), я почти не запомнил идей книги основоположника сионизма. По-моему, сегодня читать "Еврейское государство" в Израиле — это, примерно, как читать "Что делать?" Ленина в СССР. Книга, в свое время воспламенившая целое поколение, — ныне устаревший документ! Но составители тома догадались в приложении к ней, петитом, набрать отрывки из "Дневников" Герцля, в частности, о его путешествии в Россию и встречах там с Плеве и Витте. И перечитывая старинный дневник, евреи из Советской России могут, если захотят, узнать до ужаса знакомую картину, позволяющую им правильное ориентироваться в современности.

...Перед нами два типа: "друг евреев" и "враг евреев". "Друг евреев", министр финансов Витте, может позволить себе откровенность в беседе с Герцлем: *"Евреям свойственна характерная надменность. Большинство евреев — бедняки, и поскольку они бедные, они грязные и производят противное впечатление. Они занимаются также отвратительными делами, вроде сводничества и ростовщичества. Таким образом, друзьям евреев трудно их защищать. Я... друг евреев. Трудно заступаться за евреев, — продолжал он, — не рискуя быть заподозренным в подкупе. Но... у меня хватает мужества. Но нерешительные люди и карьеристы поддаются влиянию и ненавидят евреев. За последнее время прибавилось еще что-то важное: участие евреев в подрывных движениях... Из 136 млн. евреи составляют лишь 7 млн., а в подрывных партиях их 50 процентов.*

— Чем вы это объясняете?

— По-моему, виновато наше правительство. Евреев слишком притесняют. Я неодно-

кратно говорил покойному Александру III: "В. В., если можно утопить 6 или 7 млн. евреев в Черном море, то я с этим совершенно согласен, но если это невозможно, то надо дать им жить". Этого взгляда я придерживаюсь и поныне. Я против дальнейших притеснений.

— Но современное положение? Разве вы считаете его прочным?

— Россия обладает сопротивляемостью, которую за границей даже не могут себе представить. Мы можем очень долго противостоять самым тяжелым бедствиям.

— Я говорю не о России, а о евреях. Думаете ли вы, что они долго выдержат это отчаянное положение?

— А где выход?.."

Такая была беседа... Все в ней характерно и в высшей мере поучительно: не только условное согласие Витте на утопление евреев в Черном море, но и его незнание, сколько же их живет в России (Витте, финансист, любитель точных цифр, прибавил примерно два миллиона!); характерна и оценка ситуации, исходя лишь из интересов России, такая, что о самом "предмете" разговора министр просто забыл в разговоре с евреем. ...И — главное: друг евреев, в представлении Витте, — тот, кто против дальнейших притеснений...

А теперь послушаем рассуждения "врага евреев", министра внутренних дел Плеве, покровителя кишиневских погромщиков.

"Еврейский вопрос является для нас хотя и не жизненным, но довольно важным вопросом, и мы стараемся справиться с ним как можно лучше... Русское государство должно стремиться к тому, чтобы его население было однородным. Мы понимаем, что не можем требовать от всех народов нашей империи, следовательно, и от евреев, чтобы они относились к русскому государству с патриотическими чувствами. Мы хотим ассимилировать их и для этого идем двумя путями: по пути высшего образования и по пути экономического подъема... Эта ассимиляция, которой мы желаем, протекает, однако, весьма медленными темпами..."

Итак — ассимиляция с помощью высшего образования? Но — "благодетеля высшего образования мы можем предоставить лишь ограниченному количеству евреев, иначе не окажется работы для христиан. Я не скрываю, что экономическое положение евреев в черте оседлости плохое... Раньше, пока сионистское движение занималось эмиграцией, мы относились к нему с симпатией. Но теперь речь идет не столько о палестинском сионизме, сколько о культуре, организации и еврейской национальности. Это нам не нравится".

Как видите, не нравится им это не с 1917 года, а гораздо раньше!

Далее: "Я не отрицаю, что положение евреев в Российской империи далеко не счастливое. Будь я евреем, то и я, вероятно, был бы врагом правительства. Но мы не видим другого выхода, чем тот, к которому прибегали до сих пор, и поэтому приветствуем создание независимого еврейского государства, которое могло бы принять несколько миллионов евреев. Но мы отнюдь не хотим лишиться всех наших евреев. Сильные умы... мы хотели бы сохранить для себя. Когда речь идет о больших умах, не принимается во внимание национальность. Но от слабой интеллигенции и незначительных капиталов мы избавились бы охотно. Тот, кто может ассимилироваться, может остаться".

Беседу Герцля с царскими министрами я могу цитировать всю, от начала до конца,

ибо она необычайно злободневна, поучительна и современна. Она несет нам понимание тайной логики "коридоров власти" (хоть в Зимнем дворце, хоть в Кремле) и понимание того непреложного факта, что неизвестно, кто для нас хуже — "друзья" или "враги". Плюс, кстати, тонкое и тоже как бы сегодняшнее наблюдение Герцля, что "главу славянофилов, преемника Аксакова" можно "склонить на нашу сторону"...

Вообще, когда упоминаются книги первых выпусков "Библиотеки", для нас порой оказываются самыми значительными не те эпизоды и главы, которые заставили израильских составителей отобрать для нас именно эти, а не другие книги, но — нечто иное. Например, в книге Левы Элиава "Наперегонки со временем" всего интереснее не сюжет — история освоения района Лахиш, вариант израильской "целины", но развитие характера самого автора, Левы Элиава. Потому что вдруг становится понятным, почему четверть века спустя, на выборах в Кнесет 1984 года, давно ушедший из своей партии "одиноким волк" Лева Элиав набрал столько голосов, что едва не стал депутатом Кнесета, почему Шломо Лахат, политический противник "крайне левого" Левы Элиава, мэр Тель-Авива (представитель правого блока Ликуд) вдруг высказался о результатах выборов так: "Единственное, о чем я жалею, — что не прошел Лева Элиав. Это праведник нашего поколения".

Мы приезжаем и видим, как они, здешние, сцепились друг с другом, как обличают друг друга с "партийных позиций", слева направо и справа налево, и принимаем эту ярость и этот темперамент совсем всерьез... Приучены мы в Советском Союзе, что "отклонение от партийной линии" как бы исключает личные отношения, что "уклонист", а тем более человек из другой партии — враг; и нам сложно под фейерверком трескучих партийных проклятий в Израиле осознать, что политики тут гораздо более сплочены, чем это видится публике, что они — даже при серьезных разногласиях — сидят в одной лодке уже многие годы, и все то, что их связывает, куда крепче того, что разъединяет... Вот к каким странным идеям привела меня книжка, изданная много лет назад для русских *олим* (репатриантов)...

Дневник Ханы Сенеш, парашютистки, казненной салашистами в Венгрии, — хорошая книга, но, в общем, она немного мне добавила к традиционному облику героини второй мировой войны. Зато в этой же книге я почувствовал живой колорит довоенного венгерского общества с его особыми традициями, с его своеобразной еврейской общиной, почувствовал дух страны и понял, почему именно в Будапеште только и оказался возможным подвиг Рауля Валленберга.

Чтобы эта статья вдруг не вылилась в простой панегирик — а к нему, признаюсь, тянет, когда пишешь о десятилетнем труде, — скажу и о недостатках серии. Прежде всего, это недостаток справочного аппарата. Беру, к примеру, книгу "Еврейские мотивы в русской поэзии". Никаких биографических данных о поэтах в нем нет. Имена просто выстроили в алфавитном порядке и считают, что этого для читателя достаточно. Я литератор по специальности, но даже мне неизвестны были раньше фамилии, скажем, Семена Фруга или Довида Кнута. Или многие ли из читателей помнят, что Л. Мей — тот самый автор, что написал "Царскую невесту" или "Псковитянку"? И так далее...

Возьмите другую книгу, выпущенную в серии недавно, — "Секретную миссию" Муни Мардора. В тексте упоминаются "Бриха" и "Хаппала", например, — ну, вы, мои сегодняшние читатели, знаете, что это такое, какие исторические события закодированы

такими обозначениями? Не уверен, что даже коренные израильтяне способны обходиться без расшифровки — что уж говорить о тех, кто в Израиле недавно, а уж тем более о живущих в Союзе читателях. Примеров такого рода можно найти множество, — причем, в одних книгах серии (например, в двухтомнике мемуаров Вейцмана) справочный аппарат составлен квалифицированно, а в других те же самые термины оставлены нераскрытыми.

Или вот, например, берет "русский" книгу Макса Брода "Реувени, князь иудейский". В Союзе он не слышал ни имени автора, ни имени главного персонажа — ну станет ли он читать пухлый том? Достаточно ли для сегодняшнего читателя приложить к сему томику статью И. Нусинова 1927 года, который и тогда, и позже писал скверно и примитивно? Ведь читателю, взявшему в руки "Реувени", предстоит знакомство с одним из самых знаменитых, самых значительных в истории европейской литературы XX века автором, а его угощают... комментарием Нусинова, вульгарного советского марксиста!

"Библиотека-Алия" издает нужные и важные книги, но верный их отбор нужно сопровождать более квалифицированным и учитывающим специфику читателя комментарием.

Сказал и душу облегчил.

Не претендую на полный обзор, выбираю только то, что запомнилось из прочитанного.

Есть разделы и периоды, которым в серии просто "не повезло". Например, не повезло Шестидневной войне — то, что о ней напечатано в "Библиотеке-Алия", скучно и малоинтересно. Не повезло Войне Судного дня: почему-то превосходная и насыщенная важнейшими фактами книга Зеэва Шифа "Землетрясение в октябре" вышла не в этой серии.

Зато Войне за независимость посвящены лучшие исторические книги серии.

Здесь, наверно, место поделиться соображениями об эволюции издательского отбора в "Библиотеке-Алия", произошедшего за эти годы.

Начала серия, как упоминалось, с пропаганды. Но жизнь брала свое. Руководители издания вступали в контакт с читателями, более того, их прежние читатели со временем становились сотрудниками — новыми авторами, редакторами, переводчиками, комментаторами, и эта "обратная связь" с читателем обогатила серию. Если бы издатели не сумели измениться, серию ожидали бы скорый упадок и гибель — как погибло, увы, много, слишком много русскоязычных начинаний за эти годы. "Библиотека-Алия" выстояла и укрепилась — ибо она постепенно сумела найти новый стиль, новую издательскую политику: вместо сионистской пропаганды — подчеркнутую объективность, всесторонний разбор ситуации и фактов, традиционный еврейский критицизм не только по отношению к внешнему миру, но и к самим себе.

Эти новые черты редакционно-издательского стиля проявились именно в книгах, посвященных Войне за независимость.

Напомню две из них: "По обе стороны холма" братьев Кимхи и "О, Иерусалим" Лапьера и Коллинза.

Обе книги непривычны для читателя, воспитанного на советской пропагандистской литературе "социалистического реализма". Ближний Восток не поделен в них на "наших" и "ненаших", где "наши" — это идеальные герои, а "ихние" — злодеи, угнетатели и убийцы. Сколько читали мы проклятий во всяких пропагандистских книжках в адрес колонизаторов-англичан, антисемитов, угнетателей свободолюбивых евреев! И вдруг в книге

братьев Кимхи обнаруживаем других англичан: патронов, растерянных от неблагодарности патронируемых; недалеких политиков, непригодных к той исторической роли, на которую претендуют; растерянных, потому что миссия колонизаторов, в которую они всерьез верили, внезапно утратила смысл. И здешняя политика англичан, которая раньше казалась нам сугубо специфической, связанной исключительно с нами, вдруг вписалась в общую английскую "мюнхенскую" колею: так же, как уступали некогда Гитлеру в Европе, точно так же они уступали муфтию и его бандитам и получали себе же на шею восстания и войны. В книге "О, Иерусалим" есть эпизод: покидающий нашу столицу последний английский генерал вдруг с отчаянием думает: "Только мы уйдем, и они тут кинутся друг на друга, как звери. Господи, сколько сил, сколько денег истрачено, сколько людей потеряли тут — и все впустую". И понимаешь — они ведь на самом деле считали себя отцами в этом ближневосточном доме, где дети нуждались в их опеке, и негодовали, наверно, на нашу, да и арабскую неблагодарность тоже, и нас они, конечно, не любили еще сильнее, чем арабов, — ведь, по их мнению, мы им были всем обязаны, они нас сюда пустили, ввели в качестве официального языка иврит, они позволили действовать еврейским политическим учреждениям, а мы... Неблагодарные! Более того, эта же английская недалекость проявилась в том, что позже, после ухода, они никак не могли понять, что ставка на арабов уже проиграна ими, и если они хотят зацепиться в нашем регионе и сохранить тут влияние, надо поддерживать евреев.

Очень точно авторы обеих книг воссоздают психологический портрет арабских руководителей. Мы вдруг понимаем: ведь прав был Солженицын в письме к трем студентам, когда, объясняя, что такое совесть, привел пример: "Я думаю, что в душе каждый араб знает, что Израиль по справедливости имеет право жить и быть". Именно это тайное знание, оказывается, подтачивало силы арабов, потому что агрессия против нас диктовалась не внутренней волей их нации, но страхом политических лидеров перед темной, необузданной и глупой уличной чернью, требовавшей не столько войны, сколько грабежей и убийств.

Авторы обеих книг, и братья Кимхи, и англичане, дают честные портреты арабских лидеров, с их восточным рыцарством, как у короля Абдаллы или генерала Тая, с утонченной интеллигентностью у многих арабских беженцев из Иерусалима. Не скрывают они и ошибок еврейских лидеров — крупных ошибок (когда, например, Бен-Гурион и его окружающие почти до последнего момента не могли поверить в действительный уход англичан из Палестины и неправильно рассчитали первоначальный план борьбы) или мелких, вроде контактов Голды Меир с королем Абдаллой (оказывается, иорданский монарх счел оскорбительным, что к нему на переговоры послали женщину)... Авторы как бы дают право голоса "обеим сторонам холма", то есть свидетелям по обе стороны фронта, и именно эта их подчеркнутая объективность, подчеркнутое желание выявить историческую истину, какой бы неожиданной она ни была, сильнее и авторитетнее говорит в нашу пользу, чем любые пропагандистские ухищрения. Они могут себе позволить быть объективными ибо знают, что на нашей стороне правда истории и справедливость. Легко это делать — быть объективными, когда "партия правды" — на твоей стороне...

Книги такого направления, принадлежащие к "партии правды", постепенно стали господствовать в выпусках "Библиотеки-Алия".

Размеры статьи не позволяют остановить внимание на огромных разделах серии, насчитывающих иногда десятки книг. Что, например, можно бегло сказать о философском разделе серии, где напечатаны такие книги, как "Рим и Иерусалим" Гесса или сочинения Бубера? Как рассказать о религиозном разделе? Отношение "новоприбывших" к древней религии их предков колеблется в диапазоне от нигилистического отрицания того, чего они совсем не знают, до крайних степеней нераздумывающего религиозного мракобесия. "Библиотека-Алия" старается публиковать книги интеллигентные, в которых иудаизм предстает великим духовным достоянием нашего народа, фундаментом его морали, культуры и мысли.

Если бы в России попалась нам в руки "Агада" Бялика и Равницкого — наверно, мы не знали бы, в какой "красный угол" ее положить. Притчи из "Агады" для образованного израильтянина — все равно, что для русского народные песни, пословицы, сказки или, скажем, басни Крылова, — это тот запас души, без которого нет полноценного культурного человека в национальном общегитии. Но, кроме того, это и взгляд народа на себя со стороны, это самооценка и, следовательно, урок, — важный урок для каждого.

Перечитывание "Агады" помогает, например, примириться с некоторыми чертами национального характера, а такое примирение весьма облегчает жизнь в Израиле. Вот, к примеру, сказание "Жало злословия": *"Смотрели вслед Моисею люди, склонные к клеветничеству, и пальцем на него показывали: "Взгляни, — говорил один, — что за затылок, что за плечи откормил он себе на народном хлебе!" "Бездельник он! — поддерживал другой. — Человек, заведующий постройкой скинии... удивительно ли, что он скопил себе богатство?" "...Что делать, — подумал Моисей, — народу свойственна подозрительность". И Моисей отдал отчет во всем, что было употреблено для скинии... до последнего шекеля".* Когда в современной жизни читаешь и слышишь вокруг себя поток безответственных клевет в адрес уважаемых людей нации, вспоминаешь покорное терпение и отчет перед народом Моше-рабейну и понимаешь: это надо перетерпеть, видно, впрямь нашему народу "свойственна подозрительность".

* * *

Остановлюсь на книгах политического цикла, в котором самыми значительными представляются мне две книги: "Избранное" Вл. Жаботинского и "Основные направления в еврейской политической мысли" профессора Еврейского университета в Иерусалиме Шломо Авинери.

Я читал недавно письмо из Ленинграда, где автор, оценивая книги, дошедшие до него из Израиля, ставит возле сочинения Жаботинского три восклицательных знака. И я поставил бы столько же, оценивая ту роль, которую в свое время сыграла в моей внутренней биографии эта же книжка, прочитанная в виде фотокопированных отдельных листочков, среди которых многих, увы, не хватало. Надеюсь, когда другая книга, книга Шломо Авинери, дойдет *туда же*, она покажется людям, впервые приобщающимся к национальной идее, такой же важной, как "Избранное" Жаботинского.

В чем *сходство* двух книг, принадлежащих авторам разных политических направлений?

Как правило, произведения по теории национально-освободительного движения вообще и еврейского в частности посвящены изучению **специфики** вопроса. Например, подчеркивается **непохожесть**, уникальность еврейского опыта и еврейской истории среди всех народов мира (смотри, например, изданную в той же "Библиотеке-Алия" популярнейшую в США книгу М. Даймонта "'Евреи, Бог и история'"). Для нормального исследователя такой подход естественен: исследователь и обязан выделять в изучаемом явлении прежде всего **оригинальные** черты. Но когда такое обычное сочинение читает интеллигент из Союза, его новые знания по "еврейскому вопросу" не сцепляются со старыми истинами, усвоенными прежде, они повисают в подозрительном и потому истерическом провале предыдущего невежества. В лучшем случае "еврейская тема" таким читателем запоминается, но не усваивается, не укладывается в **систему** его мировоззрения.

Книги Жаботинского и Авинери рассматривают сионизм как течение политической мысли внутри единого потока духовного развития Европы XIX—XX веков, знакомого советскому читателю со школы. Когда Вл. Жаботинский доказывает необходимость "сионистского" решения еврейского вопроса, он спорит с концепциями Каутского и Изгоева, ассимиляторов и бундовцев — то есть с теми идеями, которые **уже** знакомы или могут быть знакомы российскому читателю. Более того, он фактически опровергает концепции национального (не только еврейского) развития, которые считаются официальными в советской научной литературе, и те лозунги "слияния наций", которые официально провозглашаются Брежневыми и Черненко. Понятно, почему статьи Жаботинского в России — живые, сегодняшние, почему они дают ответы, которые ищет современное сознание в СССР.

Вся аргументация советской печати против прав евреев на свое государство, все попытки связать наше существование с вечным галутом — все это уже содержалось в сочинениях оппонентов Жаботинского, написанных в начале века, и блестящий разгром, учиненный тогдашним "ассимилятором", воспринимается как ответ на сегодняшние многочисленные брошюры по национальному вопросу. Жаботинский не навязывает свою точку зрения сегодняшнему читателю, но раздвигает горизонты его знания, вскрывает противоречия, **уже** чувствуемые сегодняшним россиянином (не только, кстати, евреем) между официальными доктринами и живой действительностью. Великий публицист дает прямой выход из этих противоречий, выход в сионизм.

Шломо Авинери пошел тем же путем. Если Жаботинский сопоставлял проблемы еврейского национального движения с украинским, чешским, польским и снимал с сионизма флер мессианского движения, романтической мечты, делал сионизм исторически логичным и единственным прагматическим выходом из тупиковой ситуации, то Шломо Авинери вписал систему сионистских и вообще еврейских политических идей в общую схему развития идеологии не вообще в мире, но именно там, в России. Конечно, первоначальный толчок еврейскому национальному движению XIX века дала Италия Мадзини и Гарибальди: пути Рима и Иерусалима еще раз пересеклись в истории, и успех возрожденной Италии возродил первые надежды и на аналогичное воскресение Израиля. Но **массы** еврейства пробудились к политической жизни позже и более всего в русле развития политической и общественной жизни России XIX века. "Билуйское" и халуцианское движение в Палестину в 80—90 годах прошлого столетия имело

первоисточником "хождение в народ". Народниками были Элизер Бен-Йегуда, "возродитель" современного иврита, и Меир Дизенгоф, основоположник и первый мэр Тель-Авива, и Пинхас Рутенберг, основатель первых электростанций в тогдашней Палестине (о народнических истоках деятельности Бен-Йегуды у Авинери есть целая глава). Авинери продолжил анализ "российских" корней сионизма: он объяснил, что ближе к нашим дням дальнейшее развитие идей еврейской государственности естественно вытекало из социалистических идей, захлестнувших Россию в начале века. Сначала Нахман Сыркин уличил международное и, конечно, русское социалистическое движение в лицемерии, ибо кардинальный принцип этого движения во всем мире — вплоть до наших дней — есть защита интересов собственного угнетенного народа в первую очередь. Никто никогда не возражал против того, чтобы польская социалистическая партия, например, считалась партией национальной, как китайская компартия или кубинская... Только евреи-социалисты в силу их "особой извращенности", как заметил Сыркин, делали исключение из этого правила для своего народа — они строили светлое будущее для всего человечества, а не для еврейского народа — большевики, меньшевики, троцкисты и даже бундовцы. Но те евреи, которые оказались достаточно последовательными, чтобы остаться такими же социалистами, как все прочие, нормальные социалисты в мире, — они-то и стали сионистами. И вынесенный из России потенциал социалистической организованности, целеустремленности и идеализма удалось реализовать в Эрец-Исраэль.

Вообще пафос книги Авинери (для российского читателя, во всяком случае) в том, что в его изложении Израиль оказывается венцом торжества тех идей, которые потерпели поражение на их "исторической родине", в России. "Хождение в народ" рухнуло в селлах и деревнях Восточной Европы, но завершилось у нас созданием Ришон-ле-Циона, Нес-Ционы, Хадеры, Гедеры, Рош-Пины и Петах-Тиквы. Очень точно Авинери отмечает, что Бен-Гурион и его сподвижники проводили в жизнь вроде бы основные социалистические идеи: имущество и деньги богачей переходили в собственность масс, но этот переход, эта "экспроприация" совершились здесь добровольно! Ибо еврейские капиталисты во имя идеи национальной солидарности **жертвовали** свои деньги Израилю. С помощью частного капитала возникла в стране государственная собственность и социалистические киббуцы и кооперативы. Национальная солидарность у нас победила классовую рознь, а социалистические интересы общества оставались в полном смысле слова общенародными, пока наконец народ не почувствовал себя достаточно сильным и уверенным для того, чтобы испробовать новые, рискованные формы хозяйства и политики.

Итак, по концепции Шломо Авинери, и Бен-Йегуда, и Дизенгоф, и Рутенберг и, наверно, вообще все "билуцы" и "халуцим" XIX века могли бы истратить жизнь, гоняясь за жертвами террора, за царем или губернатором, но вместо этого они стали **строителями** новой страны и новой жизни для себя и своих потомков. Бен-Гурион и его соратники могли бы стать большевистскими комиссарами, погибнуть в ГУЛАГе, но они создали еврейское демократическое государство с очагами подлинного социализма — киббуцными коммунами. (В этом месте не могу удержаться от доказательства, почерпнутого еще в одной книге серии — "В поисках пути" Хаима Вейцмана. Мать первого президента Израиля шутила в начале века: "Как ни повернется, мне всегда будет хорошо. Если прав Шмуэль (сын-революционер), нам будет хорошо в России, а если

прав окажется Хаим, мы уедем в Палестину". Выдающийся химик, профессор Манчестерского университета, Хаим, как упоминалось, стал первым президентом Израиля, легендарной личностью в истории еврейского народа; его брат Шмуэль, видный большевик, одно время возглавлявший всю черную металлургию СССР, сел вместе со своими спецами-*"вредителями"* и после многолетнего заключения не то скончался в зоне, не то был казнен. Это — пути двух братьев, начинавших в одно время в одной стране.)

В концепции Авинери Израиль предстает воплощением мечтаний двух поколений российской интеллигенции, зримым доказательством, что путь, планируемый ею в полувековом подполье, не был чистой утопией, но был осуществим и был осуществлен, — однако, не в России.

Может быть, здесь таится причина иррациональной, ни с чем не соразмерной ненависти советских наследников Ленина к маленькому и вроде бы вовсе неопасному для них государству на Ближнем Востоке?

В заключение замечу: задуманная как мост для успешного перехода из эмигрантов в граждане, серия стала вдобавок и той площадкой, где многие из нас смогли выразить свои чувства, мысли, надежды, — она стала в какой-то мере и нашим изданием. Напомню прекрасную книгу рассказов Юлии Шмуклер *"Уходим из России"* и *"Врата исхода нашего"* Феликса Канделя, *"Виденное и пережитое"* Н. Полетики и *"Серебряную цепочку"* Феликса Розинера, две книги Владимира Лазариса, две книги Гилеля Бутмана, вышедшие в серии. Это то, что первым пришло на память. Если что упустил — не по умыслу, не по желанию кого-то *"унизить"*. Просто забыл. Постоянно возникают в серии новые имена, новые книги *"русских"* и — про Россию.

Выделить же я хочу только одного — покойного И. Домальского (П. Байтальского), автора монографии *"Русские евреи вчера и сегодня"* (выпуск 20-й *"Библиотеки-Алия"*).

Прошло десять лет со дня ее выхода в свет в *"Библиотеке"* — для публицистического сочинения это срок громадный. Готовя эту статью, я перечитал книгу Домальского, и мне показалось, что в ней нет ни одного устаревшего слова. Это научный, объективный и в то же время страстный разбор антисемитской литературы, которая появлялась в СССР в конце 60-х—начале 70-х годов. Поражает необыкновенная эрудиция московского самиздатского автора: мы-то с вами знаем, что для изучения еврейской истории в России нет под руками почти ничего, а тогда, десять лет назад было, кажется, меньше чем ничего. И на меня особое впечатление произвели поправки, сделанные в Иерусалиме проф. Шмуэлем Этингером к рукописи неизвестного москвича: Этингер нашел буквально мелочи, *"блохи"*, неизбежные в большом исследовании, а в целом — полностью подтвердил фактологию и аргументацию, содержащуюся в московской рукописи. На симпозиуме, состоявшемся в Иерусалиме, г-жа Лурье высказала логическое предположение, что никакого Домальского на самом деле не существует, а под этим псевдонимом работает в Союзе целый коллектив ученых, этаким самиздатский НИИ по еврейским делам. Она была не права — под именем Домальского скрывался П. Байтальский, старый

политзэк и революционер; но самая ее ошибка показывает, **какое** впечатление произвел труд московского автора на здешних, израильских читателей.

Для меня "урок Байтальского" заключался в следующем: как все-таки мало мы думаем и делаем для них, для тех, кто там. Ведь подобную книгу намного легче было сочинить во всеоружии наших здешних, почти неограниченных возможностей. Но ее сочинили там, а здесь — только издали (и за то, конечно, спасибо). Я думал снова об этом, когда недавно прочитал самиздатскую рукопись ленинградца Ивана Мартынова, посвященную новому этапу антисемитизма в СССР — уже в наши дни. Снова, значит, такую рукопись написали там — потому что там она жизненно необходима, потому что там не могут молчать... Помогать тем, кто там, кто не может выехать или еще не понял, что выезд — неизбежная веха если не в его жизни, то в жизни его детей или внуков, — помогать им — наш долг в прямом смысле этого слова. По мере возможности, мы выплачиваем этот долг нашим словом, нашей мыслью, нашей страстью. И для этого в руках у нас прекрасный рабочий инструмент — 120 книг "Библиотека-Алия".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

"ДВАДЦАТЬ ДВА"

В каждом номере (224 стр.) — оригинальная и переводная проза и поэзия; статьи, посвященные актуальным проблемам Израиля и Ближнего Востока; анализ политической ситуации в России и на Западе; разговор о важнейших явлениях современной культуры и направлениях современной мысли; очерки и воспоминания. В ближайших номерах:

ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ "МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА" (история операции израильской разведки против группы палестинских террористов)

ЛЕОНИД ЦЫПКИН "МОСТ ЧЕРЕЗ НЕРОЧЬ" (повесть безвременно скончавшегося крупного русского писателя)

АЛЕКСАНДР ДОНДЕ "ПРОТИВОРЕЧИЯ И РАЗНОГЛАСИЯ" (пародийная повесть о "литературном диссидентстве")

ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ "ПРАЙС" (главы из романа о выселении евреев в Сибирь при Покребышеве)

СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН "ИНФАНТИЛЬНЫЙ РОМАН" (мир взрослых глазами ребенка)

ФЕЛИКС РОЗИНЕР "ЛИЛОВЫЙ ДЫМ" (история еврея, оказавшегося зажатым между советскими властями и литовскими партизанами)

Дискуссии о "еврейском терроризме", о еврейской религии и ее отношении к демократии, о "квасном патриотизме" некоторых репатриантов; разговор о положении евреев в СССР; серия статей о последних книгах А. СОЛЖЕНИЦЫНА; анализ загадочной повести СТРУГАЦКИХ "ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ"; рассказ о философии С. ВАЙЛЬ И М. ВЕБЕРА, перевод новой работы СТАНИСЛАВА ЛЕМА "ПРОВОКАЦИЯ" и многое другое.

Подписная цена на год (6 номеров) — в Израиле 13175 шекелей (до 1 февраля), за рубежом — 40 долларов. Заказы и чеки присылать по адресу "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Борис МОЙШЕЗОН

Загадки древних цивилизаций

Часть II. ДАЛЬНИЕ СВЯЗИ

Эйнштейн однажды сказал, что ученого и ребенка объединяет способность удивляться. Надо сказать, что, как правило, удивляют неожиданные совпадения, сходство, а не различие удаленных друг от друга явлений. И когда два явления вдруг обнаруживают перед нами совпадение нескольких свойств, то трудно отделаться от мысли, что такие совпадения имеют общую причину, что за ними кроется нечто таинственное и важное, не лежащее на поверхности.

При анализе событий прошлого историк лишен возможности подтвердить правоту своих концепций экспериментом. Почти единственное средство проверки в этом случае — это указание и перечисление разного рода совпадений, особенно многократных. Таким способом доказывают правильность расшифровки древних письменных документов, генетическое родство языков и археологических культур.

Быть может, самое парадоксальное явление в предистории — наличие глубоких связей между удаленными друг от друга культурными очагами и этническими группами. Эти связи удается обнаружить, анализируя многочисленные совпадения в эпосе, археологических находках и письменных источниках древности, относящихся к "предисторическим арменоидам".

1. Об арменоидном эпосе

В части I мы привели доказательства того, что древние евреи были арменоидной этнической группой. Но если это так, то в их эпосе может содержаться память о прошлом арменоидов вообще или хотя бы о той их ветви, из которой вышли древние евреи.

Есть основания предполагать, что первые главы Библии в той или иной мере отражают устные предания определенной арменоидной группы, передававшиеся из поколения в поколение. Таким образом, начальную часть Ветхого завета можно рассматривать как "арменоидный" эпос, который сохранился в памяти древних евреев. Да и остальные части Танаха (Библии) должны содержать какие-то элементы этого эпоса.

Одна из основных тем Ветхого завета — тема изгнания. Адам изгнан из рая. Каину сказано, что он будет "изгнанником и скитальцем на земле". Ной после потопа останавливается в "горах Араратских", по всей видимости, далеко от своей прежней родины. Отец Авраама Терах покидает шумерский город "Ур халдейский" и переселяется в северомесопотамский Харран. Сам Авраам уходит из "земли рождения своего" и поселяется в Ханаане. Внук его Яков бежит из Ханаана на север Месопотамии и именно там, по преданию, родились

почти все его сыновья — библейские предки колен Израилевых.

В главе о Вавилонской башне находим стих: "И они (то есть люди, пришедшие в Шумер после потопа) сказали: давайте построим город и башню высотой до неба и сделаем себе имя, чтобы не рассеяться по всей земле"* (Бытие, 11:4). И далее: "И рассеял их Господь оттуда по всей земле" (Бытие, 11:8).

Итак, строительство Вавилонской башни было предпринято, "чтобы не рассеяться". Разве это не напоминает сооружение первого и второго храмов, тоже призванных сыграть в жизни Израиля роль притягательных центров, сдерживающих рассеяние?

В Библии не раз предсказывалось, что колена Израилевы будут рассеяны по всему миру. Часть таких предсказаний, к несчастью, сбывшихся, относится к периоду до увода десяти колен в Ассирийский плен (например, Амос, 9:9). В книге Паралипоменон I (16:20) приводится песнь царя Давида, в которой о предках израильтян говорится: "И переходили от народа к народу, от одного царства к другому".

Невольно напрашивается мысль, что предсказания о будущей потере родины и долгой жизни в рассеянии могли возникнуть только у народа с огромным опытом изгнания и рассеяния.

Согласно Библии, главная награда Израилю за союз с Богом — это возможность постоянно жить в земле Ханаанской, а главное наказание за отказ от союза — угроза лишиться этой земли. Однако цена такой награды и сила такого наказания могли быть понятны лишь народу, уже испытавшему в прошлом долгое рассеяние. И это может означать, что предсказанное Библией рассеяние евреев в послепоблибийский период было повторением эпизода добиблейской истории арменоидной ветви, давшей начало древнему Израилю.

Другая постоянная тема Библии — страх перед физическим искоренением, тема постоянной угрозы самому существованию или продолжению рода библейских героев.

Самый первый пример несчастного изгнанника, живущего в страхе перед угрозой

уничтожения, — Каин, который говорит о себе: "Я буду изгнанником и скитальцем на всей земле, и всякий встречный убьет меня" (Бытие, 4:14). Яков при встрече с Эсавом разделяет свой лагерь на две части, чтобы хотя бы часть его семьи имела шанс уцелеть (Бытие, 32:7,8). Иосиф объясняет братьям, что все, что произошло с ним самим, было необходимо для спасения еврейского народа от голодной смерти (Бытие, 50:20).

В книге Исход мы находим первый пример народоистребления: фараон приказывает убивать новорожденных мальчиков евреев. Геноцид, начатый фараоном против евреев, Библия объясняет страхом египтян перед их силой (Исход, 1:7–22). Эта тема потом повторяется в пасхальной Агаде, где говорится, что "в каждом поколении они встают на нас, чтобы покончить с нами".

Фактически тема грозящего уничтожения является оборотной стороной убежденности в необычайной судьбе и необычайном величии. Уже Аврааму предсказано, что от него произойдет великий народ (Бытие, 12:2,3). Поскольку эти предсказания в значительной мере сбылись, то логично допустить, что в их основе лежал определенный опыт прошлого, что великий народ уже существовал прежде, древний Израиль был с ним генетически связан, но, согласно эпической традиции, народ как бы родился заново вместе с Авраамом, заключившим завет с Богом.

Исаак, занявшись земледелием, быстро добивается больших успехов. "У него были стада мелкого и крупного рогатого скота и множество пахотных земель, и филистимляне (т.е. местные жители) стали завидовать ему" (Бытие, 26:14). Местный царь говорит Исааку: "Уходи от нас, потому что ты стал намного сильнее нас" (Бытие, 26:16).

Рассказ об Иосифе, превратившемся из пастуха во всесильного министра чужой страны, обогатившего египетскую казну, показался бы беспочвенной фантазией, если бы история евреев, как в средние века, так и в новое время, не предоставила бы нам множество примеров аналогичных карьер. Народ, давший так много людей этого типа тысячелетия спустя после времени

*Здесь и далее цитаты из Библии даются в переводе с иврита. (Прим. автора.)

Иосифа, должен же быть в чем-то существенном похож на загадочное племя странствующих пастухов, из которого вышел Иосиф.

Одно из самых удивительных мест в Библии, которое как бы протягивает нить, ведущую от древних времен к новым, — это стих из песни Валаама об Израиле (Числа, 23:9): "Вот народ отдельно живет и между народами не числится". Ведь и по сей день не умолкли споры о том, являются ли евреи нацией.

Кроме тем изгнания, страха перед уничтожением, величия и необычности, есть еще в библейском эпосе тема Божьей защиты. Бог говорит о Каине: "Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро" (Бытие, 4:15). И далее: "Сделал Господь Каину знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его".

В уже цитированной выше песне царя Давида говорится, что Бог "никому не позволял обижать их (предков израильтян), и защищал их перед царями (говоря): "Не прикасайтесь к помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла" (Псалтирь, 135:21, 22).

Таким образом, анализ библейского текста показывает, что ветвь арменоидов, от которой произошли евреи, состояла из людей, испытывавших горечь изгнания и страх геноцида и вместе с тем сохранявших в себе ощущение величия и своей особой связи с Богом.

Есть еще одна религиозно-этническая группа с преобладающим арменоидным типом, сохранившая древний эпос. Это парсы Индии. Парсов около ста тысяч. Живут они главным образом в Бомбее. Религия парсов — зороастризм, т. е. религия древнего Ирана (примерно от начала I тыс. до н. э. до VII в. н. э.), связываемая с ирано-арийским этносом. Считается, что парсы — потомки зороастрийской аристократии, бежавшей из Ирана в Индию в VII–VIII вв. н. э. Парсы представляют собой некую параллель к евреям. Они выделяются своими способностями [1], [2], успешны в бизнесе и науках, не смешиваются с инверцами и хранят верность своей древней религии, пронеся ее через тысячелетнее изгнание. Одно из главных положений их религии — вера в

приход спасителя и конечное торжество добра. Антропологически парсы относятся к арменоидному типу и довольно резко отличаются от окружающего населения [1], [2].

Арменоидность парсов согласуется с данными антропологии захоронений первой половины I тыс. до н. э. в Иране, обнаруживающими корреляцию между появлением арменоидов на Иранском плато (Сиалк VI, см. часть I, гл. 4) и в ряде других мест [3] и экспансией носителей ирано-арийских языков в этих же районах. К первой половине I тыс. до н. э. археологи относят и продвижение скифов в степи Евразии (от Дуная до Монголии). Скифов тоже считают ирано-арийцами по языку. Экспансия скифов коррелирует с резким увеличением брахицефалии и арменоидности в степных захоронениях соответствующей эпохи, особенно к северу от Кавказа. Предыдущий брахицефально-арменоидный период в этих местах связан с Катакомбной культурой и отделен от времени скифских могил почти двумя тысячелетиями.

Арменоидность последних зороастрийцев-парсов и данные по антропологии скифов и иранских завоевателей I тыс. до н. э. заставляют думать, что в ирано-арийском этносе было активное арменоидное ядро, тесно связанное с зороастрийской религией.

Зороастрийский эпос запечатлен в их главной священной книге "Авеста" (см. [5]), а также в знаменитой поэме Фирдоуси "Шахнаме" [4]. Мнения о характере зороастрийской религии расходятся. По нашему мнению, — это монотеизм того же типа, что и иудаизм. Но и противники этой точки зрения соглашались, что из всех древних религий зороастризм стоит ближе всего к еврейскому монотеизму. Заметим, что наличие злых и добрых духов в зороастризме, особенно Ангрю-Маньо ("Ахриман"), противостоящего верховному богу Ахура-Мазда, имеет параллели в Библии, где упоминаются ангелы и даже сатана (см., например, книгу Иова). Существует структурное сходство между зороастрийским и библейским эпосами. В отличие от многих других эпических традиций, зороастрийская и библейская традиции представляют древнейшую историю не как фантастическое переплетение судеб богов и людей,

не как нагромождение чудес, а как короткую цепь жизнеописаний героев или царей с очень длинными сроками жизни или правления. У зороастрийцев в "предыстории" есть стихийное бедствие — аналогичное всемирному потопу, когда древний царь Йима (Йима—Кшаэта, Джемшид у Фирдоуси) построил убежище, похожее на Ноев ковчег, и укрыл там от гибели людей и разных животных. Рассказ Авесты "Ковчег Йимы" так похож на библейское сказание о Ное, причем похож вплоть до ряда второстепенных деталей, что наличие общей традиции здесь представляется несомненным (ср. [5], Vendidad, Fargard II, II, с гл. 6, 7, 8 книги Бытия).

После Йимы владыкой мира становится Аж-Даххака (Царь-змея), символизирующий победу сил зла. Царь Аж-Даххака имеет ряд общих черт с библейским царем Нимродом. По Библии Нимрод — сын Куша, с которым ассоциируются племена Южной Аравии (см. Бытие, 10:7,8). Царь Аж-Даххака тоже происходит из Аравии ([4], стр. 40—43, 46). Центр царства Нимрода находится в Южной Месопотамии, и центр царства Аж-Даххака — там же ([4], стр. 611). Хотя в Библии Нимрод упомянут до рассказа о Вавилонской башне, но из общего контекста видно, что в более подробном эпическом цикле "эпоха Нимрода" скорее всего следовала за "эпохой строительства башни", т. е. за эпохой разделения.

В иранском эпосе Аж-Даххака сменяет Йиму в то время, когда тот построил престол "до самого неба" ([4], стр. 38—39). Наконец, кажется, что смысл имени "Нимрод" легче всего объяснить его происхождением из ирано-арийских языков. "Нимруз" по-персидски значит "полдень" ("ним" + "руз" = "половина" + "день", но также и "юг" и "южные страны" (см., например, [4], стр. 624). "Царь Нимрод" — "царь Нимруз", т. е. "царь юга", что соотносится с "сын Куша" и указывает на связь Нимрода, как и Аж-Даххака, с Аравией.

В иранском эпосе царь Аж-Даххака поедает детей. Так символически закреплено за ним беспределность злодейства. Истребление детей — первый признак геноцида (кстати говоря, хорошо известного не только евреям и, видимо, зороастрийцам,

но и еще одной ветви арменоидов — армянам). Согласно иранской эпической традиции, части детей удалось спастись и от них произошли курды, или, попросту говоря, кочевники ([4], стр. 51).

Чуть ли не главный пафос иранского эпоса состоит в борьбе истинных царей с узурпаторами вроде Аж-Даххака. Законным царским родам нередко приходится укрываться в дальних горах, где вырос, в частности, победитель Аж-Даххака Траэаона (Феридун). Интересно, что древнейшие истинные цари являются, согласно иранскому эпосу, царями всего мира. Легенды о них, изгоняемых и преследуемых, напоминают библейские рассказы о древних героях, где темы изгнания и страха переплетаются с идеей избранничества.

Тема изгнания, угрозы народоистребления, особой связи с добрым началом в мире оказывается наиболее важной для самой древней части иранского эпоса. Аналогии с Библией заставляют думать об общем источнике обеих эпических традиций — источнике, который, как можно предположить, должен быть связан с некоей праисторической группой, прошедшей через одну или несколько катастроф. В дальнейшем мы сделаем попытку конкретизировать эту мысль.

2. Легендарная хронология и научные факты

Библия содержит множество хронологических сведений, которые, на первый взгляд, кажутся бесполезными для реконструкции предыстории. На самом деле при определенном методе обращения с этими данными получаются поразительные совпадения между Ветхим заветом и другими источниками. Можно предположить с достаточной степенью вероятности, что арменоидный эпос, отразившийся в Библии, имеет очень солидную хронологическую базу, дошедшую до нас в деформированном виде.

В Библии приведены две генеалогические линии сынов Адама: потомки Каина и потомки Шета. Совпадений в этих двух линиях так много, что, скорее всего, они представляют собой разные устные варианты одной и той же эпической традиции (которая, следовательно, должна быть очень

древней). Сын Шета именуется Энош, что и на арамейском и на иврите означает "человек" и совпадает со значением имени Адам. Поэтому можно сравнить линию "Каина", начинающуюся с Адама, и линию "Шета", начинающуюся с Эноша. Эти линии таковы:

Адам — Энош; Каин — Кейнан; Ханох — Маалальэль; Ирад — Йеред; Мехияэль — Ханох; Метушаэль — Метушелах; Лемех — Лемех.

Учитывая смысловое совпадение имен "Адам" и "Энош", мы видим, что обе линии отличаются лишь незначительными вариациями в именах, а также порядком их расположения. Такого рода деформации неизбежны при устной передаче.

От позднешумерского времени (конец III тыс. до н.э.) сохранились таблички, содержащие, так называемый Шумерский царский список [6]. Исследователи давно заметили целый ряд совпадений между этим списком и библейской генеалогией. Прежде всего, оба источника указывают на всемирный потоп как главное событие, разделившее "предысторию" надвое. В шумерских и последующих (т.е. вавилонских) описаниях потопы есть немало деталей, присутствующих и в библейском рассказе об этом событии. Из времени, предшествующего потопу, библейская память сохранила имена десяти патриархов от Адама до Ноя, а также сведения о продолжительности их жизни. Шумерский царский список указывает, что до потопы было восемь царей, дает их имена и продолжительность их царствования. Протяженность жизни или царствования в обоих источниках фантастически велика, причем у тех, кто жил до потопы, она намного больше, чем у тех, кто жил после него, и становится все короче и короче по мере приближения ко времени записи. В целом, однако, числа Шумерского списка намного превосходят соответствующие числа из Библии. Например, продолжительность царствований восьми допотопных шумерских царей определяется следующей последовательностью: 28800, 36000, 43200, 28800, 36000, 28800, 21000 и 18600.

В 1981 году в журнале "Biblical Archeologist" появилась очень любопытная статья молодого американского востоковеда

Дж. Уолтона [7], в которой автор высказал предположение, что длиннейшие сроки правления допотопных шумерских царей возникли в результате того, что более ранние записи, сделанные в десятичной системе счисления, позже были прочтены и переписаны уже в шестидесятиричной системе, которой, как известно, пользовались поздние шумеры. А это значит, что "10" ранних записей позже превратилось в "60", а "100" — в "3600" ($= 60 \times 60$). И соответственно, число "28800" ($= 3600 \times 8$) из дошедшего до нас шумерского списка было в более ранних записях "800" ($= 100 \times 8$) и т.д. (см. подробности в [7]). Легко проверить, что в приведенной выше последовательности восьми чисел первые шесть делятся на 3600, как и сумма двух последних чисел этой последовательности. Превратив 3600 в 100, мы получаем последовательность, которая, согласно предположению Дж. Уолтона, соответствует данным более ранних записей: 800, 1000, 1200, 800, 1000, 800 и сумма двух последних 1100. Эти числа уже не так разительно отличаются от библейских данных о жизни допотопных патриархов: Адам — 930 лет, Шет — 912, Энош — 905, Кейнан — 910, Маалальэль — 895, Йеред — 962, Ханох — 365, Метушелах — 969, Лемех — 777 (Бытие, 5).

Хотя в библейском списке герои следуют один за другим, годы их жизни в значительной мере перекрываются (например, Шет родился, когда Адаму было 130 лет). Такого нет в Шумерском царском списке, где годы жизни отдельных царей складывают, чтобы получить продолжительность периодов или династий. Так, суммарно весь период допотопного царствования составляет по Шумерскому списку 241200 лет (надо просто сложить восемь чисел, приведенных выше, 28800 и т.д.). А так как $241200 = 3600 \times 67$, то это число, согласно предположению Дж. Уолтона, соответствует промежутку в 67 сотен лет из более ранних записей (что, разумеется, совпадает с суммой чисел преобразованных, как было указано ранее: $800 + 1000 + 1200 + 800 + 1000 + 800 + 1100 = 6700$).

Дж. Уолтон предложил рассматривать библейские данные о продолжительности жизни допотопных патриархов как последо-

вательные временные отрезки, соответствующие эпохам или династиям, предположив, что все указания о возрасте патриарха при рождении сына и о том, сколько он жил после этого, являются более поздними деформациями эпоса. Дж. Уолтон обратил внимание также на то, что в Шумерском царском списке нет ни "первого человека", ни "героя потопа". Но тогда для сравнения с Шумерским списком надо брать цепь от Шета до Лемеха. Сложив соответствующие числа, получаем промежуток в 6695 лет ($912 + 905 + 910 + 895 + 962 + 365 + 969 + 777 = 6695$). Число 6695 отличается от 6700 (числа, полученного по Уолтону для Шумерского списка) меньше чем на 0,1 процента. Получилось совершенно поразительное совпадение, которое подтверждает правильность исходных предположений Дж. Уолтона. Но в таком случае естественно предположить, что данные Библии о продолжительности жизни героев после потопа (Бытие, 11:10—32) также соответствовали последовательным временным промежуткам в более ранних версиях эпоса. Сложив эти промежутки, скажем, от Арпахшада (внука Ноя, родившегося по Библии через два года после потопа) до Тераха (отца Авраама), получаем число 2396, то есть примерно 2400 лет (Арпахшад жил 438 лет, Шелах — 433 года, Эвер — 464, Пелег — 239 лет, Рэу — 239, Сруг — 230, Нахор — 148, Терах — 205; $438 + 433 + 464 + 239 + 239 + 230 + 148 + 205 = 2396$).

Эпос об Аврааме, по мнению ученых, охватывает отрезок времени в пределах от 2200-го до 1700 г. до н. э. Добавив сюда время от потопа до рождения Авраама (см. данные, полученные выше), а именно 2400 лет, получаем отрезок времени от 4600-го до 4100 г. до н. э. Таким образом, библейский эпос (при определенной интерпретации) указывает на V тыс. до н. э. как возможное время потопа.

Приплюсовав к этим пяти тысячелетиям еще 6700 лет допотопной истории, мы приходим к XI тыс. до н. э. как к времени начала "культурного человечества". Это подтверждается археологией и данными, полученными при помощи радиоуглеродного метода, согласно которым Натуйфская культура, обозначившая неолитическую революцию на территории древнего Израи-

ля, делала первые шаги где-то около 11000 года до н. э. (см. [8]). И конечно, группа, которая сохранила в своем эпосе память о времени начала "культурного человечества", должна была считать землю, где началась ее история, Святой землей.

Вернемся, однако, ко времени потопа. Дает ли археология основания предполагать, что в V тыс. до н. э. происходили какие-нибудь катастрофические события? Смены археологических культур происходят в каждую эпоху. Если же имела место всемирная катастрофа, то археология должна указать нам на одновременную смену культур в удаленных друг от друга районах. Такую тотальную смену культур мы находим около 4000 г. до н. э. Данные радиоуглеродного анализа указывают на эту дату как на некий рубеж, разделяющий два больших "предысторических" периода, один из которых называют халколит, или медно-каменный век, а второй — бронзовый век. Поясним эту мысль.

Рубежом V — IV тыс. до н. э. датируется конец Балканской халколитической цивилизации, замечательного комплекса культур, развивавшегося на Балканах и в Греции в эпоху между VII и IV тыс. до н. э. Одновременно с Балканским развивался Месопотамский культурный комплекс (расписной керамики), последняя фаза которого Аль-Убайд исчезает почти без следов к концу V тыс. до н. э., то есть опять-таки примерно к 4000 г. до н. э. Заметим, что оба комплекса тесно связаны с долинами больших рек: Дуная на Балканах и Тигра — Евфрата в Месопотамии.

К Месопотамскому комплексу географически примыкали Гассул-Беэршевская культура в Израиле, исчезнувшая примерно к 4000 г. до н. э., и культуры расписной керамики Ирана и южной Туркмении, где резкие смены (например, конец культуры "Сузы А") также датируются временем около 4000 г. до н. э. (см. [9]).

Кроме Балканского и Ближневосточного культурных очагов в V тыс. до н. э. развивался еще один очаг, весьма удаленный от них географически, но схожий по материальной культуре, — это так называемая культура расписной керамики Янг-Шао в долине реки Хуанхэ в Китае. Данные радиоуглеродного метода (см. [35], стр.

300) показывают, что и эта культура расцветала в V тыс. до н. э. и исчезла примерно к 4000 г. до н. э.

Знаменитый английский археолог Л. Вулли обнаружил в 1929 г. следы великого наводнения в Шумере, относящегося к концу эпохи Аль-Убайд. Вулли считал, что нашел следы потопа, отразившегося в библейском и шумерском эпосах [10]. Но позже археологи нашли в Шумере следы аналогичных наводнений более поздних эпох, и мнение Вулли было оставлено. Однако сейчас, когда радиоуглеродный метод позволяет установить одновременность гибели удаленных друг от друга синхронных культур, открытие Вулли воспринимается как дополнительный аргумент в пользу утверждения, что около 4000 г. до н. э. произошла некая всемирная катастрофа, уничтожившая по меньшей мере три великих цивилизации в долинах больших рек, стекающих со снежных гор: Дуная, Тигра — Евфрата и Хуанхэ*.

Это уничтожение не было абсолютным. Археология показывает, что определенные элементы предшествующих культур перешли в культуры бронзового века, а в некоторых периферийных районах развились культуры, явившиеся прямым продолжением Балканского и Месопотамского халколитических комплексов. Таковы Трипольская культура в Молдавии и юго-западной Украине, культура Тепе-Гавра (слои XII—VIII вв. до н. э.) на севере Ирака, ряд культур Венгрии, Австрии и Западной Анатолии IV тыс. до н. э.

Предки создателей Библии (как об этом повествует Книга Книг) поселились после потопа в "горах Араратских" (Бытие, 8:4), а не на горе Арарат, как считают некоторые. В Библии Арарат означает страну, которую мы называем Урарту, мощную державу на севере Месопотамии, игравшую важную роль в политической истории первой половины I тыс. до н. э.

*Много лет назад Л. Вулли писал о потопе в южной Месопотамии ([10], (2), стр. 32): "Так мы можем объяснить то, что до сих пор было одной из великих загадок южно-месопотамской археологии: внезапное и полное исчезновение расписной керамики... Люди, ее производившие, были смыты потоком".

Библейские "горы Араратские" означают, стало быть, горные районы, окаймляющие с севера Месопотамию и Левант.

3. Древние кузнецы

Каин

В начале главы 2 было показано, что обе допотопные генеалогии, приведенные в Библии, фактически совпадают. "Каин" одной из них соответствует "Кейнану" другой. Отсюда следует, что создатели эпоса, относя себя самих к потомкам Шета, тем не менее включали Каина в список своих наиболее важных предков. В греческом переводе Библии (Септуагинта) в перечне потомков Ноя, заканчивающемся Авраамом, также поименован "Кейнан". Более того, это единственное имя, которое фигурирует как в списке допотопных патриархов, так и в списке патриархов, живших после потопа.

Отметим, что в допотопном списке Каин — единственный патриарх, кроме Адама и Ноя, с жизнью которого связана некая легенда. Наконец, как отмечалось выше в главе 1, главные черты Каина — "изгнанник и скиталец", находящийся под особой защитой Бога, как бы отчетливо предвосхищают черты еврейства послепотопного периода. Эпос о Каине органически связан с протоеврейским этносом. Имя "Каин" — это одно из немногих эпических имен в Библии, которые отразились в этнических наименованиях исторического периода: в Библии несколько раз упоминаются роды или этнические группы, которые называются "Каин" или "Каиниты" и тесно связаны с древним Израилем. Каинитом был тесть Моисея, род которого поселяется среди колена Иуды (Судьи, 1:16). Язль из книги Судей, убившая ханаанского полководца Сисру, была женой каинита с характерным именем "Хевеер", которое, возможно, происходит от того же корня, что "иври", то есть "еврей", см. ниже, стр. 243, 244 (Судьи, 4:11, 17). В генеалогии колена Иуды несколько родов поименованы "каиниты, пришедшие из Хамат", одного из главных городов древней Сирии — ныне Хама (Паралипоменон I, 2:55).

Кроме таких каинитов-израильтян или

каинитов, ставших израильянами, упоминаются также каиниты — соседи израильян (см. Самуил I, 15:6). Один раз каиниты встречаются и в списке народов Ханаана, землю которых должен был унаследовать Авраам (см. Бытие, 15:19). В том же списке рядом с этносом "Каин" стоит этнос с очень близким названием "Кназ" (на иврите оба имени пишутся через "коф"). "Кназ" — одно из главных имен, встречающихся в генеалогиях Эдома, народа, происходившего, по преданию, от Эсава, брата Якова, и потому считавшегося наиболее близким народу Израиля. "Кназ" встречается и в израильских генеалогиях (см. Паралипоменон I, 4:13, 15), где он очень близок важному роду "Халев", о котором подробнее ниже (стр. 235).

Смысл связи древнего Израиля с эпическим и этноисторическим "Каином" станет понятнее, если заметить, что "Каин" — одно из редких имен древности, имеющих совершенно ясную этимологию: "Каин" означает "кузнец" ([30], стр. 8). В таком значении это слово сохранилось в арамейском и арабском языках ([11], стр. 883). Человеку, знакомому со славянскими языками, это не покажется странным, так как славянские слова "коваль", "ковать", "кую", "куй" относятся к тому же корню, что и "Каин". Более того, славянские языки — единственные, где этот корень имеет большое гнездо родственных слов: "ковать", "кую", "коваль", "кувалда", "наковальня", "оковы", видимо, также и "коварный".

Эпос о Каине — это эпос о первом кузнеце, а его органическая связь с прото-еврейским этносом подчеркивает связь последнего с началом металлургии. "Первые кузнецы", естественно, должны были вести подвижную жизнь. То обстоятельство, что они находились под особой защитой Бога, — "всякому, кто убьет Каина (т.е. кузнеца), отмстится всемеро", — похоже на своеобразное "табу", которым искусные мастера были ограждены от варваров (см. [12], стр. 127).

В эпосе древних иранцев (ирано-ариев), отразившемся в "Авесте" и поэме Фирдоуси "Шахнаме", один из главных героев — "кузнец Каве", поднявший восстание против Аж-Даххака ([4], стр. 60–66). В

поэме Фирдоуси фартук кузнеца Каве стал знаменем восставших, а потом и знаменем иранских царей. Знамя это так и называлось "кавейнским" (см. [4], стр. 64–65).

От кузнеца Каве, видимо, вела свое происхождение полулегендарная династия иранских царей — Кавианидов, или позже Кейнанидов. С этой династией связывается слово *кави*, в более позднем варианте — *кей*, означавшее "царь" или "князь" в ряде областей Ирана (так и в "Авесте") в I тыс. до н. э.

Любопытно, что иранцы сохранили в своем эпосе память о том, что древний герой и основатель династий Каве был кузнецом, но забыли, что само имя Каве означает "кузнец" (коваль). Как мы упоминали, связь корня "кав" — "кей" с кузнецами сохранилась в славянских языках в форме "ков" — "ку (ю)". Эта связь наблюдается и в кельтских языках, например, по-ирландски кузнец — это "gabha". Имя бога кузнечного дела у древних кельтов "Goi-bniu" ([13], стр. 172), очевидно, происходит от того же корня.

Тесно связанные с древним Израилем роды каинитов, т.е. потомков легендарного кузнеца "Каина", и иранские аристократические роды потомков "кузнеца Каве", скорее всего, имели общий источник — арменоидные группы, стоявшие у истоков металлургии. Эта общность подтверждается рядом любопытных совпадений терминов из Библии и из языка древних ариев. По-арабски "Каин" — "кузнец", а "Каина" — "пелица", "танцовщица" ([11], стр. 883).

В Библии нередко встречается слово "кина" (с "коф", как и "Каин"), означающее "элегия", "траурная песнь" ([11], стр. 884). Сходство слов "Каин" и "кина" не случайно и подчеркивает, что древние кузнецы имели отношение к музыке и пению. Три сына допотопного патриарха Лемеха (в линии Каина) как бы олицетворяют три главных занятия кочевых каинитских групп: Яваль назван отцом скотоводов, живущих в шатрах; второй, Юваль, — отец всех, играющих на музыкальных инструментах, и третий, Туваль-Каин, — отец тех, кто делает орудия из меди и железа.

Сочетанию "Каин — кина", т.е. "кузнец — песнь", соответствует раздвоение значения слова *кави* в языках двух ветвей

древних ариев: у ирано-ариев, как мы видели, *кави* привязано к "кузнецу" (кузнец Каве и т. д.), а у индо-ариев *кави* означало "поэт, мудрец" (санскрит), а *кавья* — язык высокого стиля или древнюю поэзию (см. [14], (а), (b)).

Туваль

Перейдем теперь к другому этническому и эпическому термину, связанному с древними кузнецами. "Отец всех кузнецов" назван двойным именем Туваль-Каин, т. е. Туваль-кузнец. Народ Туваль упоминается в Библии в списке сынов Яфета (сына Ноя) рядом с народом Мешех. Народы Туваль и Мешех упоминаются рядом и в книгах израильских пророков (Иезикииль, 27:13; 38:2,3; 39). Они отождествляются с народами (или странами) Восточной и Центральной Анатолии, которые фигурируют в хрониках первой половины I тыс. до н. э. как Табал и Мушки. Перечисляя подчиненные персам народы Малой Азии, Геродот [15] называет рядом тибаренов и мосхов, которые, скорее всего, те же Табал и Мушки, или библейские Туваль и Мешех.

"Табал" ассирийских хроник расположен в районе древнего металлургического очага Восточной Анатолии. Сейчас в этом районе важный город — это Дивриги (Tebriki I тыс. до н. э., см. [12], стр. 126), неподалеку от которого до сих пор добывают железную руду. Родство названия Дивриги (Tebriki) со словами "тибарены" и "Туваль" (см. [12], стр. 126) едва ли может вызвать сомнения.

Анатолийская страна Табал занимала часть территории, на которой во II тыс. до н. э. находилась могучая империя хеттов. Хеттские цари присоединяли к своему титулу имя Лабарна, вариант — Табарна ([16], стр. 20–21). В хеттских архивах слово "Табарна" встречается и в значении "повелитель" ([16], стр. 20–21).

Параллель "Туваль — кузнец" и "Табарна — повелитель" весьма напоминает иранскую пару "кузнец — Каве" и "кави — царь".

Шумерское слово *тибира*, родственное словам Туваль, тибарены и табарна, означало "медник", а один из пяти городов, существовавших, по шумерскому преданию, еще

до потопа, назывался Бад-Тибира, т. е. город медников ([6], стр. 71).

У индо-ариев в "Ведах" имя бога кузнечного дела — Твастр — звучит как вариант тех же Туваль и тибира.

Подобно группе "Каин — Каве", слова Туваль, тибира и Твастр кажутся особо тесно связанными со славянскими языками, где есть группа "творец, творить, творение" и т. д. Было у славян, видимо, и соответствующее этническое название — "тверичи" или "тверь".

Следы древней металлургии в славянских языках и близких к ним балтийских языках (в литовском тоже есть глагол "tverti") подтверждаются еще одним совпадением: шумерский термин для меди "ugudu" напоминает слово "руда" ([33], стр. 15).

Калев

В генеалогиях древнего Израиля (Паралипоменон I, 1–8) больше всего места уделено колену Иуды, а в генеалогии этого колена самое большое число линий соответствует роду Калев (с вариантами имени Хелувай и т. д.) (см. Паралипоменон I, 2, 4). Считалось, что этот род происходит от эпического героя времен Моисея, от одного из двух израильтян (вторым был Иисус Навин), не испугавшихся жителей Ханаана и доживших до вступления в землю обетованную (Числа, 14:6, 24, 30, 38; 26:65; 34:19). Калев несколько раз назван в Библии "книзитом", что указывает на тесную связь его рода с родом Кназ, а через него, видимо, и с родом Каин (см. выше, стр. 233). Роду Калев, после завоевания Ханаана, была отдана область Хеврона, что по соседству с местностью каинитов, бывших частью колена Иуды или его соседями.

Одна из генеалогических линий (Паралипоменон I, 4:11, 12) идет от рода Калев (в форме "Хелув") к городу Нахаш, что означает "город меди" (или медников). Разные варианты имени "Калев", многочисленные линии с ним связанные, сравнительно частые упоминания этого имени в преданиях эпохи Исхода и начала поселения в Ханаане (например, первый судья Израиля Отниэль назван сыном Кназа, братом Калева, — Судьи, 3:9) подчеркивают централь-

ную роль рода Калев в определенный период израильской истории.

Оказывается, что имя этого влиятельного израильского рода оставило следы в названиях очень широкого географического ареала.

В письменных документах II тыс. до н. э. из северо-западной Сирии этнические группы Халев упоминаются вместе с кочевниками хабиру и другими ([17], стр. 20). Одно из арамейских княжеств I тыс. до н. э. называлось Дом Халупе. Главный город северной Сирии до сих пор называется Халев (на европейских языках Алеппо). Пророк Йехезкель (Иезикииль, 27:18) упоминает город Хелбон в районе Дамаска, славившийся вином (о связи древних кузнецов с виноделием см. подробнее [12], гл. XI).

В Западном Иране, на главной дороге из Ирана в Месопотамию, по которой везли с востока олово и драгоценные камни, стоял в древности важный город Хальван, часто упоминаемый в месопотамских хрониках II тыс. до н. э.

Как и название Халев (Алеппо), которое клинопись III тыс. до н. э. передавала как Арман (Арманум, возможно, и Арми), город Хальван имел в клинописи варианты Альван и Арман. Западноиранский Хальван-Арман упоминался обычно вместе с областью (или городом) Падин (см. [12], §§ 33, 41) — как пара Арман-Падин, что очень похоже на библейское название для северной Сирии "Падан-Арам". Таким образом, сирийское название Халев-Арман и западноиранское Хальван-Арман скорее всего родственны и, возможно, свидетельствуют о расселении этнических групп Халев вдоль важных торговых путей.

Совпадение пар Арман-Падин и Падан-Арам делает вероятным, что этнический и географический термин "Арам" (арамеи) происходит от "Арман", т. е. от Халев и Хальван, и, в конечном счете, от родов "Халев". Такое мнение частично подтверждается упоминаниями Библии о "выходе арамейев из Кира" (Амос, 9:7). Этот Кир и упомянут в книге пророка Исаии (Исаия, 22:6) рядом с Эламом и, по-видимому, находился в Западном Иране.

Связь библейского рода Калев с Кназ, Каин и "городом меди" показывает, что

этот род был, по крайней мере генетически, связан с народом халибов, жившим по сведениям греческих авторов в северо-восточной Анатолии рядом с тибаренами и занимавшимся почти исключительно добычей и обработкой металла (см. [12], стр. 128). Очень интересное замечание мы находим у Плиния: "Металлургия, как некоторые считают, была введена халибами" ([12], стр. 128).

Связь имени Калев с металлургией сохранилась и в литовском языке, где "кузнец" — *kalvis* происходит от того же корня Калев (в русской орфографии имя Калев иногда пишут Кхалев или даже Халев, хотя в Библии это כלב), что соответствует также названию финского эпоса "Калевала", героем которого является кузнец.

Кузнецы — основатели городов

Первая русская летопись "Повесть временных лет" содержит легенду об основании города Киева тремя братьями, которых звали Кий, Щек и Хорив. Согласно этой легенде, старший из братьев, Кий, дал городу свое имя. Высказывалось мнение, что наименования Кий и Киев грамматически связаны с корнем "ков-куй", а значит, с кузнецами.

Давно было замечено (см. [19]), что русская легенда о начале Киева напоминает древнюю армянскую легенду о трех братьях, имена которых тоже отчасти сходны с именами из русской летописи: Куар, Мелтей и Хореан — основатели городов. И обе эти легенды имеют ряд совпадений с библейским сказанием о сыновьях Адама и Евы. У Адама и Евы было три сына — Каин, Эвель (Авель) и Шет. Набор имен похож как на тройку "Кий, Хорив, Щек", так и на "Куар, Мелтей, Хореан". Есть и другие совпадения. Единственное упоминание о деятельности Каина после убийства брата и изгнания — это то, что он основал город, видимо, первый на земле. "И построил он (Каин) город и назвал город по имени сына своего" (Бытие, 4:17).

В Шумерском царском списке первые восемь царей, т. е. все цари, жившие до потопа (см. выше, гл. 2), распределены по пяти городам. О городе первых двух царей

разные варианты Шумерского списка дают разные следения. Из трех основных копий, дошедших до нас, две утверждают, что первым городом был Эриду, а третья копия (см. [6], стр. 70, прим. 5 и стр. 88, прим. 126), по мнению наиболее авторитетного эксперта Т. Якобсена, первым городом называет город Куара. Там же он приводит аргументы в пользу того, что вариантами произношения для Куара были также Кувара и Кубара. "Куара—Кувара" определенно кажется словом, связанным с грамматическим корнем "ков—куй", ассоциируемым с кузнецами. "Куара" весьма похоже на "Куар" — армянский вариант для имени "Кий—Каин".

Следующие три царя правили в городе Бад-Тибира, название которого означает "город медников", говоря иначе, "город кузнецов" [6]. Связь наименований городов с кузнецами подтверждается и названием четвертого города — Сиппар (шумерское произношение "Зимбир"), что по-шумерски означало "бронза" ([20], стр. 54).

Получается, что из пяти первых городов, упомянутых шумерской традицией, два безусловно связаны с кузнецами (а именно Бад-Тибера и Сиппар), а третий — с большой долей вероятности (это зависит от того, какую версию считать оригинальной: "Куара" или "Эриду").

Очевидно, сходство географических названий Шумерского списка с названием из библейских, славянских и армянских сказаний отражает общую эпическую традицию, свидетельствующую о том, что самые древние города были основаны "первыми кузнецами". Ученые установили, что упоминаемые в Шумерском списке города реально существовали (как Киев). Следовательно, такие названия, как Бад-Тибера, Сиппар (Зимбир) и, возможно, Куара (Кувара), показывают, что, по крайней мере, некоторые из самых важных и древних городов Шумера действительно были основаны родами кузнецов. Предположить, что эти самые города с этими самыми именами существовали до потопа невозможно: как сумели бы люди, поселившиеся в разрушенной потоком стране, правильно восстановить названия погибших городов?

Ассирийские хроники II тыс. до н.э. упоминают город Каина в Западном Иране

(см. [12], стр. 52). В Восточном Иране недалеко от города Фирдоус (бывший Тус), переименованного так в честь великого поэта, воспевавшего Каве и "истинных царей-кеев", есть Кайенские горы с главным городом Кайен.

Названия городов Западного и Восточного Ирана — Каина, Кинна, Кайен — перекликаются с названиями городов колена Иуды, упоминаемых в Библии: Кина (Иошуа, 15:22) и Каин (цит. 15:57), и одного из главных городов Гильяда (заиорданской части Израиля) — Кенат.

Заметим, что названия Кина, Каин, Кенат пишутся через "коф" (т. е. относятся к тому же корню, что и *каин* — кузнец).

Треугольник дальних связей

Археологией установлено, что население Анатолии и Месопотамии III тыс. до н.э. широко пользовалось изделиями из оловянистой бронзы. Известно, что олово доставляли сюда через Иран. Но до сих пор не найден ответ на вопрос, какими путями и откуда попадало олово в Иран. Некоторые новейшие исследователи, опираясь на строки из Страбона ([18], т. 3, стр. 126) полагают, что места добычи олова находились в Восточном Иране или Афганистане, но пока не найдено материальных подтверждений такой точки зрения. Однако в географии и археологии Ирана сохранились следы активности древних кланов кузнецов. О городах Каина, Кина, Кайен и названии Кайенские горы уже говорилось. Прикаспийская часть Ирана, где в III тыс. до н.э. процветали металлургия и ювелирное искусство, называется Табаристан, то есть "страна Табар", что ассоциируется с Туваль — Тибера. В ней, согласно Страбону, жил народ "тапиры" [18]. Э. Херцфельд ([12], стр. 248) указывает, что письменные памятники Ассирии первой половины I тыс. до н.э. называют не только Табал из Восточной Анатолии, но и другой Табал, расположенный на северо-западе Ирана, где-то рядом с Табаристаном.

В первой части мы уже рассказывали о луристанских бронзах и металлургах Луристана. Луристан — часть древнего Ирана, неподалеку от Шумера и Элама. Расцвет луристанской металлургии приходится на

первую половину I тыс. до н. э. и, согласно Гиршману [21], связан с ирано-арийской экспансией. В последние десятилетия археологам удалось доказать [22], что блестящая металлургическая традиция Луристана намного древнее I тыс. до н. э. и что активные металлурги-кочевники жили там, по крайней мере, с начала III тыс. до н. э. Важно отметить, что их металлургическая культура в III тыс. до н. э. была почти неотделима от Шумера.

В луристанских бронзах I тыс. до н. э. есть много сходного с изделиями кавказских мастеров этого же времени [23]. Соответствующую культуру Кавказа называют "кобанской" по имени осетинской деревни Кобан, возле которой в прошлом веке нашли богатые захоронения, содержащие множество замечательных изделий из бронзы и железа. Постепенно выяснилось, что эта культура представлена в довольно широком ареале к северу и югу от Кавказских гор. Установлено, что в этом географическом районе (северо-западная Грузия и западная половина Северного Кавказа), как и в Луристане, развитая металлургическая традиция намного древнее I тыс. до н. э. и начинается, видимо, с середины IV тыс. до н. э. Именно этим временем датируется сейчас начало Майкопской культуры на Северном Кавказе [24]. Об этой культуре наиболее ярко свидетельствует Большой майкопский курган: по богатству находок его сравнивают с царскими гробницами Анатолии (Аласа — Худжук) и Шумера (Киш и Ур). Однако Большой майкопский курган на 500—700 лет старше этих гробниц [24].

Обратим внимание на то, что само название деревни Кобан кажется вариантом уже известных нам Коваль — Каин, то есть относящихся к корню "ков—кую". Слово Кобан сходно по звучанию и с именем кельтского бога кузнечного дела Goibniu (см. выше, стр. 234). Со словом Кобан созвучно название реки Кубань, в бассейне которой размещалась Майкопская культура ранней фазы, и название целой области Кабарда, расположенной в том же районе. География северо-западного Кавказа сохранила реку и местность с названием Теберда. Кабарда и Теберда вместе напоминают Каве—Каин и Тибира—Тувал, объединив-

шихся в двойном имени первого библейского кузнеца Туваль-Каина. Отметим, что Теберда и Кобан расположены возле главных горных перевалов, через которые с давних времен шли пути из Закавказья на Северный Кавказ.

Следы присутствия древних кузнецов в Анатолии остались, как уже говорилось, в названиях Табал—Туваль, Дивриги, Тибарены и Табарна (династии). Это дает очевидную корреляцию с кавказскими Теберда—Кабарда, шумерскими *тибира* и Бад-Тибира и иранскими "Табал-тапиры — Табаристан". И так же, как на западном Кавказе и в Луристане, металлургическая традиция Анатолии (особенно Восточной) прослеживается непрерывно со второй половины IV тыс. до н. э. вплоть до последних веков до н. э., когда она связывается с халибами.

Если на карте соединить прямыми линиями Восточную Анатолию, Луристан и западный Кавказ, то получится треугольник, стороны которого совпадают с древними торговыми путями, связывавшими эти районы. Путь из Анатолии в Луристан описывается "Царской дорогой персов", описанной Геродотом [15]. Торговый путь из Ирана на Кавказ упомянут Страбоном [18] и упоминается всякий раз, когда говорится об активности скифских племен. Очень древний путь из Луристана к Закавказью прослежен археологически, в частности, в [25].

Наличие этого пути объясняет сходство стилей луристанских и кобанских бронз первой половины I тыс. до н. э. Обе традиции рассматриваются как естественные предтечи "звериного (зооморфного) стиля", разнесенного скифами в середине I тыс. до н. э. по огромным пространствам Евразийской степи от Дуная до Монголии.

Связь Восточной Анатолии с западным Кавказом скорее всего осуществлялась через морские пути восточного Черноморья. Это подтверждается многими археологическими свидетельствами, касающимися металлургии обоих районов в эпоху от конца IV тыс. до н. э. до I тыс. до н. э.* Уместно

*Подробнее об этих и других археологических данных, относящихся к указанному выше треугольнику, будет рассказано в части III. Там же мы расскажем о замечатель-





напомнить, что античное название Грузии — Иберия. Иосиф Флавий (I в. н. э.) утверждал, что эта Кавказская Иберия (а другая Иберия была в Испании) соответствует этносу Туваль. Древней столицей Кавказской Иберии был город Мцхета, название которого напоминает этническое название *мосхи*, связываемое с древним Закавказьем ([18], т. 2, стр. 225). Мосхи же немедленно ассоциируются с народом "Мосхи—Мешех—Мушки" (см. выше, стр. 235), которые, как мы знаем, упоминались в парах "мосхи—тибарены" и "Мешех—Туваль".

Мцхета находится рядом с другим важным городом — нынешней столицей Грузии Тбилиси. Пара названий Тбилиси — Мцхета похожа на Туваль — Мешех и на Тибарены — Мосхи. Это двойное совпадение, конечно, может быть и случайным. И все же свидетельство Иосифа Флавия примечательно, как и корреляция с Триалетской культурой — удивительным очагом металлургии и ювелирного дела, существовавшим в этом районе еще с шумерских времен.

4. На рубеже предыстории и истории

Генеалогии, сохраняемые устной традицией, обычно представляют прошлое как некую пирамиду, в основании которой помещаются эпические сказители и их окружение, а на вершине — эпический предок рода.

На самом деле, если бы эпический повествователь достоверно представлял прошлое, то картина оказалась бы совершенно иной: в вершине пирамиды — рассказчик, а в основании — многочисленные предки (у каждого родителя есть два родителя и т. д.). Другими словами, картина прошлого с эпическим предком в начале рода заведомо нереальна и, по всей видимости, отражает порядок наследования и старшинства (так, например, в русских аристократических семьях сохранялась память о связях с родом Рюрика).

Но в устной передаче с трудом сохраняется и такая картина. Ученые установили [26], что существующие ныне племена с

устной генеалогической традицией постоянно пополняют генеалогическую пирамиду известными им на данный момент названиями родственных племен. Эти названия превращаются в имена эпических предков, которыми заполняют пустые, то есть "выветрившиеся" ячейки в генеалогии.

Так делалось, видимо, и в далеком прошлом. В генеалогическом древе Ноя (Бытие, 10), большинство имен представляют собой названия народов, известных израильтянам II и I тыс. до н. э. С другой стороны, имена предков, ведущих от Ноя к Аврааму (то есть к роду хранителей эпоса) почти не связаны с географическими или этническими названиями. Генеалогическая линия Ной—Авраам была центральной для хранителей эпоса и содержала главную информацию о прошлом рода. Остальные же линии дополнялись и изменялись в зависимости от географических знаний разных эпох.

Из трех сыновей Ноя — Хама, Шема и Яфета — "центральным", то есть стоящим на линии Ной — Авраам, является Шем. Имя это в других, то есть не генеалогических, главах Библии ни разу не упоминается. О Шеме сразу говорится, что он "отец всех сынов Эвера", хотя Эвер и не следует сразу за Шемом в родовом списке. Так эпический повествователь подчеркивает особую важность Шема для "сынов Эвера" (евреев) — этноса, к которому он относит и себя.

Похуже, что в необычном выражении "всех сынов Эвера" сохранилось воспоминание о разбросанности их в пространстве, что мешало, на первый взгляд, возвести их к общему родовому предку. (Подобным образом библейская традиция относит всех современных евреев к потомству (роду) Авраама, Исаака и Якова).

По Библии, у Шема было пять сыновей: Элам, Ашур, Арпахшад, Луд, Арам. Имена Элам, Ашур, Луд, Арам легко ассоциируются с названиями могущественных стран и народов, хорошо известных в I тыс. до н. э. Элам — страна на юго-западе нынешнего Ирана, Ашур — это правильное название Ассирии по ее главному богу и главному городу, Лидия (в ассирийских документах она называется Луд) — страна в Малой Азии и, наконец, арамеи (Арам) — воинст-

ной Триалетской культуре центральной Грузии, коррелирующей со всеми тремя вершинами этого треугольника и датируемой, как нам кажется, III тыс. до н. э. (возможно, от его начала до конца).

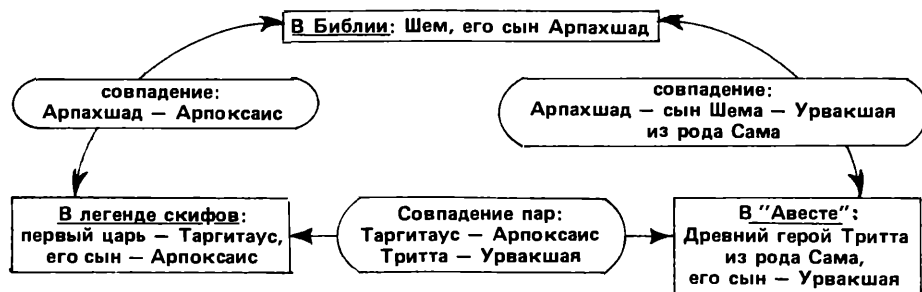
венные племена Северной Месопотамии и Сирии, боровшиеся в начале I тыс. до н. э. с Ассирией за господство в Месопотамии. Интересно, что Луд, Арам, Ашур, Элам расположены вдоль "Царской дороги персов" (см. выше, стр. 240), которая вела из столицы Лидии Сарды в столицу Элама Сузы (см. рис. 1).

Арпахшад

Для имени пятого сына Шема Арпахшада (прямого предка Авраама) не находится убедительных географических соответствий. В Библии имя Арпахшад встречается только в родовых перечнях. С другой стороны, это имя фигурирует в книге Юдифь, сохранившейся в греческом переводе и вошедшей в православную и католическую Библию. В книге Юдифь описываются события середины I тыс. до н. э., Арпахшад здесь — имя мидийского царя. Возможно, рассказанное о Юдифи есть просто легенда (во всяком случае, мидийский царь Арпахшад историкам неизвестен), но есть одна любопытная лингвистическая деталь, на которую стоит обратить внимание. Во главе Мидии, бывшей великой державой между 700 и 550 годами до н. э., стояли ирано-арийские этнические группы. С другой стороны, часть имени "хшад" (иногда в формах "кшат", "кшата", "кшатр" и т. д.) — один из стандартных признаков, по которым исследователи узнают имена древних ирано-ариев (см. [27], стр. 240, 373). Дело в том, что на их языке "кшая" означало "царь"; "кшатр" — "царство", "кшаэта" ("кшата") — "царственный", "блистательный" и т. д. До сих пор в

Индии каста воинов (из нее выходили цари) называется "кшатрия". Таким образом, Арпахшад из книги Юдифь, будучи царем Мидии, носит имя, имеющее, по крайней мере, ирано-арийский ("царский") элемент — "кшад".

Существуют и другие указания на ираноязычный характер имени Арпахшад. Геродот ([15], кн. IV, 5—6) приводит легенду скифов об их происхождении (следует помнить, что скифы были ираноязычным племенем). Согласно этой легенде, первый царь скифов Таргитаус имел трех сыновей, которых звали Липоксаис, Арпоксаис и Колаксаис. Если учесть, что в греческом языке не было звука "ш" (например, в греческом переводе Библии "Арпахшад" — это уже "Арфаксад"), то нельзя не видеть, что имя Арпоксаис из скифской легенды практически совпадает с библейским Арпахшад. Совпадает в некоторой степени и контекст, в котором встречаются эти имена: в Библии Арпахшад — один из пяти сыновей эпического героя Шема, у скифов Арпоксаис — один из трех сыновей их легендарного первого царя. Имя этого царя "Таргитаус" в форме "Таргита" ("с" в конце могло быть стандартным греческим добавлением) похоже на известное из "Авесты" имя одного из самых древних героев ирано-арийского эпоса — Тритта. В тексте "Авесты" говорится ([5], Yasna IX:10): "У Тритта, самого могущественного из рода Сама... родились два сына: Урвакшая и Кересаспа". Здесь название рода Сама похоже на библейское Шем, а имя Урвакшая ассоциируется с библейским Арпахшад. Получается следующий треугольник совпадений:



Урвакшя упоминается в "Авесте" несколько раз ([5], Yashts; XV, 28; XXIII) в качестве мудреца и собирателя. В "Авесте" же содержится отзвук какой-то легенды о его трагической смерти. Брат Урвакшя Кересаспа фигурирует в "Шахнаме" под несколько измененным именем Герджасп. Это имя там иногда путается с именем другого важного персонажа — героя по имени Сам. В этой путанице нетрудно увидеть след авестийской версии, по которой Кересаспа — из рода Сама.

Сагартии, Сака, Сагаз

Э. Херцфельд считал ([12], стр. 333), что с родом Сама ("Авеста") связано название одного из исторических племен Ирана, которое греческие историки называли Тамани. Геродот упоминает *таманиев* вместе с сагартиями и сарангиями. Сарангии жили в восточно-иранской области Дрангиана, о которой Страбон пишет, что здесь добывали олово (см. выше, стр. 237). Сагартии (вариант "Асагартии"), по Геродоту, — племя, которое вело кочевой образ жизни в Иране. В Персидской империи они единственные, не считая самих персов, кто поставлял армии кавалерию. Они владели необычным способом ведения войны — вели нападение с применением лассо (см. [15], кн. VII, 84–85).

Сагартии — одна из первых ирано-арийских этнических групп, упоминаемых в письменных документах Ассирии. Ассирийские армии сталкивались с ними уже в VIII в. до н.э. в Северо-Западном Иране (район озера Урмия) [12].

Поскольку сагартии вели специфически кочевой образ жизни, их племенное имя, вероятно, обязано своим происхождением слову Сагарата, в свою очередь составленному из двух слов — *Сага* + *Рата*, где *Сага* — слегка измененное санскритское (индоарийское) *сака*, что означает "повозка, телега", а *рата* — индоевропейское "ездить". Иначе говоря, *сагартии* — это "ездящие на повозках, телегах". Но именно так древние авторы воспринимали скифов, народ, живущий в повозках, фургонах. Если вспомнить, что настоящее название скифов было *сака* (в такой форме оно фигурирует во всех иранских источниках), то можно предполо-

жить, что *сака* — это вариант для названия того же племени, что и *сагартии*, и что название *сака* вначале тоже означало "повозочники", "тележники", от слова *сака* — "повозка", "телега", уцелевшего в санскрите.

Воинственные кочевники, первые упоминания о которых исследователи находят в шумерских документах, начиная со второй половины III тыс. до н.э., назывались *сагаз* [28]. Примерно этим же временем датируются первые глиняные модели повозок-фургонов, которые археологи находят в ряде районов Месопотамии ([29], стр. 273). В III тыс. до н.э. Месопотамию с Ираном соединяла развитая система торговых путей, и вполне естественно предположить, что жители Шумера сталкивались с кочевниками из Ирана, ездившими на повозках и контролировавшими важные торговые пути. Люди из племени *сагаз* (подробности ниже) — если верить источникам — мало отличались по образу жизни от *сака* (скифов), много позже описанных греками. Сходство образа жизни и сходство названия делают весьма вероятным предположение, что племена *сагаз*, *сака* и упомянутые выше *сагартии* являются ответвлениями от одного этноса "повозочников", "тележников", известного клинописным источникам уже с III тыс. до н.э.

В месопотамских источниках начала II тыс. до н.э. упомянут город Сагаратим (похоже на "Сагарата"), находившийся, по-видимому, в районе верхнего Хабур (см. [34], стр. 203), возможно, на одном из участков "царского пути" из Анатолии в Элам (см. выше, стр. 242). С другой стороны, известно, что кочевники *сагаз* действовали в этом районе в начале II тыс. до н.э. [17].

Хабиру

Историки особо интересовались кочевыми племенами *сагаз* неслучайно. Эти племена упоминаются письменными документами на протяжении всего II тыс. до н.э. Анализ материальных и письменных источников постепенно привел ученых к выводу, что люди племен *сагаз* тождественны кочевым племенам *хабиру* (вариант *апиру*), тоже упоминаемым в источниках всего II тыс.

до н. э. С большой степенью вероятности *хабиру* (*апиру*) отождествляются с библейскими *сынами Эвера* (то есть с *иврим* — евреями). *Эвер* и *иври* (или *ибри*) на иврите начинается с гортанного звука, передаваемого буквой "аин". В клинописи соответствующий звук передавался как "х" ([17], стр. 90). Иначе говоря, *иври* (с "аин" впереди) должно было передаваться как *хиари* (или *хибри*), откуда и происходит *хабиру*.

Первое ясно расшифрованное письменное упоминание племен *сагаз* относится к правлению позднешумерского царя Шульги (около 2200 года до н. э.) (см. [25], стр. 57). Шумерский автор пишет: "Сагаз — неуправляемые люди. Зеленые равнины их опустошены. Мужчины их идут куда хотят, а женщины не выпускают из рук прядельных веретен. Они разбивают станы свои, где пожелают. И установлений Шульги, царя моего, они не выполняют".

По-видимому, этот отрывок — первое дошедшее до нас свидетельство о том конкретном этносе, из которого вышел древний Израиль. И в этом раннем отрывке уже отчетливо слышатся предвестия тех отзывов о евреях (израильтянах), которые воспроизведет впоследствии Библия, вложив их в уста чужестранцев.

Таково утверждение из песни Валаама (Числа, 23:9): "Вот народ отдельно живет и между нациями не числится". Другой пример — известное место в книге Эстер (Эстер, 3:8), где Аман говорит персидскому царю о евреях: "Есть один народ, рассеянный и разделенный между народами во всех странах твоего царства. Установления их отличаются от (установлений) всех народов и законов (установлений) царя они не выполняют".

Упоминания о *хабиру-сагаз* распределены примерно в той же пространственно-временной последовательности, в какой Библия дает историю евреев от Авраама (конец III тыс. до н. э.) до захвата земли Ханаанской и постоянного поселения в ней во второй половине II тыс. до н. э.

В Библии первый географический пункт, с которым связана история семьи Авраама — это "Ур халдеев" — столица Шумера времен царя Шульги, что совпадает с первыми упоминаниями о *хабиру-сагаз* в

южной Месопотамии на рубеже III и II тыс. до н. э.

Из Ура семья Авраама переезжает в северомесопотамский город Харран. Там окончательно укореняется род брата Авраама Нахора (Бытие, 24:10; 29:4). Но именно в этом районе (бассейны рек Хабур и Балих) племена *хабиру-сагаз* были особенно активны в первой трети II тыс. до н. э.

Последний этап предистории Израиля — переселение в Ханаан, переход в Египет, возвращение оттуда и завоевание части Ханаана — отражен, в частности, в том эпизоде (Бытие, 15:18), где Авраам слышит слова Бога: "Семени твоему Я даю эту землю, от реки Египетской до реки великой, реки Евфрата". Письменные данные о *хабиру-сагаз* второй половины II тыс. до н. э. в подавляющем большинстве относятся к областям, лежащим к югу от Евфрата, — это район Алеппо, Левант и Египет [17]. Кроме того, в Тель-амарнском архиве египетских фараонов (первая половина XIV в. до н. э. [17]) хранится много писем от египетских вассалов из Ханаана с просьбой о помощи против нападений *хабиру-сагаз*.

Библия считает родственными Израиллю народы, жившие к востоку от Иордана. Так, про *аммон* и *моав* сказано, что они — "сыны Лота, племянника Авраама"; народ *эдом*, проживавший южнее, происходил от Эсава, брата Якова-Израиля. Такое мнение подтверждается многочисленными пересечениями генеалогических линий Израиля и Эсава (см. Паралипоменон I, 1—8). Есть родственные пересечения линий Израиля с "*сынами Ишмаэля*" — кочевниками, жившими дальше к востоку ("*Бней-Кедем*" — "Сыны Востока") (ср. Паралипоменон I, 1:29, 30 с Паралипоменон I, 4:25), а также с арамеями (Арам) — кочевыми группами, обитавшими севернее (ср., например, Паралипоменон I, 2:48 и 7:16 с 10:6 (2-я Книга царств, 10:6)).

В древней израильской молитве были такие слова (Втор., 26:5): "Отец мой — бродячий арамей". Выражение "бродячий арамей" — приблизительный перевод ивритского выражения אַרְמִי אֹנֶכִי (*арамим овед*). В современном иврите корень *авад* (אָבַד) означает *потерял*, и *арамим овед* могло

значить “пропащий арамей”, вся фраза, в таком случае: “Отец мой был пропавшим арамейем”. Ассирийцы в эпоху борьбы с арамеями за гегемонию в Месопотамии (в которой в конце концов победил, во всяком случае, арамейский язык) называли арамейев *мар хабату*, то есть *сыны хабату*. Слово *хабату* ассоциируется с *овед (обед)*. В ассирийско-вавилонском лексиконе *хабату* означало что-то вроде *разбойник с большой дороги* [17]. Вместе с тем в клинописных словарях шумерская идеограмма для *сагаз* иногда переводилась как *хабату* [17]. Современное *бедуин* (арабское *беду* — кочевник), возможно, относится к тому же корню, что и *овед (обед)* и *хабату*.

В генеалогических перечнях Израиля упомянуты роды *рекабитов* — *рекаб* или *рехаб* (Паралипоменон I, 2:55; “Септуагинта”: Паралипоменон I, 4:8, 12), очевидным образом связанные с арамейским *рехаб* (Самуил II, 10:8; Числа, 13:22; Судьи, 18:28). *Рекаб* на иврите — *повозка*, так что роды *рекаб* (*рекабиты*) в переводе означает *повозочники*. Возможно, перед нами семитский эквивалент иранских названий *повозочников* — *сагарата-сагаз*. В книге Иеремии (гл. 35) рассказано об израильянах-рекабитах, которые сохраняли верность древним кочевым обычаям и связывали эту верность с религиозной праведностью (их духовный вождь упомянут и в книге Царств (Цари II, 10:15, 23): он помогает царю Йеху бороться с язычеством. Рекабиты говорят о себе (Иеремия, 35:9, 10): “У нас нет ни виноградников, ни полей, ни посевов. Живем в шатрах”.

Создается впечатление, что библейские данные, как и данные клинописных табличек о сынах Эвера (*хабиру-сагаз*), арамеях и других кочевниках, отражают длительный процесс расселения с конца III до конца II тыс. до н.э. (археологически это эпоха среднего и позднего бронзового века), воинственных кочевых групп, тесно связанных между собой. В результате этого процесса часть сынов Эвера осела в Месопотамии, а другая часть сконцентрировалась в более западных областях, и от них пошли арамеи, израильяне и соседи Израиля к востоку от реки Иордан.

Царские династии начала II тысячелетия до н. э.

Один из самых больших клинописных архивов, найденных на Ближнем Востоке, — архив Мари (Мари — древний город на среднем Евфрате) — относится к началу II тыс. до н.э. [31].

Многие тексты из этого архива часто упоминают воинственных кочевников, живших в области, контролируемой царями Мари. Документы отличаются два, видимо, родственных клана: *бану-сималь* (“сыны севера” или “северяне”) и *бану-ямина* (“южане”). А. Фине, французский исследователь, доказывает [32], что кочевники *сималь* — это *хабиру*, которых тоже, в свою очередь, упоминает архив Мари. С другой стороны, название *бану-ямина* созвучно имени одного из израильских колен (Биньямин). Израильские *биньяминиты* отличались особой воинственностью и агрессивностью (см. Судьи, гл. 20).

Праотец Яков-Израиль говорит о них (Бытие, 49:27): “Биньямин — хищный волк, утром поедает добычу, а вечером делит трофеи”.

Среди *бану-ямина*, по источникам из архива Мари, выделяется пара тесно связанных между собой родов: *овнану* и *яхруру* [31]. Ученые давно обратили внимание на то, что пара *овнану* — *яхруру* похожа по названию на библейскую пару *Онан* — *Эр* (אֶרֶן — עֵר) — сыновья Иуды, соответствующие родам, исчезнувшим до ухода в Египет (Бытие, 46:12). Наличие буквы “*вав*” в *Онан* могло давать в произношении *Овнан*, а имя *Эр* из-за буквы “*аин*” клинопись должна была передавать как “*экр*”, то есть близко к “*яхруру*” (см. выше, стр. 244).

Имена *овнану* и *яхруру* встречаются не только в документах архива Мари, но и в других клинописных источниках [26]. Уже высказывалось мнение [26], что именно эти роды сыграли решающую роль в смене правящих династий южной Месопотамии в начале II тыс. до н.э. Еще в конце прошлого века исследователи заметили, что у царей и вельмож из новых месопотамских династий имена напоминают библейские. Для носителей новых имен из южной Месопотамии было даже предложено новое название: “восточные ханаanei”. Соответст-

вующий язык (его условно называют аморейским) по ряду признаков ближе к арабскому языку, чем к аккадскому (семитскому языку клинописи). Получается определенная корреляция с названием "*бану-ямина*" — "сыны юга". Подробный анализ археологических свидетельств миграций кочевников в III и II тыс. до н.э. будет дан в части III. Пока же отметим, что, согласно Библии, род Авраама после первого поселения в Ханаане сохранил тесные связи с родственными группами северной Месопотамии (например, с "городом Нахора", который, кстати, упоминается и в архиве Мари). Часть этого рода мигрировала обратно с юга на север ("бегство Якова") и позже снова вернулась в Ханаан. Интересно, что, по Библии, Биньямин — единственный из сыновей Якова, который родился не в северной Месопотамии, а на юге, в Ханаане.

Самая выдающаяся из новых "аморейских" ("восточноханаанских") династий южной Месопотамии — это так называемая первая династия Вавилона, к которой принадлежал знаменитый царь Хаммурапи, создавший империю и оставивший кодекс законов, столько раз смущавших исследователей совпадениями с законами Моисея.

В 1966 г. вышла статья известного специалиста по клинописи Дж. Финкельштейна [26], в которой дается анализ необычного клинописного документа, содержащего генеалогию династии Хаммурапи. Дж. Финкельштейн показывает, что в самом важном месте генеалогии — переходе от этногеографических имен к реальным стоит пара *овнану* — *яхруру*. Отсюда делается вывод, что *овнану* и *яхруру* — это "почти наверное племенная группа, из которой династия Хаммурапи выводила себя прямым и сознательным образом". Далее ([26], стр. 101) автор анализирует связь генеалогии династии Хаммурапи с так называемым "царским списком Ассирии", дошедшим до нас в нескольких клинописных копиях. По ассирийской традиции, их первые семнадцать царей "жили в шатрах", иначе говоря, были кочевниками. Дж. Финкельштейн показывает, что первые десять имен генеалогии Хаммурапи и Ассирийского царского списка почти полностью совпадают, отличаться главным образом порядком.

Это означает, что династии ассирийских и вавилонских царей имеют родственное происхождение. В определенном родстве с ними, должно быть, состоят и другие династии II тыс. до н.э., носившие схожие ("аморейские") имена и поделившие между собой в это время всю Месопотамию и Сирию на несколько довольно крупных царств. Лингвистические совпадения с библейскими израильскими именами, связи с *сималь*, *хабиру*, *бану-ямина* и *овнану* — *яхруру*, кочевой характер и общность происхождения племенных групп, захвативших на рубеже III и II тыс. до н.э. власть в городских центрах Месопотамии и Сирии, показывают, что эти группы принадлежали к тому же массиву *хабиру* — *сагаз*, что и воинственные кочевники, положившие начало древнему Израилю*.

"Терах, отец Авраама и отец Нахора"

В "Генеалогии династии Хаммурапи" 600 лет, предшествующих написанию этого документа, разделены на три эпохи, или династии (*бала*): *бала Гутиев*, *бала Хана* и *бала Амурру*. Эти названия династий последовательно связаны с названиями трех географических областей: Западного Ирана ("страна Гутиев"), левобережья среднего Евфрата ("Хана") и западной Сирии с Левантом ("Амурру"), совпадающая с библейской страной "от Евфрата до реки Египетской" (см. выше, стр. 244), что соответствует продвижению кочевых групп, вторгавшихся с востока и, возможно, с севера в Месопотамию во второй половине

*В свое время выдающийся востоковед У. Олбрайт писал об открытии Дж. Финкельштейна следующее: "Эти замечательные новые таблички... по-видимому, доказывают, что предки евреев (ancestral Hebrews) основали Первую династию Вавилона и что они обладали своего рода гегемонией в северной Месопотамии после периода гутийских царей" ([28], стр. 81). И далее, (прим. на той же стр.): "Есть упоминания сагаз в гимне Ишме-Дагана, царя Исина (южная Месопотамия, около 2070 до н.э. по ([9])... "Я сломил *сагаз* боевым топором; на шею его я надел ярмо". Но эта попытка подавить неукротимую энергию *апиру* (*хабиру*), кажется, не была успешной; примерно через полстолетия они уже владели значительной территорией самой Вавилонии" ([28], прим. на стр. 81).

III тыс. до н. э. (*гугии, умман-манда, луп-лубы* клинописных источников). Вторгнувшиеся кочевые группы разгромили Аккадскую империю, властвовавшую над Месопотамией и Сирией; и даже основали свою династию царей, называвшуюся Гутийской и правившую на территории бывшей Аккадской империи около 100 лет (примерно с 2350-го по 2250 г. до н. э. [9]).

Последнего царя Гутийской династии звали Тириккан [12]. С этим именем связывают три города в Месопотамии и Иране. Клинописные документы отождествляют один из этих городов с городом Терка — столицей страны Хана, второй Тириккан они помещают в районе города Хальван (см. выше, стр. 236), а третий город с тем же названием — в Западном Иране, стране Гутиев ([12], стр. 48).

Имена царей Гутийской династии во второй ее половине неожиданно становятся семитскими и, кажется, даже западносемитскими. Это обстоятельство и ряд других соображений [26] заставляют думать, что основной центр вторгнувшихся в Месопотамию гутиев помещался не на юге ее (как у аккадских царей), а в районе среднего Евфрата. Наличие здесь важного города Терка, связанного с последним гутийским царем Тирикканом, может означать, что район Хана-Терка приобрел особенное значение для гутийской династической верхушки после крушения имперской Гутийской династии (примерно в 2250 г. до н. э.). Видимо, это обстоятельство и отражено в "Генеалогии династии Хаммурапи", когда *бала Хана* следует за *бала Гутиев*. Известно, кроме того, что родственная Хаммурапи династия царей Ассирии выводила своих непосредственных предков из города Терка (в честь их приносились жертвы в специальном храме в Терка).

Пророк Йехезкель упоминает страну Хана, называя рядом и город Харран. Это лишний раз подтверждает, что город Харран находился в стране Хана. И тогда библейская история о переселении рода Тераха, отца Авраама, из шумерского Ура в Харран, да еще после смерти сына (Бытие, 11:2), начинает удивительно напоминать переход гутийского династического центра из Шумера (южной Месопотамии) на средний Евфрат

(район Хана-Терка) после разгрома на юге (в 2250 г. до н. э.).

Имя одного из сыновей Тераха Нахор совпадает с названием города Нахор (позже "Нахирия" [28]), находившегося в стране Хана. Но тогда естественно связать и имя самого Тераха с городом Терка, а через него и с именем последнего царя Гутийской династии — Тириккана (согласно позднешумерской традиции, он был убит на сороковой день своего правления).

По Библии, сын Тераха Авраам отправляется владеть страной "от Евфрата до реки Египетской", то есть страной Амурру, а внук его Яков возвращается на какое-то время на север, в "страну Нахора". Здесь легко заметить параллель с переходом от *бала Хана* к *бала Амурру* в "Генеалогии династии Хаммурапи", а также с выведением этой династии из *бану-ямина* ("сынов юга"). Становится также понятным, почему цари династии Хаммурапи носили титул "царь Амурру" [26]. Этот титул подчеркивал, что вернувшиеся на средний Евфрат *бану-ямина* ("сыны юга") уже владели к этому времени страной Амурру и, кроме того, придавали очень важное значение этому владению. Заслуживает внимания и то первостепенное значение, которое Библия придает владению страной Амурру — Ханаан: в Библии это владение — символ союза рода Авраама с Богом. Археологические следы вторжений в Ханаан кочевников эпохи крушения Аккадской империи подтверждают, что Ханаан, будущая страна Израиля, становится для них важным центром (подробности в части III).

Два города Тириккан в Западном Иране (см. выше) ассоциируются с воинственными этническими группами и страной Турукки (варианты — "Туркиш" и "Тукриш"), которые упоминаются месопотамскими документами II тыс. до н. э. (см. [12], § 192). Рядом с "Турукки" (или в их области) помещается нынешний город Сакиз (южнее озера Урмия), связываемый с Сака (скифами) [21]. Город в Западном Иране с очень близким названием "Сакуш" упоминают ассирийские цари второй половины II тыс. до н. э. (см. [12], стр. 78). Сака-Сагаз — Сагартти ("повозочники"), название которых на арийских языках связано с санскритским *сака* — "повозка", а в семитской

области, по-видимому, передавалось в переводе как *рекав* (семитское "повозка", см. выше, стр. 245), могли иметь и эквивалентное этническое название "Турукки", ассоциируемое с рядом индоевропейских терминов для "повозки", соответствующих славянским "телега", "дроги" (ср. английское "truck") и родственным словам "дорога" и "торг", "торговля". Напомним, что у славян

было племя с похожим названием "дреговичи" ("Дрогобычи").

С этническим названием "Турукки", оставившим следы в виде царского имени "Тириккан" и городов Терка—Тириккан, естественно связать и имя рода Терах, из которого древний Израиль выводил праотца Авраама и своих непосредственных предков.

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Deniker J. "Les races et les peuples de la terre", Paris, Masson, 1926.
- [2] Mavalwala J. "An anthropometric survey of the Parsi community of India", Homo, Bd XIII, 1966, стр. 97—111.
- [3] Ferembach D. "Formation et evolution de la brachycephalie au Proche-Orient", Homo, Bd XVII, 1966, стр. 160—171.
- [4] Фирдоуси "Шахнаме", т. I, Москва, 1957.
- [5] (Avesta) "The Zend-Avesta", translated by J. Darmesteter, Parts I, II, III. Oxford Clarendon Press, 1880.
- [6] Th. Jacobsen "The Sumerian King List", Assyriological Studies, 11, 1939.
- [7] Walton J. "The Antediluvian Section of the Sumerian King List and Genesis 5", Biblical Archeologist, vol. 44, Number 4, Fall 1981.
- [8] Mellaart J. "The Neolithic of the Near East", London, Thames and Hudson, 1975.
- [9] Mellaart J. "Egyptian and Near Eastern chronology: a dilemma?" Antiquity, v. LIII, № 207, 1979.
- [10] (1) Wooley L. "Excavations at Ur" London — New York.
- (2) он же: "Ur of the Chaldees", W. W. Norton & Company Inc, New York, 1965.
- [11] "Hebrew and English Lexicon of the Old Testament", by F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs, Oxford at the Clarendon Press, 1957.
- [12] Herzfeld E. "The Persian Empire, Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East", Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden, 1968.
- [13] Chadwick N. "The Celts". Penguin Books, 1970.
- [14] (а) Иванов В. В., Топоров В. Н. "Санскрит", Москва, 1960.
- (б) БСЭ, 2-е изд., т. 19, стр. 281, статья "Кавья".
- [15] Herodotus "The Histories", Penguin books, 1979.
- [16] Иванов В. В. "Хеттский язык", Москва, 1963.
- [17] Greenberg M. "The Hab/piru", New Haven, American Oriental Society, 1955.
- [18] Strabo "Geography", v.v. I, II, III, London, G. Bell & Sons, LTD, 1912.
- [19] Н. Я. Март "Книжная легенда об основании Куара в Армении и Киева на Руси" (Н. Я. Март "Избранные работы", т. 5, стр. 44—66).
- [20] Дьяконов И. М. "Языки Древней Передней Азии", Москва, 1967.
- [21] Ghirshman R. "Iran; from the earliest times to the Islamic conquest", Penguin books, 1954.
- [22] (1) Vanden Berqhe L. "La Necropole de Mir Kair un Pusht-i Kuh, Luristan", Iranica Antiqua, v. XIV, 1979.
- (2) он же: "Le Luristan a l'Age du Bronze", Archeologia, n. 63, 1973.
- [23] Sulimirsky T. "Prehistoric Russia".
- [24] Андреева М. В. "К во-просу о южных связях Майкопской культуры", Советская археология, № 1, 1977.
- [25] Stein A. "Old routes of Western Iran; narrative of an archaeological journey". London, Macmillan and Co., 1940.
- [26] Finkelstein J. J. "The Genealogy of the Hammurapi Dynasty", Journal of Cuneiform Studies, Vol. XX, Nos. 3 & 4, October, 1966, pp. 95—118.
- [27] Дьяконов И. М. "История Мидии", Москва—Ленинград, 1956.
- [28] Albright W. F. "Yahwe and the Gods of Canaan", Garden City, New York. Doubleday & Company, Inc. 1968.
- [29] Piggots "The Earliest Wheeled Vehicles and the Caucasian Evidence", Proceedings of the Prehistoric Society for 1968, v. XXXIV, L., 1969.
- [30] Gray J. "Canaanites", London. Thames and Hudson, 1964.
- [31] Kupper J.-R. "Les Nomes des Mesopotamie au temps des rois de Mari". Paris, 1957.
- [32] Finet A. "Yawi-Ila, Roi de Talhayum", Syria, XLI pp. 117—142, 1964.
- [33] Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. "Древняя Передняя Азия и индо-европейская проблема", Вестник древней истории, № 1, 1980.
- [34] Roux G., "Ancient Iraq", Penguin books, 1980.
- [35] Clark G. "World prehistory in new perspective", 3 edition.

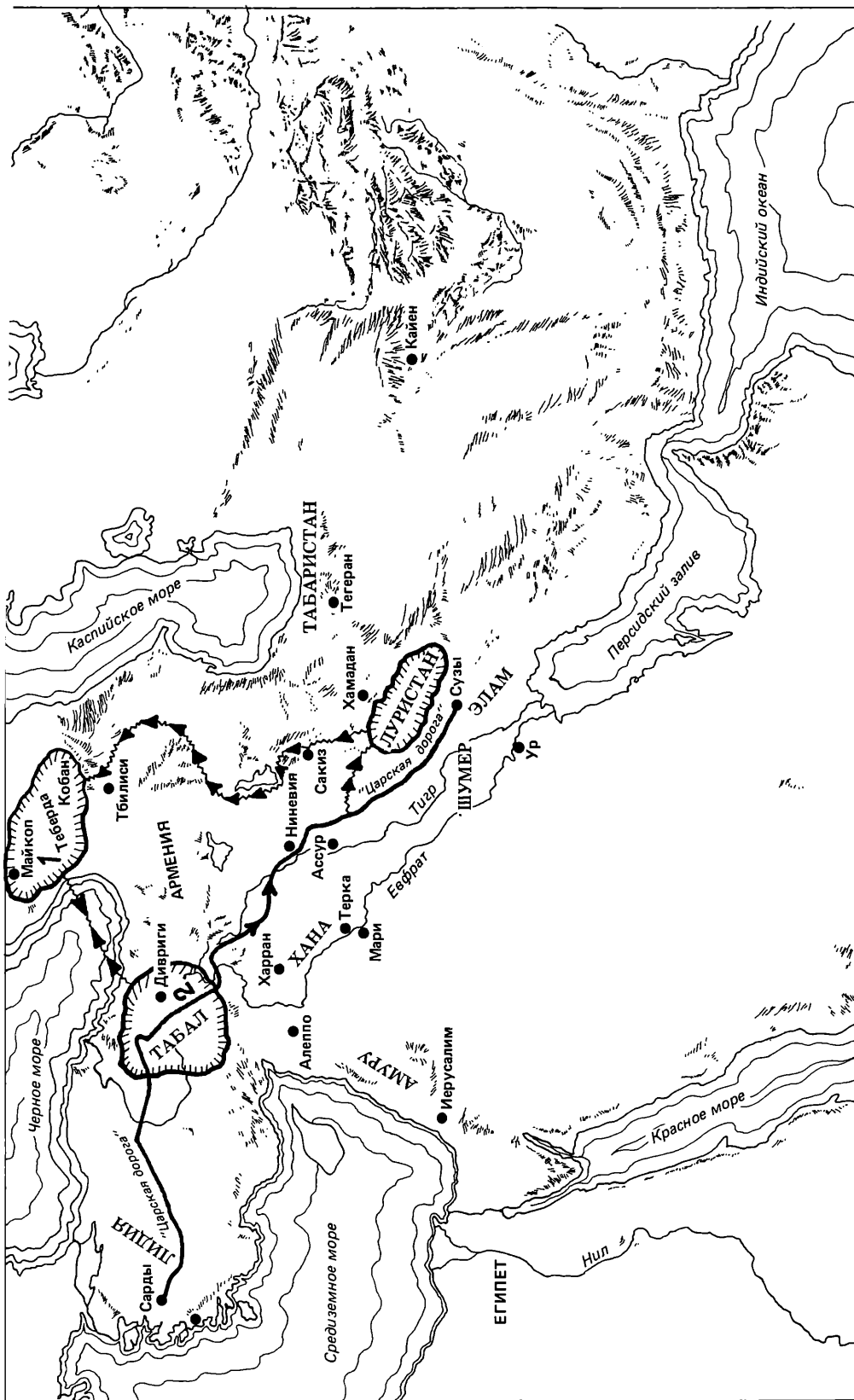


Рис. 1. КАРТА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

- Районы с непрерывной металлургической традицией с IV по I тыс. до н. э.
- 1 — Кавказский район.
- 2 — В. Анатолийский район.
- Предполагаемые пути, связывавшие древние металлургические районы.

У НАС В ГОСТЯХ

Представляя нашим читателям английскую еврейскую газету "Джуиш кроникл" (Лондон), мы начинаем знакомство с еврейскими изданиями диаспоры, выходящими в разных странах и на разных языках. Интервью у главного редактора старейшей еврейской газеты мира взяла Рита Вайсман. Она же подготовила и перевела на русский язык подборку материалов из "Джуиш кроникл".

"Джуиш кроникл" — старейшая еврейская газета в мире. Она была основана в 1841 году. Сегодня это, пожалуй, самая влиятельная газета в еврейской диаспоре, и ее редактор Джеффри Пол считает, что главная сила газеты в ее независимой позиции. Мы спросили у Джеффри Пола, какими факторами, по его мнению, поддерживается существование еврейской газеты на английском языке в такой стране, как Англия.

Джеффри Пол. Газета возникла 144 года назад не по обдуманной необходимости, а внезапно и вдруг, можно сказать. Просто в 1841 году у одного печатника в типографии простаивали свободные станки. Но когда "Джуиш кроникл" стала выходить — а это было время, когда в Англии возникло множество мелких газет, — то стал возрастать и интерес к ней. У газеты было немало соперников, но "Джуиш кроникл" выдержала конкуренцию и фактически добилась монополии в этой стране. Газета становилась все более необходимой по мере того, как люди стали понимать, что это издание превращается в трибуну различных мнений, что здесь можно найти сообщения о судьбах евреев во всем мире и т.д. Когда начались еврей-

ские погромы в России и Восточной Европе, газета взяла на себя особую роль в освещении этих событий: кроме обычных сообщений внутри издания, каждые две недели выходило специальное приложение "Во глубине России", и в нем публиковались даже самые мелкие известия о том, что происходило с евреями в России. Газета имела несомненное влияние в еврейском мире. Гершль, например, опубликовал свою сионистскую программу сначала в "Джуиш кроникл", а потом уже отдельной книгой.

Вопрос. Какова позиция газеты сейчас?

Ответ. Прежде всего — мы старейшая в мире еврейская газета на английском язы-

ке. Мы рассчитываем на читателя самого разного — от человека, который стоит у станка, до профессора каких-нибудь экзотических наук в Оксфорде. И тот факт, что газета раскупается еженедельно в количестве 50 тысяч экземпляров, говорит о том, что наши читатели довольны ею. Если учесть, что средняя еврейская семья состоит из 4 человек, а еврейская община в Англии насчитывает примерно 300 тысяч, то получается, что из тех, кто хоть как-то связан с еврейством, 80 процентов читают "Джуиш кроникл".

В. Является ли ваша газета изданием для, так сказать, этнического меньшинства, или редакцию волнуют также и общebritанские проблемы? Что входит в специфические задачи "Джуиш кроникл" сегодня?

О. Прежде всего, "Джуиш кроникл" — это газета профессиональная, ее выпускают профессиональные журналисты. Мы стараемся дать читателю картину еврейской жизни во всем мире, и, конечно, Израиль в этой картине занимает очень большое место, центральное место, поскольку Израиль — это средоточие еврейской жизни. Никуда от этого не денешься: Израиль — это центр еврейской жизни как в положительном, так и в отрицательном смысле. Нас также чрезвычайно интересует, что происходит в Восточной Европе, мы стараемся получить как можно больше сообщений о наших братьях в этих странах.

В. Какова позиция газеты по отношению к Израилю?

О. "Джуиш кроникл" всегда была и остается решительно просионистской. Но это не означает, что мы не критикуем Израиль. Мы полагаем, что нужно считаться с тем, что у Израиля есть свои проблемы, и сочувствовать Израилю. Но, вооружившись таким пониманием и таким сочувствием, мы вправе критиковать Израиль... Мы высказали свое особое мнение по поводу ливанских событий, критиковали операцию "Мир Галилее", ситуацию в Бейруте, некоторые действия Израиля на Западном берегу. Нельзя сказать, что мы поддерживали правительство Бегина, было бы глупо с моей стороны приоткрывать, что мы были настроены пропра-

вительственно. Впрочем, мы критиковали и правительство Голды, и Рабина, и Бен-Гуриона. Видите ли, мы пытаемся быть заботливым и любящим другом Израиля.

В. Не могли бы вы объяснить, почему мировое еврейство, в данном случае английское, считает нужным критиковать Израиль даже тогда, когда ситуация в стране чрезвычайно тяжелая, как это было, например, во время Ливанской войны?

О. Видите ли, в своей критике Израиля мы исходим из двух принципов: первое — это то, что Израиль не может сотрудничать с диаспорой, ставя при этом условие, что только одному партнеру разрешено выражать мнения. Право высказывания должно быть обоюдным, равноправным, иначе взаимоотношения Израиля с диаспорой обречены на провал. А раз Израиль превратился в центр еврейской жизни, раз израильские премьер-министры утверждают, что говорят от имени еврейского народа, то они должны согласиться с тем, что еврейский народ вне Израиля становится частью их избирательного округа и потому имеет право комментировать высказывания, которые делаются от его имени. Когда Бегин на каждом углу кричал о Катастрофе, он-то знал, что это не только его Катастрофа, что это была Катастрофа всего мирового еврейства, поэтому у евреев всего мира есть право отвечать на это. И если то, что делает Израиль, отражается на нашей жизни в странах, где мы проживаем, то мы считаем, что и у нас есть право голоса. В противном случае, вы вбиваете клин между Израилем и диаспорой; впрочем, сейчас даже в Израиле уже не говорят, что *галут* (диаспора) не играет никакой роли.

В. Как вы относитесь к вопросу об алии английских евреев, считаете ли вы, что это положительное явление, и поощряете ли вы ее?

О. Мы безусловно не возражаем против алии английских евреев, наоборот, мы ее активно поддерживаем. Но в то же время мы твердо знаем, что еврейская община в Англии не распадется. Вообще, еврейские общины так просто не исчезают, особенно если речь идет о такой давно существующей общине, как английская. Конечно, на эрозию

еврейства оказывают свое влияние такие факторы, как ассимиляция и смешанные браки. Но еврейская община в Англии насчитывает 300–350 тысяч человек, и если мы говорим о возможности ее "распыления", то это может произойти не раньше чем через 100–150 лет. Меня больше интересуют ближайшие несколько десятилетий. Я убежден, что мы должны стараться создать руководство внутри нашей общины, и мне обидно иногда, что лучшие из наших молодых активистов уезжают в Израиль. В настоящий момент было бы, я полагаю, нереалистично говорить, что завтра, дескать, все английское еврейство поднимется и поедет в Израиль.

В. Советские евреи двинулись именно в один прекрасный день, можно сказать. Не может ли то же самое произойти с английскими?

О. Нет. Я, может, слеп, но не могу себе представить ситуации, при которой евреи в этой стране не могли бы свободно ездить в Израиль и возвращаться, учить иврит, исповедовать свою религию и т.д., — все то, чего нельзя делать в Советском Союзе. Произойди такое здесь, — конечно, тогда исход был бы неминуем. Но тем самым вы подразумеваете падение западной демократии. Я отношусь к Израилю с большим уважением, я сам там жил много лет. Но для того, чтобы Израиль стал привлекательным местом для евреев всего мира, он должен быть волнующей страной, где у евреев-репатриантов есть слово в обществе, где они могут стать полноправными его членами.

В. Но разве этого не происходит?

О. Нет. Израиль остается притягательной силой главным образом для ортодоксального еврейства, для людей, которые хотят вести полноценную еврейскую религиозную жизнь, где *шабат* (суббота) — это шабат в полном смысле слова, где время праздников не выпадает на рабочие дни; в стране, где они живут, так чтобы им не приходилось закрывать свои дела и терпеть убытки; для людей, которые не хотят, чтобы их дети общались с "неподходящими" людьми. И хотя английская алия — одна из самых крупных среди стран западного мира, но пока не

видно признаков того, что основная часть нашей общины захотела переселиться туда. Если вы спрашиваете меня, готово ли английское еврейство в данный момент подняться с места и поехать в Израиль, то мой ответ, с того места, где я сижу, — нет. Есть, правда, движение некоторой части молодежи, разочарованной отсутствием идеализма в британском обществе. Но, приезжая в Израиль, молодежь быстро убеждается, что израильское общество не менее, а то и более материалистично. В этом я вижу современную трагедию еврейского народа: мы отдали предпочтение материальным ценностям перед духовными. В Америке дело обстоит несколько иначе, там вы можете быть профессором теологии или писателем и при этом занимать руководящее место в еврейской общине, если вы того желаете. Здесь же, в Англии, нет ни одной еврейской общины, во главе которой стоял бы человек интеллигентной профессии: уважаемыми людьми у нас становятся за способность собирать средства, это занятие — сбор фондов — превратилось в одно из главных... И Израиль, по моему, опять-таки частично в этом виноват. Кто в Израиле заслужил больше всего почестей, благожелательных улыбок и чуть ли не ковровую дорожку при спуске с самолетного трапа? Те, кому удалось собрать больше фондов для Израиля.

В. Может ли такое положение измениться?

О. О, я был бы счастлив, если бы израильский премьер-министр или даже просто министр встал и сказал: "Дорогие английские евреи, спасибо большое, но то, что вам удастся собрать, настолько незначительно по сравнению с нашими нуждами, что лучше давайте перестанем этим заниматься, — пришлите-ка нам лучше вашего сына или дочь". Но, к сожалению, публично так еще никто не выступал, и английские евреи продолжают по привычке собирать деньги в фонд Израиля, забывая, что деньги — не замена алии.

В. Как вы относитесь к алии из Советского Союза — к целому пласту диаспоры, снявшемуся с места и попытавшемуся пустить корни в Израиле?

О. Я не испытываю ничего, кроме неподдельного восхищения перед этой алией, перед

людьми, которые пожертвовали служебным положением, квартирами, связью с друзьями и родственниками ради того, чтобы вернуться в Израиль вместе со своими детьми. Мне даже сравнивать трудно. В конце концов, мы, английские евреи, никогда не боролись за алию: покупай билет на самолет — и становись новым репатриантом. Мы можем свободно заранее изучить иврит и вообще тщательно подготовиться к переезду в другую страну. Советские евреи были всего этого лишены, потому, мне кажется, их путь в Сион был таким трудным. Меня беспокоит одна вещь. Сколько людей на Западе занимаются судьбой советских евреев-отказников, борются за их право на иммиграцию в Израиль, но странное дело: как только они выезжают, еврейский мир теряет к ним интерес, перестает интересоваться проблемами, с которыми они сталкиваются по приезде в Израиль. Никто даже особенно не удивляется, если бывший отказник уезжает из Израиля в другую западную страну. Мы в редакции "Джуиш кроникл" не раз вели дискуссии на эту тему: должны ли мы поддерживать израильское правительство, когда оно выступает за выезд советских евреев только в Израиль и никуда больше? И мы пришли к выводу, что не можем поддерживать такую позицию. Человек должен

обладать правом свободы передвижения, а тот факт, что эти люди — евреи, которые хотят эмигрировать, заставляет нас поддерживать их вдвойне.

В. Можете ли вы представить нам типичного английского еврея?

О. О, это очень трудно. Когда меня пригласили редактировать газету, я попросил, чтобы сотрудники редакции нарисовали мне тип человека, для которого я буду выпускать газету. В результате я получил образ пожилой женщины с несколькими детьми, которая живет в лондонском Ист-Энде, а сын ее водит роллс-ройс и проводит отпуск в Иерусалиме. Однако такого человека никак нельзя назвать типичным представителем английского еврейства — существует столько разных слоев еврейского населения... Но одно можно сказать точно: евреи в основном живут в пригородах и больших городах. Сейчас, я бы сказал, начался сдвиг и в профессиональном смысле: евреи начинают отходить от бизнеса и переходят к профессиональному образованию — становятся врачами, адвокатами, а если продолжают заниматься бизнесом, то уже в качестве директоров правления или высокообразованных специалистов.

Клайв СИНКЛЕР

МИНУТА СЧАСТЬЯ

Рассказ

Я живу в страхе. Это мое состояние, а не адрес.

Много лет назад я сдавал экзамены в Карловом университете. Материал я знал и совсем не нервничал, пока не увидел контрольный вопросник, который мне надлежало заполнить ответами. Я знал, что ровно через три часа экзаменационная брошюрка должна быть заполнена, но в то же время ясно понимал, что никаких шансов на то, что я это сделаю, нет. Я чувствовал, что все мои двигательные нервы отказываются совершить неизбежное. Попытавшись ответить на первый вопрос, я обнаружил, что не могу удержать перо в руке. Я не мог написать ни одной буквы. Рука стала покрываться потом, который стекал по линии руки на бумагу. Я выбежал из зала. Капли пота были похожи на слезы на чистой странице. Преподаватели мне сочувствовали, но все равно провалили меня на экзамене. Теперь уже никто не поверит, что я образованный человек.

Шесть утра. Через окно я вижу Влтаву, отливающую золотом в свете восходящего солнца. Вид изумительный, но я к нему равнодушен; во мне не возникает ровным счетом никаких эмоций. Вид в окне означает только то, что настало время облегчить желудок и одеться. Иногда я страдаю от запора, по другим дням у меня понос, а нормальные отправления моего организма — явление чрезвычайно редкое. Эти вещи для меня много важнее, чем, скажем, погода или ландшафт.

Однажды я решил поговорить о своей ипохондрии со знакомым врачом, и он, кичась своими глубокими познаниями в психологии, сказал, что я, мол, не доверяю собственному организму, не верю в то, что миллионы взаимосвязанных действий могут продолжаться безо всякого с моей стороны надзора. Он обвинил меня в интроспективной паранойе. Может, он был прав. Прожить один день — для меня уже достижение. Что же касается будущего, то в него я вообще не верю. В лучшем случае оно представляет собой процесс постепенного разложения. Я думаю только о настоящем и прошлом. Неуклонно придерживаясь устоявшегося режима, я пытаюсь сделать будущее как можно более похожим на настоящее: всегда встаю с кровати с одной и той же стороны, съедаю одинаковый завтрак, покупаю одни и те же продукты в тех же лавках. Мое единственное желание в жизни — в этой жизни — стать лицом на фотоснимке; лицом, улыбающимся от припомненного удовольствия, лицом, навечно утвержденным в настоящем.

По многим причинам сегодняшний день — не такой как все. Мне нужно работать. "Руде право" вышла с жирным красным заголовком: "Плни здар 15 съезду страни!". Это, конечно же, начало работы пятнадцатого партийного съезда. Моя любимая Прага утопает во флагах — чешских ровно столько, сколько советских. В честь этого события в местной лавке появилось необычное разнообразие привозных фруктов: апельсины, грейпфруты, бананы и ананасы. Из-за этого изобилия я поддался соблазну чревоугодия, чем и объясняется утренний понос (я уже сходил дважды). Моя работа будет длиться целую неделю, в течение которой я буду вынужден простаивать за лотком, заваленным миниатюрными чешскими и советскими флажками. Поставили лоток (выбрали же местечко) — у здания авиакомпании "Пан америкен". Мне удастся продать несколько флажков, но большинство людей меня игнорирует, они смотрят на рекламные плакаты в окне здания, там написано: "Приезжайте в США и помогите нам отпраздновать двухсотлетие". На той стороне улицы крестьянка в платке и вышитом переднике продает с лотка крашеные яйца к Пасхе. Когда кто-нибудь покупает у нее яйцо, она продевает в него цветную ленточку. Я не особенно голоден, но все же съедаю небольшой завтрак: чесночную колбасу и кислый огурец с ржаным хлебом. После завтрака мне снова приходится отправляться в уборную.

После полудня солнце прячется за черной тучей, и мне становится холодно. Замечаю парочку, направляющуюся ко мне с английским изданием путеводителя по Праге. Я приближаюсь к ним, помахивая советским флажком, и спрашиваю: "Хотите разменять деньги?" Вижу, что они не ждали этого вопроса. Весь день они отвечали "нет" менялам на улицах, а мне удалось застать их врасплох.

— Даю сорок крон за фунт стерлингов, — говорю я. Это в два раза больше, чем по официальному курсу.

Они колеблются с минуту, потом просят разменять десять фунтов. Мы завершаем операцию в кафе "Европа". Ненавижу это место. Предполагается, что оно выглядит как

парижское кафе, но внешность обманчива: в наши дни там полно всякого сброда — цыгане и рабочие нового метрополитена. Официанты одеты в плохо сшитые смокинги и всем грубят. Просто не понимаю, как власти это допускают, — наверно, потому что сами они никогда в кафе "Европа" не заглядывают. Очень разумно. Однажды мне здесь подали свинину, которой не было в меню, и я неделю провалялся в постели с жуткими резями в животе. Заверяю свою парочку, что здесь можно замечательно пообедать. Они заказывают стакан минеральной воды и бутылочку "кока-колы". Девушка рассказывает мне, что их друг приезжал в Прагу, встретился в синагоге с еврейской девушкой, прожил с ней девять дней, а через шесть месяцев они поженились. Она показывает мне вырезку из "Нью-Йорк таймс". Это статья, которую тот парень написал после своего посещения романтической Праги.

"Уже много лет чешские эмигранты в Нью-Йорке и Лондоне потчевали меня рассказами о великолепии Праги, — читаю я. — Сам город вызывает самые теплые воспоминания у поколения эмигрантов 1968 года, которые могут не переводя дыхания рассуждать об очаровательных женщинах города и о банкротстве политики властей". Прочтя несколько предложений, я чувствую подступающую тошноту: я не узнаю города, о котором он пишет. С таким же успехом это может быть какая-нибудь Южная Дакота.

— Роберт с трудом дождался, пока откроется синагога, — говорит девица. — Я думаю, он и сам не прочь познакомиться с экзотической еврейкой.

Я присматриваюсь к этому Роберту более пристально и удивляюсь, как я раньше не заметил, что он еврей. Я распознаю его по острому взгляду, ощупывающему меня. Евреев я не люблю. Они никому, кроме своих, не доверяют. Я замечаю, что вызываю у него все больше подозрений: он уже отметил, что у меня короткие и тупые пальцы, а мне говорили, что это признак неприятного характера. Прячу руки, подложив их под себя. Улыбаясь девушке, я объясняю, что не всегда был такой малозначительной личностью.

— Я когда-то работал гидом, — говорю я, — и разъезжал по всей Восточной Европе со всякими делегациями. Но в 1969 году мне поручили сопровождать важную делегацию по Италии. И с этого, должен вам сказать, началось мое падение. Знаете почему? Все очень просто. Поехал я с группой из двадцати человек, а вернулся с четырьмя. В последний день поездки, в Триесте, сижу я себе в автобусе и жду группу, а появляются только эти четверо. Остальные потребовали политического убежища! И знаете еще что? Шофер автобуса тоже испарился. Пришлось им прислать нового водителя. Когда мы наконец вернулись домой, меня уволили. Ни за что, ни про что! Ну, разве я виноват, что люди не хотят жить в этой стране? Я вам говорю, дела так плохи, что никто вообще никому не доверяет. Тоже мне, секреты!

Девушка сочувственно кивает, но Роберт взвешивает, стоит ли мне верить... Но это же правда! Я действительно знаю человека, который работал гидом и потерял в поездке на Запад чуть ли не всю группу, после чего его уволили.

Пронзительные глаза еврея внушают мне страх. Придумав какой-то повод, я выскакиваю из кафе. Бояться мне, в общем, нечего: я такие истории много раз рассказывал. Но по дороге домой я чувствую, что мой желудок без всякого предупреждения начинает извергаться. У меня кружится голова. Мне знаком каждый камень на улице, но я теряю всякую уверенность в том, что смогу добраться до дому. Бегу, пытаюсь обогнать свои

страхи, воображая, что в тени прячутся ужасные призраки, тайные полицейские моего подсознания, которые вот-вот меня схватят. И арестуют, но за что? За то, что я мошенник, самозванец, обманщик? Навстречу мне ковыляет пьяница, переполненный пильзенским пивом. Он кивает мне, как будто узнает однострадальца. Безумие! Я не страдаю. Но поворачивая за угол, я точно знаю, что пьяница протрезвел и наблюдает за мной.

На следующий день я снова встречаю вчерашнюю парочку. Мне бы не хотелось с ними разговаривать, но они, по-видимому, горят желанием поделиться со мной и рассказать, каких интересных вещей они насмотрелись в Праге.

– Сегодня утром мы были на могиле раввина Ливы, – говорит девушка, – и оставили там записку со своими именами.

– А вы слышали историю про раби Ливу и страшилище? – спрашиваю я. Конечно же, им совершенно неинтересно слушать эту чепуху! Потом я вспоминаю, что Роберт еврей. Я уже подумываю, не сказать ли ему, почему нацисты не уничтожили Пражское гетто. Потому что они хотели сохранить его в качестве музея вымершей расы. Сейчас в Праге почти нет евреев, а синагоги сохраняются правительством как музеи. А посещают эти достопримечательности главным образом наши замечательные товарищи из Восточной Германии. Такого рода ирония судьбы доставляет мне удовольствие.

Девушка продолжает болтать.

А, мистер Роберт тоже собирается что-то сказать?

– Жалко только, что мы не знаем языка, – говорит он, – не удастся подслушать, о чем люди говорят. Вот мы вернемся домой, и нас спросят: "Как там? Люди довольны, счастливы?". А я смогу только сказать, что люди выглядят как люди: кто-то выглядит довольным, а кто-то несчастным. Как я могу знать, о чем они думают?

Я думаю: а что если обвинить этого еврейчика в сионизме, а потом изнасиловать его подружку? Сочувственно киваю.

Девушка вытаскивает что-то из сумки и говорит:

– Посмотрите, что мы вчера купили за те деньги, что разменяли у вас.

В руках у нее старинная монета – крохотная, серебряная. Зачем она им понадобилась?

– Это, видимо, динар времен Вратислава II, – говорит Роберт.

Видимо!

Если он купил монету в магазине "Старожитность", то это и есть динар времен Вратислава II.

– Я вот что вам скажу, – говорю я доверительно, – мои предки со стороны матери вели свою линию как раз от этого самого Вратислава II. Он был первым настоящим королем чехов, знаете. Основал вон тот монастырь на вершине. Страхов называется. Да, я когда-то занимал высокое положение в обществе. Деньги у меня были. Когда мне исполнилось семнадцать, я унаследовал фамильные поместья. Они оценивались тогда где-то в полмиллиона. В те дни, можете себе представить! Что ж, я и успеха добился фантастического. Ввел столько реформ в лесном хозяйстве, что мне дали почетную степень в Карловом университете. Потом началась война. А что произошло дальше – нетрудно догадаться. Сейчас это все у коммунистов.

К лотку приближается фигура. По-моему, это мужчина. Я присматриваюсь, и вижу, что у него огромная грудь, похожая на перевернутый горб. Черт подери! Это же сиськи! Подымаю глаза и вижу безобразное лицо. Я думаю: что у нее за жизнь?

Роберт хочет узнать о какой-то книжке. Говорит, что друг попросил привезти. Он зачитывает мне название из записной книжки. "Ва-банк" Алексея Плудека. Кого это за границей интересует такая дрянь? В записной книжке Роберта я замечаю чей-то пражский адрес. Может быть, если Роберт вывозит что-нибудь из Чехословакии, то и привез что-нибудь? Какую-нибудь запрещенную рукопись, например. Я запоминаю адрес — вечером позвоню в милицию.

— А, так вы хотите купить "Ва-банк", — говорю я. — Знаете, этой книге только что присудили Государственную премию. Там все о сионизме. О том, как в 1967 году, с Шестидневной войны, начался крупный еврейский заговор, продолжавшийся в Чехословакии в 68-м, и так далее, — евреи собрались совершить государственные перевороты во всех крупных странах мира. Весьма оригинальный взгляд на события 68 года, вам не кажется?

Мне все это начинает нравиться. Но мои новые друзья испытывают неловкость. Они не знают, верить мне или нет.

— Я, знаете, совсем не против государства Израиль, — говорю я, — отнюдь нет. Но я думаю, что Израиль должен быть национальным очагом только для иудеев, а не для хазар. Видите ли, многие из тех, кто называет себя евреями, на самом деле — хазары, потомки черноморского племени, перешедшего в иудаизм из политических соображений, а потом рассеявшегося по всей Европе. Никакие они не иудеи вовсе.

Ну, что вы на это скажете?

— И вот что я вам еще скажу, — продолжаю я, — насчет Мертвого моря. Нам все морочат голову, что оно Мертвое, потому что в нем полно соли. Правильно! Но никто даже не вспоминает о том, что в нем имеется десять разных видов минеральных солей. Слушайте меня. Эти соли стоят больше, чем весь годовой валовой национальный продукт Соединенных Штатов! Откуда я знаю? Да я же много лет работал над этим предметом. Меня заставили скрыть обнаруженные факты. Потому что если бы это стало известно, то начался бы джихад — священная война! Правда, ходили вполне достоверные слухи о моих изысканиях, и на этом основании мне предложили возглавить Амманский университет. Это подтверждается документами. Письма у меня лежат где-то дома.

Было ясно, что Роберт не верил ни одному моему слову. Он не пытался спорить или возражать, ему просто хотелось как можно скорее от меня избавиться. Но мне-то все это доставляло такое удовольствие! Я же предчувствовал, что сегодня будет замечательный день. Утром, когда мои испражнения почти не оставляли желать лучшего, я же предвидел, что сегодня будет замечательный день!

— Знаете, арабы считают моего брата принцем, — осведомил я свою парочку. — Он не настоящий принц, конечно, что-то вроде Лоуренса Аравийского. Он прибыл в Каир сержантом армии Осси, примерно в 44-м, — да, из Чехословакии он выбрался в 34-м, — так вот, в Каире он тут же познакомился с маленьким арабским мальчиком. Хамиль его звали. И Хамиль его спрашивает: "Как зовут тебя, сержант? Ты похож скорее на одного из нас". А мой брат отвечает: "Саладин". То есть первое попавшееся арабское имя назвал. И тут Хамиль смотрит на него и убегает. Через час примерно две тысячи арабов стучатся в его казармы и кричат: "Саладин!". И говорит Хамиль моему брату: "Я привел тебе всех твоих родичей". Надо вам сказать, что каждый год, в один и тот же день, все члены клана Саладин встречались в Каире. Как раз в тот день,

когда мой брат появился в Каире. Слухи, правда, ходили и до этого. Говорили, что главе клана удалось спастись от резни и он бежал в Австралию. И вот он появился. На следующий день во всех газетах чернели огромные заголовки: "Принц Саладин снова с нами!". После этого мой брат остался в Каире. Он стал агентом. Пробрался на немецкие позиции. Провозил контрабандой гашиш и военные тайны. Когда война кончилась, он стал предводителем двадцати тысяч студентов. Я вам говорю, если бы не мой брат, то в 52 году весь Каир сгорел бы дотла. Вы слышали о каирских пожарах? Но брату удалось удержать своих людей под контролем. Но, несмотря на это, Насер все равно подверг его пыткам и выбросил из страны. Он боялся его.

Все диктаторы боятся людей, пользующихся любовью своих сограждан. Диктаторы вынуждены следить за государством точно так же, как я наблюдаю за отправлениями собственного организма. Они должны отвечать на любое отклонение жестокими репрессиями; на антикоммунистов надо найти анти-кого-нибудь. Тайная полиция – пенициллин для нации. Когда тело очищают, машина продолжает функционировать без помех. Я слышал, что если муравьи не могут исполнять своих обязанностей, их уносят из муравейника три специальных муравья-санитара, они уничтожают их таким способом: один держит муравья за лапки, другой раскрывает ему брюшную полость, а третий вводит яд. Я не муравей, но я боюсь. Боюсь не немцев и не ренегатов, а невидимых микробов революции изнутри. Государство из всех сил старается обеспечить себе контроль над будущим, но гарантии нет. Оно может лишь переделывать прошлое, вгоняя его в нужные рамки, и стабилизировать настоящее так, что настоящее становится одновременно отражением и прошлого и будущего. Только так можно обеспечить строгий контроль.

Шесть длинных черных советских лимузинов медленно движутся по дороге; на первом – флажок с серпом и молотом. В машинах сидят делегаты на наш партийный съезд. Тучные мужчины в серых шляпах и бежевых кашне, в черных наглухо застегнутых пальто, под присмотром шоферов – работников органов; этим людям ввели сыворотку против жизни. Они внушают мне спокойствие, но с какой радостью я пристрелил бы хоть одного. Внезапно я понял, что чувствуют микробы, которых я уничтожаю ежедневно.

Мои два английских туриста слишком заинтригованы этой процессией сильных мира сего, чтобы обращать внимание на мою последнюю тираду.

– Нам пора, – говорит девушка, заметив нетерпение Роберта.

– Погодите! – говорю я. – Мне нужно сказать вам еще одну вещь.

То-то, заинтересовались! Но исповеди они от меня не дождутся. У меня другое на уме.

– Мой брат сейчас живет в Лондоне. Он мне часто пишет. Рассказывает, что в Лондоне есть замечательный чешский ресторан. Обязательно сходите туда, там подают изумительные кнедлики. И шницели – вы таких в жизни не пробовали – не из телятины, а из свинины: ее отбивают, пока она не становится тонкой, как блин. О-о-ох, у меня слюнки текут. Ресторан в Чешском национальном доме. Знали такой? Наши пилоты, которые летали в королевском военно-воздушном флоте, основали этот клуб после войны. На стене висит портрет королевы, инкрустированный бриллиантами. Откуда я знаю? Брат пишет. Он еще пишет, что все евреи с Голдерс Грина ходят в этот ресторан, потому что они молодцы, знают, что такое хороший товар. Пойдете? Там вы обязательно встретите моего брата. Он как две капли воды похож на меня. Сделайте одолжение, сфотографируйте меня ему на память.

Роберт снимает с шеи фотоаппарат, открывает футляр, наводит резкость. Я улыбаюсь. Щелкает затвор. Вскоре на маленьком целлулоидном квадратике появляется моя фотография.

С английского. Перевод Риты ВАЙСМАН.



В лондонском издательстве "Хайнеман" вышла недавно автобиография Романа Поланского, написанная знаменитым кинорежиссером в содружестве с тремя соавторами. В разделе "Книжные рецензии" газета "Джуиш кроникл" поместила рецензию С. Правера на книгу "Роман Поланский".

РОМАН ПОЛАНСКИЙ О РОМАНЕ ПОЛАНСКОМ

Поланский хорошо запомнил урок, который вдалбливали ему в голову на университетских лекциях в послевоенной Польше: содержание важнее формы, — и в своей автобиографии Поланский иронически замечает, что возбуждение, испытанное им от плохо сделанных порнографических фильмов, вполне может служить доказательством этого утверждения. Правда, и его собственная книга может с тем же успехом служить подобным доказательством. Книга Поланского написана шаблонно, языком литературных штампов, как нельзя лучше соответствующим его поверхностным эстетическим суждениям о работах других кинематографистов. Но многое из описанного в книге настолько интересно, что читатель скоро забывает о ее серьезных недостатках. Рассказ Поланского о том, как мальчиком ему удалось спастись и выжить в Краковском гетто, как он скрывался затем в оккупированной Польше — ценный исторический документ. Несколько ярких эпизодов из собственного детства, — и Поланскому удастся донести до читателя и ужас времени, когда немцы с методической неотвратимостью начали ужесточать оккупационный режим, и то, как по-разному относились поляки к судьбам своих еврейских сограждан. Наблюдательные глаза уличного мальчишки Ромека видели и немецкого офицера, стреляющего в старуху, которая не поспевала двигаться вместе с колонной, и дворника Юзефа, сказавшего, как только немцы ушли: "Что ни говори, а немцы-

таки избавили нас от наших евреев!". Скупой рассказ Поланского о депортации матери необычайно убедителен и трогателен.

В книге Поланского, естественно, уделено много места событиям, связанным с убийством его жены Шарон Тэйт; кроме того, на страницах книги Поланский продолжает защищаться от все еще висящего над ним в США обвинения в изнасиловании малолетних, — обвинении, которое привело к бегству кинематографиста из Соединенных Штатов. Но главный интерес автобиографии Поланского, для которого кинематограф стал всепоглощающей страстью, — в интимном знании автором всех процессов и тонкостей современного кино, знании, основанном на опыте работы в Польше, Англии, Америке и во Франции, — где сейчас живет Поланский.

В следующий раз, когда мы будем восхищаться силой воображения и профессионализмом таких фильмов, как, например, "Чайнатаун", мы сможем по-новому оценить характер человека, способного преодолеть, казалось бы, неодолимые преграды, и тот личный жизненный опыт, который Поланский перевел на язык кино. Мы сможем и несколько иначе — с большей симпатией и сочувствием — отнестись к сложной работе выдающегося режиссера и актера и критически взглянуть на массу скандальных статей о нем, пытавшихся выставить Поланского, по его собственным словам, "зловредным и распутным карликом". ■

КНИГИ И МНЕНИЯ

О ТОМ, КАК ПОГИБАЛ МИР

Тридцать шесть праведников насчитывается в каждом поколении. Сами они далеко не всегда знают о своей избранности, не ведают, что на них покинется мир, что не будь их — человечество задохнулось бы от мук.

В средневековой Англии, в городе Йорке, евреи прятались в башне, спасаясь от погромов и не желая перейти в христианство. Был среди них раввин Йом-Тов Леви, что своими руками убил детей, собственных и соседских, спасая их от насильственного крещения. Он убил детей и покончил с собой. Лишь один его сын уцелел чудом. И было ему видение, и узнал он, что из потомства раввина Йом-Това Леви в каждом поколении будет рождаться праведник, ламедвавник*, один из тридцати шести.

Но и последующие столетия не слишком отличались от средних веков: и праведники, и обычные люди из евреев терпели причиняющиеся им страдания и скитались по Европе в поисках пристанища. А в двадцатом веке потомки рода Леви надеялись найти приют в Германии. Историю послед-

него праведника из рода Леви, свидетеля века насилия и зверств, рассказал Андре Шварц-Барт, сплетя в единую художественную ткань события реальные и легендарные.

Андре Шварц-Барт родился во Франции, но родители его происходили из Польши. Во время второй мировой войны семья писателя была уничтожена нацистами. Сам он бежал, участвовал в Сопротивлении, а после освобождения Франции занялся литературой. Роман "Последний из праведников"*** был награжден Гонкуровской премией за 1959 год.

Герои книги начали свой трагический путь "сразу же после первого тысячелетия нашей эры", во времена "неистовой веры". Для человеческого счастья и спокойной жизни, казалось бы, нужно было только приспособиться. И они приспособливались — одни лучше, другие хуже, — но были и такие, что понимали: наилучшим образом приспособившись и уподобившись, евреи более всего и вызывают гонения на себя. Другие не хотят, чтобы евреи были похожи на них. Может, потому, что еврей, подражая чужим народам, выявляет самые дурные — самые явные — черты этих народов, выявляет самым резким образом, как это всегда случается с действительно талантливым подражателем.

Символично, что праведники из трех последних поколений рода Леви не хотели

* י"ו (ламед — вав) — 36.

*** А. Шварц-Барт "Последний из праведников". Иерусалим, "Библиотека-Алия".

признавать себя таковыми. И не случайно эта линия начинается с Леви по прозвищу "Выродок-а-не-брат". Хотел ли автор высказать мысль, что ламедвавник в миру может быть последним из людей, или, по его мнению, в те времена отказываться от обязанности, наложенной на еврея, означало непременно стать выродком? Станным образом земная жизнь этих поколений рода Леви совпадает с началом и развитием периода Гаскалы (Просвещения) и так называемой еврейской эмансипации.

Временные изменения в жизни рода Леви начинаются с Биньямина. Казалось бы, — вот он странствует в пространстве, подобно другим евреям, совершающим свой путь в диаспоре... Но в отличие от них, странствующих скопом, он уезжает из местечка один. К прежнему ощущению груза еврейского бремени — трудно быть евреем! — добавляется новое чувство, о котором он говорит с Янкелем, соседом по эмигрантскому общежитию: "На вас наваливается какая-то тяжесть... и с каждым днем она увеличивается... И даже шаг ускорить нельзя: фонари мешают... Раньше я ходил посреди тротуара, как немцы... Но на меня смотрели, и я начал семенить поближе к домам. Все бы ничего, да вечно кто-нибудь из парадной выходит или фонарь торчит на дороге..."

Вокруг него толкуют, что сознание большинства людей в нееврейском мире изменилось, но оказывается, что изменения (если и есть) совсем не отразились на отношении неевреев к евреям. Янкель захотел участвовать в демонстрации коммунистов, спартаковцев — его избили и вытолкнули из рядов. А ведь он, казалось бы, отстранился от своего еврейства, приняв идеологию, соблазнившую его именно принципом равенства всех людей, всех национальностей. Да, всех, но не евреев!

А еврей, отвергнувший свое и не принявший чужими, перестал быть евреем. По Шварц-Барту, это означает прежде всего стать жестоким. Янкель говорит: "Что делать еврею, который уже больше не еврей? Что он должен делать, чтоб не стать на четвереньки?.. В этом безрассудно-жестоким мире на удар меча ответ один — удар меча!"

Для Янкеля, переставшего быть евреем, весь мир безрассудно жесток. Для Мордехая Леви, истинного еврея, мир стоит на праведности тридцати шести ламедвавников. А третий, Биньямин, старается приспособиться, понравиться своим заказчикам, немцам из рабочего района. Он перенимает их словечки: "Толстосумы, сударь, наши общие с вами враги". Ему и в голову не приходит, что заказчики именно его считают одним из самых страшных капиталистов, по крайней мере — на нашей улице. Он испытывает робкую симпатию к рабочему человеку, пока "на следующий день ледяной взгляд, насмешливая улыбка или указующий на него посреди улицы палец не напоминали ему, что он не более чем жид".

Его сын Эрни старается ничем не отличаться от немцев. У него немецкое имя. Он учится в школе вместе с немецкими детьми. Он увлечен книгами о средневековых германских рыцарях. Он говорит по-немецки без акцента. Он как бы исполняет завет Моисея Мендельсона — "быть евреем дома и немцем на улице", быть немцем иудейского вероисповедания.

Но вот школьники играют в казнь Христа, и Эрни исполняет роль "евреев, которые потребовали распять Иисуса". Мальчишки входят в раж и истязают Эрни. Мелкий эпизод, пример детской жестокости — мальчишки заигрались... Потом они даже плачут и жалеют о содеянном. Но автор пишет: "Хотя причина жестокой расправы... осталась неясной, этот случай стал одним из многих среди антисемитских оргий, знаменовавших приход к власти Адольфа Гитлера".

Именно тогда Мордехай Леви рассказывает внуку Эрни историю их рода. Внук по-настоящему ощутил тяжесть и силу еврейского бремени — быть самим собой: "Эрни слепо доверился ключику, который вручил ему дед: он поверил, что в реальном и все же необыкновенном мире душ, о тайных горестях которых он догадывался, спасение в сострадании. Но сострадание мальчика родные принимают с удивлением, а немец-инвалид — самое несчастное существо в городе — "на своей тележке повернулся ему вслед, разверз обросший бородой

рот и, заранее смакуя слова, выкрикнул с наивысшим христианским презрением: "Жидовское отродье!"

Так начался путь Эрни Леви, путь праведника, принимающего на себя людскую боль. Немецкая девочка, которую он пожалел, потому что ее избивал отчим, испугалась, а взрослые обвинили его в пакостных намерениях. И Эрни бежал из дома, сострадая всем, вплоть до мухи, — "частица его существа перешла в муху, и он понял, что каким бы крохотным ни было создание, пусть его даже не видно простым глазом, смерти оно боится не меньше других".

Вырос ли Эрни, сострадая живым существам? Или сам уподобился ничтожнейшему существу на земле?

В сущности, Эрни обречен. Доброта отдельных лиц ничего не меняет в его судьбе. Учитель Кремер хотел бы ему помочь. Ведь он из тех старых гуманистов, которые полагают, что "если дать человечеству образование и познакомить его с поэзией, то можно навсегда преградить дорогу варварству". И даже любовь, детская любовь к Ильзе Брукнер, соученице, оказывается бессильной перед обстоятельствами.

Кремер не может воспрепятствовать изгнанию Эрни из школы. Дружба с Ильзой — причина травли, которую возглавил одноклассник Эрни Ганс Шлиман, однофамилец Генриха Шлимана, великого археолога, откопавшего Трою. Вряд ли автор дал ему имя случайно — старое прославленное имя у нового бойкого персонажа подчеркивало мысль о гибели гуманизма и перерождении немцев в гитлеровские времена. Увы, автор понимает, что антисемитизм неискореним при помощи стихов Шиллера и всеобщего гуманитарного образования, как надеялся учитель Кремер. Ганс Шлиман, новый Шлиман, организует травлю Эрни в соответствии с методикой и идеологией, выраженной учителем-нацистом Гееком.

Эта сцена в романе весьма знаменательна. Один из мальчиков, толстый и благодушный, как бы вяло недоумевает — "это вызвало дикий хохот всего класса, включая трех евреев, стоявших на коленях". Другой — "подавленный, жалкий и несчастный

опустился на колени, глотая слезы и позор".

Итак, покорность не помогает. Помогает ли сопротивление?

"Геек так скрутил мальчику руку, что тот застонал.

— Еврейская гордость для того и создана, чтобы ее сломить, — добавил он...

Минут через пять у Маркуса разжались побелевшие губы, и он взвыл. Еврейская честь была попрапа".

Сопротивление в одиночку не помогает тоже.

Эрни же "покорно завел руку за спину, чтобы учителю удобнее было ее схватить... Геек быстро схватил его за руку с такой силой, что легкий, как перышко, Эрни, прежде чем упасть на колени, перекувырнулся в воздухе, как рыбешка".

Петь песню про Хорста Весселя Эрни не захотел, он добровольно согласился на мучения, подобно своему прадеду, раввину Леви, и подобно другим евреям, шедшим на муки ради сохранения своей веры, самих себя. А что же дальше?

"Эрни отгородился от внешнего мира. Господин Геек продолжал свои поучения, арийцы дивились их наглядности, а Эрни Леви плыл в облаках со всеми, кого он не хотел убить песней про Хорста Весселя".

Отгородиться от внешнего мира! — когда-то это спасало евреев. Но только не теперь, когда евреев стремились уничтожить, потому что они евреи.

И тогда праведник Эрни познает ненависть. И познав ненависть, "он почувствовал пустоту, земля будто разверзлась у него под ногами, и тихонько подступили слова: "Я — ничто".

Что же случается с человеком, когда он изменяет самому себе? — "Его крик только усугублял тишину, и... наконец он понял, что ему не дожидаться ответа, потому что его зов исходит из пустоты: он не слышен Богу. Вот когда почувствовал мальчик по имени Эрни Леви, что его тело ему в тягость, и решил от него избавиться..."

Эту неудавшуюся попытку Эрни умереть автор называет его первой смертью. Оставшаяся часть книги — о том, как Эрни Леви, потомок рода ламедвавников, проходит сквозь кошмары гитлеровской ма-

шины уничтожения к своей второй и окончательной смерти.

Автор, однако, полагает, что с физическим исчезновением последнего из праведников рода Леви, праведник этот не исчез духовно, и его присутствие в нашем мире можно ощутить также материально: "Вчера, когда меня трясло от отчаяния

посреди улицы, живительная капля сострадания упала сверху мне на лицо; но в воздухе не было ни ветерка, в небе — ни тучки... Ничего. Только чье-то присутствие". Если в мире не останется страдающих праведников, мир погибнет, ужаснувшись собственной бессмысленности.

Яков АШКЕНАЗИ



НИ ВСПОМНИТЬ, НИ ЗАБЫТЬ

Мы, евреи, часто склонны к двойственной реакции на то, как относится мир к грандиозному, чудовищному историческому явлению, называемому собирательным именем "Катастрофа".

С одной стороны, нам нестерпимо видеть, как мир, отдав поверхностную дань ужаса и сострадания постигнутому евреям трагическому катаклизму, отодвигает его в прошлое, как нечто, что уже дозволено и следует забыть, и с облегчением переходит к "нормальной" жизни — более того, как бы дает понять, что пора и нам, евреям, перестать беречь старые раны, доискиваться причин и последствий, угадывать скрытый смысл. Мы не можем на это согласиться, не можем ни забыть сами, ни позволить миру перестать об этом думать. И испытываем обоснованный гнев, видя, что мир отодвигает это в прошлое все дальше и дальше, все безразличнее относится к тому, что для нас по-прежнему осталось незалечимой раной. Мы знаем, что Катастрофу нельзя считать явлением, касавшимся только жертв и палачей, что это катаклизмическое явление глубочайшим образом изменило моральную сущность всего человечества — и ждем, требуем от мира свидетельства того, что мир это осознает.

С другой же стороны, считая, — увы, с полным и горьким основанием, — что Катастрофа — это наша, еврейская, неотъемлемая и для других до конца не постижимая "болевая зона", мы испытываем мучительное, даже ревнивое беспокойство, когда к ней прикасаются чужие руки. Такое прикос-

новение всегда кажется нам и недостаточно глубоким, и недостаточно осторожным: ведь они, эти другие, никогда не смогут прочувствовать до конца весь ужас нашей "боле-вой зоны" — так имеют ли они право за это и браться?

Эту двойственность не разрешить, вероятно, ни нам, ни другим. Наша боль и наши сомнения останутся с нами надолго, может быть, навсегда. А мир — другие — будет, хочется верить, снова и снова касаться незажившей раны, чтобы не забыть, что эту рану человечество нанесло не только евреям, но и самому себе.

Одно из таких прикосновений к "боле-вой зоне" представляет собой роман англичанина Д. М. Томаса "Белая гостиница"* . Книга стала международным бестселлером и вызвала сильную и противоречивую реакцию критики. У романа были страстные сторонники, восхищавшиеся его образностью и глубиной, мастерским применением в нем концепций Фрейда, необычностью и шокирующей силой его конструкции. Были у него и не менее страстные противники — их аргументация заключалась в том, что автор не имел права так подходить к одному из самых страшных и трагических явлений новейших времен.

Книга дает основания и восхищаться ею, и судить ее. Равнодушным она не оставляет никого.

Лиза Морозова, дочь богатого одесского еврея-хлеботорговца и матери-католички из Польши, родилась в конце прошлого ве-

* D. M. Thomas "The White Hotel". Victor Gollancz Ltd, 1981.

ка. Она жила в белом особняке, окруженном парком, с пляжем, купальной и яхтой, с нянями и гувернантками. Жизнь ее была комфортабельна и благополучна, но, как во всякой жизни, в ней было множество мучительных драм и травматических переживаний. Когда девочке было пять лет, ее мать погибла во время пожара гостиницы вдали от дома, и темные обстоятельства смерти матери наложили отпечаток на всю жизнь девочки; отец был безразличен к дочери, предпочитая ей старшего сына; во время революционных событий начала века девочка, гуляя по набережной, подверглась кошмарному оскорблению со стороны матросов, где главную роль играло ее еврейство; позднее, учась балету в Петербурге, она пережила неудачный роман с молодым революционером-террористом, который бросил ее из идейных побуждений. Лиза уехала к тетке в Вену, сменила балет на занятия музыкой, стала певицей и вышла по любви замуж за молодого немца (который даже и не знал, что она наполовину еврейка). Вскоре началась мировая война, и молодой муж ушел воевать. В его отсутствие у Лизы появились симптомы непонятного заболевания: она задыхалась, испытывала мучительные боли в груди и в паху. Она страшно исхудала, едва могла двигаться, ей пришлось бросить музыку. Органической причины болезни найти не удалось, и молодая женщина в конце концов попала к знаменитому венскому врачу-психиатру Зигмунду Фрейду. Лечение продолжалось с перерывами несколько лет, в процессе его были подняты на поверхность пласты воспоминаний, ощущений и фантазий, о которых Лиза и не подозревала. (Поставленный Фрейдом диагноз, вероятно, покажется сегодняшним врачам старомодным и даже смешным, но в книге он важен как обстоятельство жизни Лизы, часть атмосферы той эпохи, а отнюдь не как научный факт.) Результаты лечения были, в целом, успешны: Лиза осознала и приняла самое себя в своих отношениях с матерью, с отцом, с мужчинами, которых она любила — в действительности или в воображении; со своей собственной, не всегда соответствующей желаемому, природой (правда, факт своего еврейства, впервые осознанный ею как нечто позорное во время сцены с матросами, сча сумела загнать

так глубоко в подсознание, что даже беспощадно проникающий Фрейд не обнаружил его и не дал ему надлежащего истолкования). Боли почти прошли, астма возвращалась редко. Лиза, правда, оставила мужа, но возобновила свою музыкальную карьеру.

Когда ей было уже за сорок, она встретила в Милане гастролировавшую там пару певцов из Советского Союза, Виктора и Веру; завязалась дружба и переписка. Спустя несколько лет, после смерти Веры, Лиза поехала к Виктору в Киев, вышла за него замуж и стала воспитывать его маленького сына от Веры, Колю. Жизнь, хотя и не очень простая и не очень счастливая, как-то наладилась. И вдруг... Да, у Томаса это происходит вдруг, как это и произошло для тысяч обыкновенных, средних, безразличных к политике и занятых своей жизнью людей. Благодаря этому возникает потрясающее ощущение несоизмеримости "обычных" человеческих эмоций, даже самых мучительных, с тем, что несла с собой Катастрофа. И вдруг — война, Бабий яр, страшная, мучительная и унижительная смерть. Смерть, которая из мириада многоцветных граней, слагающихся в калейдоскоп человеческой души, вырывает один — еврейство — и за него казнит.

Если бы не это "вдруг", не этот чудовищный катаклизм, рассказанное выше могло бы выглядеть как довольно обычный и слегка устарелый бытовой роман первой трети двадцатого века с упором на модный тогда психоанализ. Впрочем, и это на самом деле не так. В таком виде сюжетная линия в романе отсутствует. Роман построен из следующих компонентов:

1. Вызывающе-эротическая поэма под названием "Дон-Жуан", где действие происходит в некоей призрачной белой гостинице в горах. Героиня и ее любовник предаются всепоглощающей плотской страсти, в то время как вокруг них драматические и фантазмагорические события сменяют друг друга: в гостинице возникает таинственно начавшийся пожар, внезапная буря на озере топит лодку с отдыхающими и заливаает подходы к гостинице, горный обвал погребает похоронную процессию, с неба струятся потоки звезд, цветов и странного света, по озеру проплывает стадо китов... А гости-

ница наполняется все новыми и новыми приезжими, и вчерашние стихийные несчастья сегодня забыты в безудержном, лихорадочном наслаждении краткими днями отдыха в уютном курортном уголке.

2. Дневник героини, в котором то же пребывание в белой гостинице, те же события и видения описываются в прозе, в нарочито трезвом тоне, от чего все это кажется еще более призрачным и нереальным.

3. "История болезни" Анны Г. (псевдоним автора поэмы и дневника), написанная от лица Зигмунда Фрейда, где фантазии и физические страдания больной интерпретируются с виртуозной клинической изобретательностью в соответствии с теорией психоанализа.

4. Краткое конвенциональное описание жизни героини в течение десятка лет после ее относительного выздоровления. Затем — война, и душераздирающая сцена массового убийства киевских евреев в Бабьем яру (на фактическом материале, заимствованном автором из книги А. Кузнецова "Бабий яр").

5. Завершающий, "посмертный" эпизод — то ли последний всплеск гаснущего сознания Лизы, то ли потусторонняя фантазия — в некоем блаженном, беспечальном месте, где все искусственные барьеры между людьми исчезают, как исчезают и барьеры между прошлым и будущим, где все любившие и погибшие находят друг друга вновь, и происходит "анагнорис" — прозрение, просветление, узнавание себя и других. Место это не названо автором, но мы догадываемся, что это — образ Израиля. Не реального, земного Израиля, конечно, но Израиля как высокой идеи или, скорее, как недостижимого идеала.

В романе много пластов, действие происходит попеременно на разных уровнях сознания, полно символики и перекликающихся мотивов. Читатель волен понять ее по-своему, на том уровне, который ему интересен и важен. И наверняка не каждый сможет признать за всеми ее пластами равную значимость: одних, возможно, шокирует безудержный эротизм юной Анны Г., других раздражит пристальный интерес автора к психоанализу; третьих не удовлетворит данная автором трактовка глубокого внутреннего конфликта Лизы в связи с ее

подавленным, загнанным в подсознание еврейством. Читатель, и особенно еврейский читатель, снова и снова хочет получить ответ, почему Катастрофа произошла и что она значит для евреев. А Томас не отвечает на эти вопросы. Более того, он не рассматривает ее как трагедию только и именно еврейского народа.

Для Д. М. Томаса это трагедия общечеловеческая. Вот как говорит об этом он сам: "Душа человека — отдаленный материк, ни приблизиться, ни исследовать его нельзя. Большинство убитых (в Бабьем яру. — *Прим. пер.*) были бедны и необразованны. Но у каждого из них были удивительные сны, неизъяснимые видения и поразительные переживания, у всех до единого, даже у грудных младенцев... Хотя большинство из них никогда не бывало за пределами своего нищего Подола, жизни их и истории были так же сложны и богаты, как жизнь и история Лизы Эрдман-Беренштейн. И если бы некий Зигмунд Фрейд взялся слушать и записывать их рассказы, ему хватило бы работы на века, и все равно он не сумел бы исследовать до конца даже малую горстку этих людей, даже одного-единственного человека.

А это был лишь первый день".

Это и есть главное, что удалось передать писателю-нееврею, смотрящему на трагедию с нееврейской точки зрения: огромность, необозримость и — необратимость происшедшего. Каждый из нас частью души погиб в Бабьем яру вместе с Лизой Беренштейн. Каждый из нас — неповторимая "белая гостиница", и разрушить ее — значит разрушить вселенную. Миру, который говорит "пора уже и забыть", который даже спрашивает "да полно, было ли это вообще, а если и было, то так ли уж, в конце концов, ужасно?" — "Белая гостиница" напоминает, что да, было, и да, ужасно, и да — необратимо.

Юлия ВИНЕР

АМЕРИКАНСКОЕ ЗОЛОТО

Эта книжка имеет несомненный и довольно прочный успех уже два года. У критиков и у читателей. В Англии и в Америке, а теперь и в Израиле. И продавица в магазине Стей-

мацкого говорит: "Замечательная книга!". И почтенный английский "Спектейтор" восхищается "поэтикой насилия и искупления", и "Нью-Йорк таймс" изумляется "неописуемому поэтическому эффекту", от которого мурашки по коже, но считает, что сказать только это — "значит снизить глубоко трагическую тему книги".

Автор — славист, переводчик Пушкина, в частности, он перевел "Медный всадник"; строчки пушкинских стихов (даже из "Онегина") встречаются и в "Белом отеле". По-видимому, он не только переводит с русского, но и читает по-русски, хотя, используя "Бабий яр" Анатолия Кузнецова в V части своей книги, он ссылается на английское издание. Вокруг этого использования даже закипел маленький скандал, разумеется, только способствовавший успеху книги, как всякий скандал. Кажется, автора несправедливо обвинили в плагиате — не заметив, что он сослался на источник. Правда, очень мелким шрифтом, на обороте титульного листа.

А кроме того — это сознательная игра, пастишь, а на пастишь право имеет каждый, и главный "разыгрываемый и обыгрываемый" в "Белом отеле" не Кузнецов, а Фрейд. Это уже никого не смутило, потому что сделано "открытым приемом". Вроде того, как у Зощенко написана "Шестая повесть Белкина".

Фрейд, Кузнецов, Пушкин и Данте, и Моцарт, и — больше всего — Крафт Эббинг... О чем же книга, какая она, почему?

Она построена улиткой, с шестью концентрическими спиралями, развернувшимися из одного центра; раковиной, с шестью разнозвучающими поверхностями. Если переводить на русское восприятие — это шесть матрешек, которых не разобрать надо — это уже сделано вполне профессионально, — а вставить одну в другую. Первая матрешка — поэма "Дон-Жуан" — представляет собой изложенный стихами эротический бред, продуманный, как полотно Дали; шестая называется "Лагерь" и представляет собой чистилище (недаром героиня в предыдущих частях читает Данте, да еще в поезде, то есть — в пути), четко закрепленное в пространстве и во времени: место — Палестина, время — начало сороковых годов. Чистилище это чем-то напоминает рай, о котором во

сне узнает Алексей Турбин (М. Булгаков "Белая гвардия"). Автор и тут верен русским литературным реминисценциям.

В прологе — переписка Фрейда и его последователей, вымышленная, разумеется, хотя и выдержанная в их стиле. Здесь впервые говорится и о героине книги ("одна из моих пациенток, страдающая тяжелой сексуальной истерией"), и об "инстинкте смерти, не менее могучем, чем либидо", и о предвидениях Юнга, и о его одержимости доисторической братской могилой в болоте на севере Германии... Все эти нитки, прихотливо и как бы бессвязно развешанные здесь, в прологе, будут в конце книги сматаны в аккуратный клубок твердой авторской рукой. Все эти безобидные, развешанные по декорациям ружья во что бы то ни стало выстрелят — ни одно не провисит вхолостую.

Зерно сюжета следует за прологом: преисловутые стихи, которые входят в "историю болезни" (Фрейд, в вымышленном сопроводительном письме, извиняется за их "порнографию" и "непристойные выражения" — но ведь сочинения эти, говорит он, относятся к царству науки). Далее эти же стихи, перемежаясь со снами, излагаются в прозе. Смысл — случайная встреча в поезде, услащенная сексуальными развлечениями, продолженная в белом отеле, в горах, на берегу озера, где хороводы гибнущих и наслаждающихся людей в разных комбинациях, смертельных и сексуальных, должны иллюстрировать, намекать, символизировать... Символы, толпящиеся как кресты на военном кладбище, вводят в заблуждение самого Фрейда: третья глава представляет как бы составленную им самим "историю болезни". Только в четвертой главе, написанной без помощи символов и потому неожиданно плоской, словно игральная карта, мы встречаем героиню под ее собственным именем, в ее собственной биографии (она оказывается оперной певицей, которая поет партию Татьяны в "Ла Скала", замещающая гениальную советскую исполнительницу); но и в этой главе продолжается самопознание — через переписку с Фрейдом. Наконец свершается бракосочетание — она уезжает в Киев (предварительно послав согласие на брак в стихотворной форме, не то обыгрывающей, не то пародирующей обе

арии Татьяны) и — дальше все ясно: последняя глава, Бабий яр, реализация бесчисленных сексуальных, фаллических, макабрических и прочих символов, за которыми таится еще один, и еще один, и еще много, чтобы потом замкнуться общим искуплением в Палестинском чистилище. Уффф! Старомодный, но облегченный вздох.

Да, забыла сказать: Фрейд посрамлен, есть люди, у которых историю болезни надо искать не в прошлом, а в будущем, поскольку их сны не воспоминания, а провиденья. Так сказать, воспоминания о будущем.

И вся эта назойливая, ученая, профессорская, художественная абракадабра, выполненная на таком утомительном, почти немецком серьезе, что, кабы не упоительные сексуальные откровения, фантазии и бреды, то даже и неприхотливая, телевизором взращенная молодежь ее не смогла бы одолеть, — все это смоченное сексуальной слюной мочальное чтиво получает свою долю вос-

торгов от критики, каковые восторги, разумеется, печатаются на обложке.

"Проза, которая остается спокойной и точной (вероятно, ее словарь уместится в советской ученической тетрадке. — Р.З.), но набирает такую страшную пронзительность (видимо, в кузнецовской главе о "Бабьем яре". — Р.З.), что Я ЕЛЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ДОЧИТАТЬ КНИГУ ДО КОНЦА" (журнал "Спектейтор").

Признаюсь — я тоже; но — честно! — дочитала.

"Точно, волнующе, блестяще" ("Обзервер").

Унылый блеск. С детства помню термин "американское золото". Не знаю, имел ли он всесоюзное хождение или только в Одессе был принят. Он звучал для меня как "золото вдвойне" — золото, да еще американское! Пока мне не объяснили, что это значит "ненастоящее".

Руфь ЗЕРНОВА

Единственная
ежедневная
русская газета
за рубежом

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Выходит в Нью-Йорке с 1910 года

Главный редактор АНДРЕЙ СЕДЫХ

Новое Русское Слово регулярно печатает документы Самиздата, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОДПИСКА

В страны Азии, Африки и Австралии воздушной почтой:

	1 год	6 месяцев
Ежедневные и воскресные	\$285.00	\$ 160.00
Воскресные изд. только:	\$145.00	\$ 85.00

ПРОШУ ВЫСЛАТЬ НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ:

(по-английски печатными буквами)

ИМЯ..... ФАМИЛИЯ..... АДРЕС:.....

ПОЧТОВАЯ ЗОНА (ЗИП КОД):.....

Новая подписка или.....Продление

При перемене адреса необходимо указать: старый адрес, новый адрес, вложить 1 доллар.

Заполнить, вырезать и послать этот бланк с чеком по адресу:

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 519 8TH AVE. NEW YORK, N. Y. 10018

В зеркале анекдота

- Кто сидит и выдумывает эти анекдоты?
- Кто выдумывает, тот и сидит.

Собрание, из которого взяты предлагаемые анекдоты, содержит более полутора тысяч социально-политических миниатюр, охватывающих все аспекты подсоветской жизни. Эти сатирические миниатюры составляют книгу "СССР в зеркале политического анекдота", которая вскоре выйдет в свет. Собрал эту коллекцию Сергей Тиктин, работавший над ней с 1956 года по настоящее время. Литературная обработка Доры Штурман. Мы публикуем часть анекдотов из раздела "Евреи в СССР" — одного из 42 разделов книги.

- В портняжной мастерской.
 - Почему костюм не готов? Сказали, что за неделю. Бог за неделю мир создать успел.
 - И он вам нравится?
- Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом.
- В коммунальной квартире звонит телефон.
 - Позовите, пожалуйста, Мойше.
 - Здесь нет таких! — соседка вешает трубку.
 - Снова звонок.
 - Позовите, пожалуйста, Мишу.
 - Мойше! Тебя к телефону!
- — Бей жидов и велосипедистов!
 - А велосипедистов за что?
- Эй ты, жид, который час?
- Посмотрите на мои часы.
- Где они у тебя?
- В кармане пиджака.
- Как же я могу на них что-то видеть?
- А как вы можете видеть сквозь штаны?
- На партийном собрании председатель объявляет дискуссию:
 - Товарищи, задавайте вопросы!
 - Однако желающих нет. Наконец поднимает руку Шапиро:
 - У меня три вопроса. Во-первых, куда девался наш скот? Во-вторых, куда поступает мясо этого скота? И в-третьих, куда исчезают дрова из наших лесов?
 - Я записал ваши вопросы и дам вам ответ на следующем собрании, — отвечает ему председатель.

На следующем собрании снова предлагается дискуссия.

Финкельштейн робко спрашивает:

— У меня только один вопрос... Куда девался товарищ Шапиро?

● — Стоит ли сделать Израиль коммунистическим?

— Ни за что! Такой маленькой стране такое большое несчастье?

● Сидят двое нищих. Один держит плакат: "Подайте бедному еврею", другой — "Подайте инвалиду Отечественной войны". Прохожие сыплют монеты инвалиду, а еврею демонстративно не подают ничего. Один сердобольный прохожий говорит еврею:

— Назовись тоже инвалидом Отечественной войны.

Как только он отошел, еврей говорит соседу:

— Ты слышал, Хаим? Они нас учат коммерции!..

● — Есть ли у вас родственники за границей?

— Нет.

— Не отпирайтесь, у вас дядя в Израиле, нам это известно.

— Так это я за границей, а не он!

● Хрущев распорядился открыть синагогу. Как-то осведомился, выполнено ли.

Оказалось, не могут найти раввина: все попадают то беспартийный, то еврей.

● Еврей в отделе кадров:

— Здравствуйте.

— До свидания!

● В бане.

— Рюрик Соломонович, одно из двух: или снимите крестик, или наденьте трусы.

● Объявление:

"Меняю одну национальность на две судимости. Согласен на большие сроки".

● Абрамович пришел в отдел кадров по объявлению "Требуется инженер..."

— Но нам нужен инженер, знающий английский язык.

— Вот диплом института иностранных языков.

— Но нам нужен знающий и немецкий язык.

— Вот диплом двухгодичных курсов немецкого языка.

— Нам нужно еще, чтобы мог стенографировать.

— Вот справка об окончании курсов стенографии...

— Да вы что, издеваетесь над нами, что ли?!

● После Шестидневной войны в Москве вместо "жидовская морда" стали говорить "лицо агрессора".

● — Большое или малое государство Израиль?

— Конечно, большое: иначе бы его звали просто Изя.

● На вокзале.

— Граждане пассажиры, направляющиеся в Израиль! Поезд Москва—Воркута подан на шестую платформу.

● На экзамене на филфак Московского университета еврею-абитуриенту задают вопрос с целью "завалить":

— Как вы объясните, что Л. Толстой, по его словам, помнил себя с сорокадневного возраста?

— Что тут удивительного? Я помню себя почти с семидневного возраста.

— И что вы помните?

— Помню, как пришел старик-еврей с длинной бородой и отрезал мне возможность поступить в университет.

● Рабиновича пустили в туристическую поездку.

Он присылает телеграммы:

"Привет из свободной Болгарии. Рабинович".

"Привет из свободной Румынии. Рабинович".

"Привет из свободной Венгрии. Рабинович".

"Привет из Австрии. Свободный Рабинович".

● Негр сидит в московском сквере на скамейке и читает еврейскую газету.

Мимо проходят два еврея. Один говорит другому:

— Ха, ему мало, что он негр!..

● Директор учреждения вызывает Рабиновича и спрашивает:

— Рабинович, вы любите теплую водку?

— Что вы?! Совсем не употребляю.

— А потных женщин?

— Что это вы?! Совершенно не переносю.

— Вот и прекрасно. Пойдете в отпуск в январе.

● В аэропорту Шереметьево евреи ждут самолета на Вену.

По радио объявляют:

— Рейс на Вену откладывается в связи с вылетом членов правительства в Париж.

— Хаим, — говорит один еврей другому, — если они все вылетают, так, может быть, мы останемся?

● Джин из сказки согласился выполнить три желания — одно Насера, одно Косыгина, одно Голды Меир.

Насер:

— Чтоб сгинули коммунисты: только предадут! Сколько с Израилем воюю — все неудачно, и в решительный момент в помощи отказывают!

Косыгин:

— Чтоб сгинули арабы! Сколько их ни корми, все, как волки в лес, на Запад смотрят.

Голда Меир:

— Если вы исполните эти их пожелания, то мне чашку кофе, пожалуйста.

● — Будет ли пятая графа при коммунизме?

— Нет, будет шестая: "Был ли евреем при социализме?"

● Ночной кошмар Брежнева: собрались на Красной площади чехи и словаки и принялись есть мацу китайскими палочками.

● Хулиганы напали на человека.

— Не бейте меня. Я не еврей. У меня просто интеллигентное лицо.

● Рабинович приходит устраиваться на работу. Начальник отдела кадров посмотрел в его паспорт и говорит:

— На "ич" — не берем!

Потом заходит Васерман. Он получает в отделе кадров подобный же ответ:

— На "ман" — не берем!

Васерман доходит до двери, оборачивается и спрашивает:

— Скажите, а на что вы берете?

— На "ко".

Васерман подходит к двери и весело кричит:

— Коган, заходи!

● Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем ближних на Дальнем.

● Брежнев спросил Косыгина:

— Сколько у нас в стране евреев?

— Миллиона два с половиной.

— Ну, а если мы разрешим им уехать, многие ли захотят?

— Миллионов десять-пятнадцать.

● Еврей заявил, что хочет уехать в Израиль. Его начали отговаривать:

— Там очень плохой климат, вам он не подойдет. Летом жара, солнце над самой головой, а зимой и снега-то нет. Зато такие дожди...

Еврей задумался.

— Ну, о чем вы думаете?

— Думаю, где покупать зонтик: тут или там.

● Еврей просит характеристику для выезда в Израиль. Его заявление обсуждают на собрании.

— Почему вы хотите уехать в Израиль?

— Меня зовет земля моих предков.

— А где проживают ваши родственники?

— Один брат в Венгрии, строит социализм; другой в Чехословакии, строит социализм.

— И вы предполагаете делать то же?

— Что вы, у себя на родине?!

● Один украинец стал получать систематически посылки из Израиля. Его вызвали в соответствующее учреждение.

— Что это за посылки? От кого вы их получаете?

— Во время войны я спрятал двух евреев. Теперь они уехали туда и шлют мне в благодарность посылки.

— Ну, а о своей дальнейшей судьбе вы подумали?

— Конечно, подумал. Я сейчас прячу двух китайцев.

● — Василий Иванович, Гольфстрим замерз!

— Сколько раз я вам говорил: жидов в разведку не посылать.

● В Одессе.

— Все лица, отъезжающие в Израиль, получают медали "За освобождение Одессы"!

● Московские дворничихи рассуждают:

— И чего это евреи в такую даль уезжают? Чем они там кормиться будут, когда за пятьдесят километров от Москвы жрать нечего!

● Директор школы заходит во время урока в класс, чтобы сделать объявление:

— Файнштейн, Буберман и Иванов-поматери!! Завтра на занятия не приходите — будет арабская делегация.

● — Как жизнь?

— На пять с плюсом: пятая графа плюса имя Израиль.

● В московском трамвае кондуктор обращается к пассажиру:

— Вы уже взяли билет?

— Зачем?! У меня еще виза не оформлена!

● В 2000 году американские туристы — бывшие советские евреи — посещают Одессу.

— Смотри, нигде ни одного еврея!

— Да, точно! Нет, постой, а вот эта?..

Обратившись к прохожей:

— Простите, вы еврейка?

— Я идиотка!

● Археологическая экспедиция ЮНЕСКО в составе одного израильянина и нескольких западноевропейцев ведет раскопки в Ливане. Вдруг появляются двое террористов с автоматами.

— Вы тут что в нашей земле роетесь? Сейчас мы вас пристрелим.

Все растерялись, только израильянин спросил:

— Можете ли вы раньше исполнить три моих желания?

— Смотря какие.

— Сперва дайте мне по зубам.

Террорист бьет израильянина по зубам.

Тот выплевывает два зуба и говорит:

— Ну, а теперь дайте мне в ухо.

Террорист бьет его в ухо.

— Ну, а напоследок повалите меня по земле.

Террористы валят его на землю и катают по ней ногами. Вдруг израильянин выхватывает пистолет и убивает обоих террористов. Коллеги спрашивают:

— Почему же вы их сразу не застрелили?

— Что вы! Ведь ООН тогда объявила бы меня агрессором.

● Одного еврея спрашивают:

— Почему вы такой оптимист?

— Вся история моего народа учит нас оптимизму.

— Такая печальная?

— Почему печальная?.. Были египетские фараоны и евреи. Фараонов нет, евреи остались.

Были древние вавилоняне и евреи. Вавилона нет, а евреи остались.

Были древние греки и евреи. Греков тех нет, а евреи остались.

Были древние римляне и евреи. Древний Рим исчез, а евреи остались.

Была инквизиция и евреи. Инквизиции нет, а евреи остались.

Был царизм и евреи. Царской России нет, а евреи остались.

Был Гитлер и евреи. Гитлера нет, а евреи остались.

Был Сталин и евреи. И Сталина уже нет, а евреи остались.

Был Насер и евреи. И Насера не стало, а евреи живут.

Теперь есть мировой коммунизм и евреи.

— На что это вы намекаете???

— Ни на что. Просто мы вышли в финал.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Семен ЛИПКИН родился в 1911 г. в Одессе. Живет в Москве. Выдающийся переводчик поэзии народов СССР. Печатается с конца 20-х гг. Стихотворение "Союз", напечатанное в 1968 г. в журнале "Москва" № 12, подверглось резким нападкам в советской прессе. Большинство стихотворений, публикуемых в этом номере, взято из сборника "Воля".

Бернард МАЛАМУД родился в 1914 г. в Бруклине. Один из известнейших американских еврейских писателей. Первый роман "Прирожденный мастер" опубликовал в 1952 г. В прозе Маламуда преобладает интерес к положению современного еврея в нееврейском мире и к его непростым взаимоотношениям с еврейским началом в нем самом. Б. Маламуд награжден многими литературными премиями, американскими и международными.

Ицхак МОШКОВИЧ родился в 1926 г. в Харькове. Окончил факультет иностранных языков Харьковского университета, преподавал. В Израиле с 1984 г.

Шуламит АРЭВЕН родилась в 1931 г. Одна из самых ярких израильских писательниц среднего литературного поколения, так называемого "поколения государства". Первый стихотворный сборник "Хищный Иерусалим" вышел в свет в 1962 г. Основные книги: сборник рассказов "Право выбора" (1970), роман "Город многих дней" (1972), сборник рассказов "Одиночество" (1980), избранная публицистика "Синдром Дульцинеи" (1981).

Владимир ФЛАНЧИК родился в 1945 г. в Харькове. Окончил отделение математической и прикладной лингвистики Харьковского университета. В Израиле с 1971 г. Радиожурналист, переводчик.

Ицхак МЕРАС — см. "Коротко об авторах", "Народ и земля" № 1.

Феликс ДЕКТОР — см. там же.

Михаил ГЕНДЕЛЕВ — см. там же.

Иосиф ЛИЩИНСКИЙ родился в 1933 г. в Киеве. Окончил ВГИК. В СССР выступал в печати и на радио как искусствовед и критик, его перу принадлежат несколько книг о кино. В Израиле с 1973 г. Радиожурналист.

Эдуард КАПИТАЙКИН — см. "Народ и земля" № 1.

Майя КАГАНСКАЯ родилась и получила образование в Киеве. С 1976 г. живет в Иерусалиме. Печатается в журналах "Время и мы", "Сион", "22", "Синтаксис" и др. За литературно-критическую деятельность награждена премией Фонда Р. Этингер (Израиль).

Борис МОЙШЕЗОН — см. "Народ и земля" № 1.

Шимон МАРКИШ родился в 1931 г. в Москве. Окончил отделение классической филологии МГУ. Автор многих работ по классической и современной литературе, Ш. Маркиш активно сотрудничал в 60-е гг. в журнале "Новый мир". С начала 70-х гг. живет на Западе. Профессор Женевского университета. Автор книг "Эразм и евреи", "Пример Василия Гроссмана" и ряда статей по истории русско-еврейской литературы.

Михаил ХЕЙФЕЦ — см. "Народ и земля" № 1.

Руфь ЗЕРНОВА родилась в Одессе, окончила филологический факультет Ленинградского университета. 1938 г. провела в Испании в качестве переводчицы. В 1949—1954 гг. отбывала заключение за высказывания о растущем антисемитизме в СССР. Была членом Союза писателей. Первая книга прозы "Свет и тень" вышла в свет в 1963 г. В Израиле с 1976 г.

Яков АШКЕНАЗИ — см. "Народ и земля" № 1.

Юлия ВИНЕР — см. там же.



КНИГИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА "ТАРБУТ"

М. ВАЙНШТЕЙН. Антисемитизм... и завтра?! Анализ тенденций современной советской литературы. 288 стр. (\$11).

Г. ГАБЕ. Миссия. Рассказ об отказе государств мира спасти евреев Германии от угрозы уничтожения. 272 стр. (\$8).

Д. ДАР. Исповедь безответственного читателя. Публицистические раздумья о судьбе еврея-интеллекта. 2-е изд. 152 стр. (\$3).

Д. КОСОФ. Библейские истории. Живой и интересный рассказ о событиях еврейской истории. 351 стр. (\$5).

ТОМАС МАНН. Иосиф и его братья. Т. I — 765 стр., т. II — 920 стр. (\$26).

Я. СОРОКЕР. Давид Ойстрах. Художественно-документальный очерк. 220 стр. (\$6).

ЧЕРНАЯ КНИГА. Документальная история массового убийства евреев в СССР в 1941—1945 гг. (под редакцией И. Эренбурга и В. Гроссмана). 576 стр. (\$25).

ПИСЬМА ЙОНИ (Портрет героя). Книга о подполковнике Йонатане Нетаньягу, который командовал отрядом десантников, освободившим заложников в Энтеббе. 304 стр. (\$7).

ДОВ ШИЛЯНСКИЙ. Мозельман, или одиннадцатая заповедь. Роман-воспоминание о страшных годах, проведенных героями в фашистских лагерях смерти. 192 стр. (\$5).

В цену включена стоимость пересылки. Заказы и чеки высылать по адресу: "Tarbut, P.O.B. 535, Giv'at Ze'ev 90917, Israel.

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ТАРБУТ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ**

